СУРА

ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

2 (132)

МАРТ - АПРЕЛЬ

Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдём вперёд, и пойдём скорее других.

Пётр Чаадаев

В НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Сергей АНТИПОВ. Не пропусти любовь. Стихи 3
Владимир ШИГИН. Этот неистовый Бирилёв. Повесть 6
Евгений СЕМИЧЕВ. Когда бурлит над Волгой вешний ливень... Стихи 64
Фёдор САМАРИН. Либретто. Повесть.....69
Лариса БОНЦЕВИЧ. Отец лейтенанта Шмидта. Рассказ 122
Сергей БУДАРИН. Я брожу в краях родных. Стихи 127
Александр КРАМЕР. Иллюзия. Рассказы 137
Сергей СКОРЛЯКОВ. Слезы ив. Стихи 143
Ольга ОБЛОМОВА. Платье для Нины. Рассказы..... 148
Маргарита РАЗОРЁНОВА. Светла любовь... Стихи 158

ПАМЯТЬ
Никола ПЕРЕЯСЛОВ. В литературе нет случайных совпадений.
К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова 163
Юрий АГАПОВ. Лесничий засурского лесничества Фёдор Ракушин.
К 90-летию Ф.Н. Ракушина 169
Николай КУЛЕНКО. Свет памяти. К 90-летию Егора Исаева 173

НО СКАЗАННОЕ СЛОВО ОСТАЁТСЯ
Дмитрий МУРАШОВ. Краеведение на страницах «Суры».
К 25-летию журнала 184

ДЕБЮТ
Аля ЧЁРНАЯ. Попутчик. Рассказы 188

ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Мария ПРОСВИРНИНА. «Если бы...» Стихи для детей 197

КРИТИКА. РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ
Станислав ЗОТОВ. На охране конституции и закона.
Рецензия на книгу Михаила Фёдорова 200
Итоги конкурса одного стихотворения..... 205

ПЕСЕННАЯ ПЕНЗА
Роман ДАВЫДОВ. Творчество Юрия Дроботова 209

КЛУБ «ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ»
Песни Елены ЧЕБАЛИНОЙ 212

Об авторах 219

© Редакция журнала «Сура»

Сергей АНТИПОВ

НЕ ПРОПУСТИ ЛЮБОВЬ!

Стихи

* * *

Шепнул мне ветер мимолётом:
«Не унывай и не грусти.
Весна совсем уж недалёко,
Смотри момент не упусти».

Вот солнышко лучом прилежным
Прогрело снежные пути,
Капелью прозвенело нежно:
«На волю сердце отпусти».

Проснулся лист на краснотале,
Всему пришла пора расти,
И ласточки прощебетали:
«Любви! Любви не пропусти!»

ЖЕНЩИНА

Та женщина дарует мне полёт.
Ресниц непостижимым мановеньем
Распахивает крылья вдохновенья
И в край любви восторженно зовёт.

Лучистых глаз таинственный магнит,
И роза расцветающей улыбки,
И стан её стремительный и гибкий —
Всё тянет к ней и с ней меня роднит.

О сколько нужно сил для высоты!
И хватит ли мечты для воспаренья?
Рождается в ответ стихотворенье
Как следствие погибшей немоты.

* * *

Там, где липы и куфёлки,
Кружат над цветами пчёлки,
Словно дивные колибри
Собирают божий дар.

А колибри — мини-птица,
Ей на месте не сидится,
Коль с цветущей орхидеи
Сладкий капает нектар.

Вот и ты, моя подруга,
Когда спит ещё округа,
Раньше беспокойной пчёлки
Поднимаешься чуть свет,

Озабоченно летаешь
И сама того не знаешь,
Что вот так, а не иначе
На земле оставишь след.

* * *

Любая колея куда-нибудь ведёт.
Тупик и тот конечный путь кому-то.
Шагну с порога и пойду вперёд
В родную ширь без цели и маршрута.

Как велика, как значима она
Паломнику, священная обитель.
Судьбою измеримая страна,
Я твой поэт, рабочий и воитель.

Я соль земли, я центр её и ось.
Вокруг меня всё крутится и мчится.
Куда бы шаг мне сделать ни пришлось,
Со мною что-то важное случится.

И где бы ни прокладывал я путь,
Какие бы ни мерил километры —
Везде и всюду веют прямо в грудь
Отчизны переменчивые ветры.

СИЗАРИ

Кто однажды хоть видел, скажи,
Пилотаж сизарей в поднебесье?

В жизни птицы одни виражи,
Во владении — грады и веси.

Траектории цель не проста.
Окрылённым вселенную дали.
Покоряется им высота
И становятся близкими дали.

Я в мечтах Эверест покорил.
Кто не жаждет успеха такого?
И повыше б ещё воспарил,
Но к асфальту надёжно прикован.

Сизари вы мои, сизари,
Поделитесь со мною крылами.
Буду я от зари до зари
Над землёю летать вместе с вами.

Если б сердце мечта позвала,
Мне не ведать законов капризы.
Чтоб планета свободной была,
Без ружей, без границ и без визы.

АРМИЁВО

Хочу я снова в Армиёво,
Где лес купается в тиши
И нерастраченное слово
Привольно льётся из души,

Где угадаешь без ошибки,
Куда ведёт и чья стезя.
С гостеприимною улыбкой
Встречает каждого эрзя.

И патриарх поэт Григошин
Пойдёт по улицам со мной.
Его поэзию пригоршней
Я пил под вековой сосной.

Наставнику я чутко внемлю
И песни новые пою
Про отчий край, родную землю,
Про жизнь тревожную мою.

Владимир ШИГИН

ЭТОТ НЕИСТОВЫЙ БИРИЛЁВ

Повесть

Каждый вечер безумец точил свою видавшую виды саблю, а когда смеркалось, надевал мундир, фуражку и бесшумно спускался в сад. Далеко в глубине зарослей под лунным светом едва угадывался поросший чертополохом холм. Туда, крадучись, он и пробирался. Когда же до холма оставалось несколько десятков метров, безумец выхватывал саблю и с криком: «За мной, ребята!» — бросался вперед, безжалостно кромсая налево и направо заросли бурьяна. Слыша этот боевой клич, дворовые крестьяне привычно крестились:

— Никак, наш снова на бастиен воевать пошел!

Устав от атаки, безумец приходил в себя, а потом так же бесшумно возвращался в дом. Разоружившись, он долго смотрел на висевший на стене портрет улыбающейся молодой женщины, и скупые слезы текли по его впалым щекам. Звали «старика» Николаем Алексеевичем Бирилевым, и было ему чуть больше сорока лет...

ПЛАМЯ СИНОПА

Бирилевы — род дворянский, но не слишком знатный. Происходит он от двух сыновей Петра Бирилева — Нечая да Михаила, что были верстаны поместьями в Углицком и Устюжском уездах в середине века 16-го. Потомство Нечая Петровича и было внесено в родословную книгу Тверской губернии, но не в шестую (главную) ее часть, а во вторую, по непредставлению документов о древности рода.

Родился наш герой в морозном декабре 1829 года в сельце Бирилево Тверской губернии. Отцом его был мелкопоместный дворянин Алексей Иванович Бирилев, мать Степанида Ивановна. Много лет спустя в графе «имеет ли за собой какое имущество», в послужном списке Бирилева, будет значиться лаконично: «Без недвижимого имущества».

Когда же штабс-капитан вернулся с турецкой войны с Владимиром в петлице и перебитой ногой, его уже встречала жена с первенцем. Хозяйство у Бирилевых было небогатое, а потому жили скромно. После Коленьки семейство Бирилевых пополнилось сестрой Анной и младшим братом Лешкой. Настала пора определять первенца на учебу. Связей в столице у папеньки с маменькой особых не было. А так как недорослей дворянских из Твери охотно брали в Морской корпус, то, по достижении десяти годков, Николеньку туда и отправили. О том, как учился Бирилев в Морском корпусе, нам неизвестно. Наверное, так же как все: грыз науки, штудировал лоции и изучал эклиптики светил, дрался со сверстниками и подшучивал над преподавателями и корпусными офицерами.

В августе 1845 года его производят в гардемарины и отправляют на практику на Черноморский флот. Там же через два года он получает и мичманский чин. Экзаменовал его сам адмирал Лазарев и ответами новоиспеченного мичмана остался доволен. Затем начались корабельные будни. Черноморский флот в ту пору много плавал. Особенно доставалось в осенне-зимних крейсерствах у кавказского побережья, где наши суда сторожили контрабандистов.

Бирилев не вылезал из морей. В его послужном списке меняются только названия судов: фрегат «Кагул», линейный корабль «Селафаил», пароход «Боец». И пусть маленький «Боец» неказист после огромного линкора, зато на нем Бирилев уже стоит самостоятельную вахту — вахтенным начальником, да и машину паровую изучает, пригодится. На «Бойце» мичман ходил по укреплениям Черноморской береговой линии до Керчи.

Характер у Бирилева был непоседливый, а потому он постоянно напрашивался в охотники в береговые отряды, посылаемые для усмирения прибрежных горцев. Там-то впервые услышал он свист пули у виска, поучаствовал в рукопашной сшибке, получил первые уроки ночных вылазок.

Затем был перевод на пароход «Эльборус» и снова рейсы между крымскими и кавказскими портами. После этого опять перевод на фрегат «Кагул» и плавание с десантными войсками между Севастополем и Одессой, затем Бирилев крейсировал у восточных берегов Черного моря.

— Ну и служба у меня: продыхнуть некогда! — говорил он при встрече друзьям-однокашникам.

— Ты бы списался на какой-нибудь плашкоут портовый! Не все же время по волнам шастать, надо и отдохновиться.

— А мне нравится! — задрал на затылок фуражку Бирилев. — Чего в гавани киснуть, когда вокруг столько интересного!

Но дружки как в воду глядели. В один из дней в севастопольскую портовую контору его вызвал хмурый вице-адмирал Станюкович.

— Слышал я, мичман, что ты машинами уайтовскими увлечен и «самоварами» очарован! — сказал недобро.

«Самоварами» старые марсофлоты презрительно именовали первые неуклюжие пароходы за их кургузость и вечную грязь.

— Морскому офицеру обо всем понятие иметь надобно! — ответил мичман дипломатично.

Станюкович глянул исподлобья:

— Вот тебе командировочная бумага. Поедешь в Москву, глянешь там, как исполняется заказ на постройку пароходов для края Новороссийского.

В Москву Бирилев съездил и заказ проверил. Разумеется, там и конь не валялся. От взяток купеческих мичман наотрез отказался и, вернувшись, доложил, что заказы подрядчики исполняют спустя рукава, а цены сильно вверх задирают. Все в рапорте изложил и по начальству передал.

— Куда мне теперь? — спросил.

— Ступай на корвет «Пилад», он как раз в крейсерство кавказское готовится.

Спустя несколько дней Бирилев был в море. В том походе он снова вызвался охотником с матросами в десантный отряд, снова удачно отогнал черкесов в нескольких жарких схватках и вернулся, не потеряв ни одного человека. Тогда о мичмане заговорили не только как о храбреце (кого этим на Черноморском флоте удивишь?), но и как о везунчике.

В апреле 1853 года Бирилева произвели в лейтенанты. Тогда-то на него положил глаз младший флагман дивизии контр-адмирал Панфилов.

— Будешь при мне флаг-офицером! — объявил он Бирилеву. — Мне шустрые да везучие по душе!

Всю весну и лето 1853 года Бирилев вместе с Панфиловым менял корабли. За «Ягудиилом» «Великий князь Константин», за «Константином» «Двенадцать Апостолов». И снова крейсерства, крейсерства, крейсерства…

Незадолго до войны мать повесила своему первенцу ладанку с молитвой «Живые в помощи» как оберег от гибели.

— Единственно, почему я выжил, только благодаря маминым молитвам! — делился впоследствии он самым сокровенным с товарищами.

С объявлением войны с Турцией забот прибавилось. Эскадра Панфилова составляла теперь резерв основным эскадрам Нахимова и Новосильского.

Когда же в начале ноября вице-адмирал Корнилов решил собрать в единый кулак все пароходы и поднял свой флаг на пароходо-фрегате «Владимир», то контр-адмиралу Панфилову было велено поднять флаг на пароходе «Крым», вместе с ним туда перебрался и Бирилев.

Затем началась блокада эскадрой Нахимова турецкой эскадры в Синопе и знаменитый бой Корнилова на «Владимире» с турецким пароходом «Перваз-Бахри». Турок был пленен, но и «Владимир» пострадал, а потому, приведя пленника в Севастополь, Корнилов перенес свой флаг на пароход «Одесса» и вместе с «Крымом» поспешил к Синопу на помощь Нахимову.

К вечеру 17 ноября отряд Корнилова был уже недалеко от берегов Турции. На рассвете 18 ноября пароходы подходили к Пахиосу, но именно здесь, всего

в пятнадцати милях от Синопской бухты, они вынуждены были застопорить машины, так как «за мрачностью и дождем ничего не было видно».

— Теряем драгоценное время! — Корнилов, нервничая, ходил взад-вперед по ходовому мостику.

На мостике «Крыма» не меньше нервничал седобородый Панфилов.

Погода несколько прояснилась лишь в половине одиннадцатого утра.

К полудню пароходы вышли с севера к Синопскому полуострову с северной стороны. Едва открылась бухта, как на ее рейде обозначился частокол мачт нахимовской эскадры. А спустя несколько минут грянула канонада. Было очевидно, что Корнилов опоздал, причем опоздал всего на какой-то час-полтора. Эскадра Нахимова уже вступила в сражение с эскадрой Осман-паши. С пароходов видели всплески от ядер, перелетавших через перешеек на северную сторону. Наши пароходы заметили с береговой батареи и обстреляли, но из-за большой дистанции безрезультатно.

— Курс в бухту! — приказал Корнилов. — Кажется, мы немного опоздали, но не настолько, чтобы наша помощь не оказалась нужной! Наши пароходы сейчас Павлу Степановичу особо необходимы!

В этот момент пароходы были замечены и с «Императрицы Марии».

— Три парохода! Следуют курсом на Синоп! — раздался крик вахтенного начальника.

Стоявший на шканцах Нахимов оглянулся. На траверзе мыса Боз-тепе были отчетливо видны три парохода. По тому, какими клубами валил из их труб дым, было очевидно, что пароходы выжимают из своих машин все возможное.

— Это еще что такое? Неужели турки, а может быть, англичане? — вице-адмирал был не на шутку встревожен.

Пароходы между тем быстро приближались, и напряжение по мере этого на шканцах флагманской «Императрицы Марии» возрастало.

— На головном пароходе контр-адмиральский флаг! Это «Одесса!» — прокричали с салинга.

— Ну, слава Богу! — Нахимов снял фуражку и перекрестился.

Как раз в это время державшийся за боевой линией турецкий пароходо-фрегат «Таиф» кинулся на прорыв. Командовавший им англичанин Слэйд, поняв, что дело начисто проиграно, решил спастись хотя бы самому.

Дав полный ход, «Таиф», умело пользуясь дымовой завесой, проскочил между берегом и «Ростиславом». На выходе из бухты ему преградили путь лежащие в дрейфе «Кагул» и «Кулевчи».

Однако и здесь Слэйд оказался на высоте. Отчаянно маневрируя, он обошел наши парусные фрегаты. Дистанция до «Таифа» и его преимущества в маневре не оставляли фрегатам никакого шанса на успех перехвата.

Однако не все еще было потеряно. Именно в это время из-за мыса появилась «Одесса», а следом за ней «Крым» и «Херсонес».

Не теряя времени, «Одесса» пересекла курс «Таифа» и бросилась за ним в погоню.

— У «Таифа» двадцать пушек, в том числе и бомбические, против наших шести! — прокричал в рупор контр-адмирал Панфилов наблюдающему за турецким пароходом Корнилову. — Не рискуем ли?

— Пустое! — махнул тот рукой. — Сейчас главное — догнать, а там можем и на абордаж сойтись! Да туркам сейчас не до правильного сражения, их задача унести ноги!

Бирилеву было велено возглавить абордажную команду «Крыма». С саблей на боку и двумя пистолетами за поясом, лейтенант расхаживал по палубе парохода, надеясь, что и ему сегодня выпадет шанс отличиться. Вместе с ним мичман Николай Красовский.

Пройдут годы, и герой Севастопольской обороны Георгиевский кавалер лейтенант Николай Иванович Красовский станет любимым учеником Айвазовского и одним из выдающихся отечественных скульпторов и писателей-живописцев.

Тем временем, обнаружив «Одессу», Слэйд неожиданно сбавил скорость и взял курс прямо на нее, явно намереваясь вступить в поединок.

Расклад сил был и вправду не в нашу пользу. «Таиф» располагал закрытой батареей, имея два 10-дюймовых, четыре 36-фунтовых и шестнадцать 24-фунтовых орудий против двух 10-дюймовых и четырех 24-фунтовых каронад «Одессы». Проигрывал наш наскоро вооруженный пакетбот и в скорости, имея 8,5 узла против 10 узлов. Однако, когда появились «Крым» и «Херсонес», командир «Таифа» решил уклониться от боя и взял курс на Трапезунд. Корнилов вновь увлекся погоней, подняв на «Одессе» сигнал «Взять неприятеля в два огня», и пароходы направились наперерез «Таифу». «Одесса» шла под всеми парами и парусами; сблизившись с противником на пушечный выстрел, русские моряки открыли огонь.

Трудно сказать, чем бы закончился этот поединок, если бы, еще не сблизившись с «Одессой», Слэйд вовремя не обнаружил еще два парохода — «Херсонес» и «Крым». На мачте «Одессы» трепетали сигналы «Держаться соединенно» и «Взять неприятеля в два огня». Оценив ситуацию, Слэйд сразу же развернул «Таиф». Теперь турецкий пароходо-фрегат, форсируя машины, старался как можно быстрее оторваться от наших пароходов.

— Дайте ему в разлуку! — крикнул в раздражении артиллеристам Панфилов.

Сразу несколько ядер, яростно подвывая, понеслись к цели. Секунда — и с треском рухнули мачты, истошно завопили обезумевшие турки…

Корнилов стоял на площадке «Одессы», поминутно вглядываясь в трубу на убегавшего противника, нет ли попаданий? Затем оглядывался назад — близко ли «Крым» и «Херсонес». «Крым» пока не отставал, а вот «Херсонес» отдалялся все больше и больше. От нетерпения команда «Одессы» казалась Корнилову

не обученной стрельбе из орудий на ходу судна. Вице-адмирал нервничал. Над головой его свистели бомбы и ядра турок, но он думал не о них, а о том, что, как только подойдет поближе «Крым», надо будет свалиться с турком на абордаж.

«Крым» постепенно начал сокращать дистанцию, хотя и крайне медленно. Время уже приближалось к трем часам: не менее как полтора часа длилась погоня за турецким пароходом. Затем из труб «Таифа» повалил очень густой дым: судя по всему, пароход прибавил ход и пошел в отрыв.

Между тем начался сильный дождь. Понемногу начало темнеть. Корнилов слышал редкие выстрелы «Крыма», но не было слышно ответных выстрелов противника, и это его поразило вдруг.

— Сдается? Спустил флаг? — спрашивал он у Бутакова.

— Увы, ваше превосходительство, пароход прекратил пальбу и уходит!

— Как уходит? — изумился Корнилов, еще не в силах поверить, что удача в этот день его обманула.

— Уходит на всех парах!

Погоня еще продолжилась, но с каждой минутой становилась все более безнадежной. Затем еще более усилившийся дождь вообще закрыл на некоторое время «Таиф», а когда прояснилось, турецкий пароход оказался уже вне досягаемости для выстрелов. Слэйд уходил в сторону Трапезунда.

Через какие-то полчаса турецкий флаг скрылся за горизонтом.

Поняв, что беглеца ему уже не догнать, Корнилов решил идти на помощь сражающейся эскадре.

— Поворачиваем на Синоп! — с досадой велел он.

На пароходных палубах офицеры обменивались впечатлениями. Бирилев зло швырнул саблю в ножны:

— Этак и война закончится, и подраться не удастся!

— Ничего, Коля, все еще только начинается. Крови еще много прольется! — покачал головой услышавший своего флаг-офицера Панфилов.

А в Синопской бухте уже один за другим взлетали на воздух турецкие суда. Сражение подходило к победному концу.

К вечеру Синопская бухта представляла печальное зрелище. Турецкие суда лежали на мели и горели. Когда огонь добирался до крюйт-камер, они взлетали на воздух. Вдоль берега валялись десятки и сотни убитых турок. Отовсюду раздавались стоны раненых, едва успевших выбраться с погибших кораблей. «Мы видели у берега остатки и раскиданные обломки взорванных на воздух судов и среди них массу трупов. По мере нашего приближения живые турки, занятые разграблением убитых товарищей, покидают свою добычу и уползают с награбленным имуществом», — писал очевидец. В беспорядочном нагромождении лежали груды ядер, разбитые пушки, всюду царили смерть и разрушение.

От горящих обломков взрывавшихся в близости от берега судов пожары в городе увеличивались с каждой минутой. В исходе пятого часа на «Импе-

ратрице Марии» взвился сигнал: адмирал приказывал осмотреть уцелевшие неприятельские суда, перевезти пленных и озаботиться о раненых. Шлюпки с вооруженными матросами немедленно направились к турецким фрегатам и корветам, приткнувшимся к берегу, чтобы попытаться спасти то, что еще можно было спасти. На одной из шлюпок, не утерпев, отпросился сходить к горящим турецким судам и Бирилев.

Между тем начало смеркаться. Над Синопской бухтой вздымались пожары. От них было светло, как днем. В ту ночь как на русской эскадре, так и на берегу никто не спал. Всю ночь наши пароходы были заняты отводом на буксире пылавших турецких судов, чтобы с переменою ветра их не нанесло на эскадру. Ночь прошла, к удивлению всех, спокойно. Несмотря на дождь, на берегу продолжались пожары.

Итак, сражение было закончено. Но теперь эскадре нужно было добраться до Севастополя. Повреждения же кораблей были немалыми. Наиболее разбитой турецкими ядрами оказалась, разумеется, «Императрица Мария», принявшая на себя в начале боя всю ярость вражеского огня.

«Я уговорил начальника эскадры, — писал Корнилов, — пересесть на корабль «В. кн. Константин», который хотя и потерпел, но не в такой степени, как корабль «Императрица Мария».

Спустя пару часов с «Константина» были сделаны следующие распоряжения по эскадре: «Кораблям «В. к. Константин», «Париж», «Три святителя», «Ростислав» и «Чесма», имея при себе пароходы «Одесса» и «Херсонес», составить передовой отряд; корабли «Париж» и «Чесма», как совершенно сохранившиеся, будут служить конвоем другим, отправляющимся не под полным вооружением; корабль «Императрица Мария», требовавший особенных исправлений, поручен контр-адмиралу Панфилову, он на пароходе «Крым» с фрегатами будет конвоировать корабль».

Наиболее избитую «Императрицу Марию» надлежало буксировать пароходом «Крым» под флагом контр-адмирала Панфилова, при конвое фрегатов «Кулевчи» и «Кагул», прямо в Севастополь.

Разумеется, не обошлось без нервотрепки. Едва «Императрица Мария» вышла в открытое море, едва ее хорошо качнуло, как разбитый корпус сразу же дал серьезную течь. Даже поставив дополнительные каттенс-помпы, едва успевали откачиваться. Пришлось «Марию» снова заводить в бухту, клепать трюмы и вбивать в пробоины новые заглушки. На все это надо было время. Чтобы не задерживать остальные корабли, Нахимов с Корниловым решили оставить при «Марии» отряд судов: пароход «Крым» в качестве буксира и фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» для охраны. Командиром этого импровизированного отряда определили контр-адмирала Панфилова, который тут же перебрался на «Марию».

«Императрица Мария» шла с грот-брам-стеньгой вместо грот-стеньги, с грот-марса реем вместо грота-рея. Перебитые ванты и штаги заменяли более

тонкими снастями. Все было сделано временно, наскоро, а потому очень ненадежно. Вместе с Панфиловым Бирилев все время, без сна и отдыха, был на шканцах «Марии».

Утром 22 ноября ветер наконец-то несколько стих. Пароходы вновь взяли корабли на буксир. Когда буксировавший «Марию» «Крым» догнал линейный корабль «Константин», то Нахимов поднял сигнал: «Благодарю контр-адмирала Панфилова».

Отряд Панфилова шел так хорошо, что, обогнав главные силы, вскоре скрылся за горизонтом. В Севастопольскую гавань эскадра входила при огромном стечении народа и несмолкаемых криках «ура».

За Синопское сражение Бирилев по представлению Нахимова был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом. Представляя лейтенанта Бирилева к награде, вице-адмирал Нахимов писал: «Находясь при контр-адмирале Панфилове, с отличным присутствием духа и точностию исполнял его приказания».

Тогда же лейтенанта официально назначили адъютантом командира 1-й бригады 4-й флотской дивизии контр-адмирала Панфилова. По существу адъютант в то время исполнял обязанности начальника штаба, так что новое назначение Бирилева следует считать значительным повышением.

В начале 1854 года на пароходо-фрегате «Крым» Бирилев выходил в море для наблюдения за англо-французским флотом противника. А 3 июля он участвовал на том же «Крыме» в составе отряда пароходов в знаменитой перестрелке с тремя неприятельскими.

После начала осады Севастополя союзниками началась и блокада порта с моря. Чтобы противник не прорывался в бухту, наши моряки затопили на входе несколько кораблей и фрегатов. Остальные корабли заняли позиции для усиления обороны. Большая часть офицеров была списана на берег. Разумеется, нетерпеливый Бирилев тоже туда просился, но Панфилов его не отпустил, а определил исполнять должность старшего офицера на линейный корабль «Ягудиил». И хотя «Ягудиил» стоял на якорях на внутреннем рейде и на выход в море для сражения с неприятелем уже никакой надежды не было, все равно старший офицер есть старший офицер.

НА БАСТИОНАХ

Однако Бирилев не был бы Бирилевым, если бы, в конце концов, не добился своего. Выбрав удобную минуту, он обратился напрямую к Нахимову:

— Ваше превосходительство! У меня немалый опыт боев в горах кавказских, почему же мне сидеть теперь на «Ягудииле», когда я могу на бастионах немалую пользу принести!

— Экий ты настырный, Бирилев! — только и хмыкнул вице-адмирал.

Назавтра на линейный корабль пришел приказ об откомандировании лейтенанта Николая Бирилева на бастион № 3.

С собой лейтенант забрал и отчаянного марсового Игнатия Шевченко, к которому уже давно испытывал симпатию. Среди марсовых трусов не бывает, ибо место на самой верхушке мачты, у проносящихся мимо туч. В дождь и снег, в ветер и шторм они взбираются на головокружительную высоту. И первым всегда на «Ягудииле» взбирался по обледенелым вантам Игнатий. Сам командующий эскадрой вице-адмирал Нахимов за лихость и молодечество жаловал его рублем серебряным. Матросов «Ягудиила» по бастионам не распределяли, зато почти ежедневно команду строили на шканцах и выкликали охотников в ночные вылазки. Далеко не все возвращались на корабль, однако каждый раз от желающих отбоя не было... Среди тех, кто не пропускал ни одной вылазки в стан неприятеля, был и матрос Игнатий Шевченко.

— Ухожу на бастион! — сказал марсовому лейтенант. — Пойдешь со мной?

— Конешное дело, ваше благородие, счас вмиг соберусь!

Начальствующий над бастионом капитан 2 ранга Попандопуло встретил Бирилева приветливо. Черноморский флот не столь велик, и все офицеры хоть немного, но друг друга знают.

— Ну, здравствуй, Николя! Рад, что мне именно тебя прислали. Мне везучие нужны! Ты уж извини, но должность у меня для тебя осталась только одна — убойная — заведующим аванпостами против бастиона.

— А что с предшественником? — поинтересовался лейтенант.

— Убит. Да и его предшественник тоже три дня прожил! Я же говорю, что место убойное. Ты можешь отказаться!

— Напротив! — остановил его жестом Бирилев. — Это то, что мне надо! Я согласен!

Из послужного списка Н.А. Бирилева: «Поступил в состав севастопольского гарнизона с назначением заведовать аванпостами против бастиона № 3 9 (21) сентября 1854 г., причем выезжал за городскую черту с 25 казаками и участвовал в стычках с неприятельскими разъездами каждую ночь с 25 сентября (7 октября) 1854 г.»

Пришлось Бирилеву пережить и первый день первой бомбардировки. В тот день 5 октября на бастионе творилось нечто невообразимое. Ядра и бомбы сыпались с неба непрерывно. Смерть царила повсюду. Вскоре осколком бомбы был ранен Попандопуло. Наскоро перевязав рану, он продолжил руководить обороной бастиона. И вскоре был ранен вторично, на этот раз уже смертельно. Капитана 2 ранга отнесли в госпиталь, где, умирая, он успел проститься с сыном. В командование бастионом вступил капитан-лейтенант Лесли. Прибыл на бастион и начальник артиллерии дистанции капитан 1 ранга Ергомышев. Возле орудий был и Бирилев. Несмотря на царящую вокруг смерть, прятаться в блиндажах было нельзя. Никто не знал, чем закончится бомбардировка — может, ничем, а может, генеральным штурмом. В любую минуту французы могли кинуться на приступ, а потому и артиллерийская при-

слуга, и стрелки должны были быть на своих местах, в готовности отразить атаку. А затем очередная бомба поразила пороховой погреб. В вихре взрыва погиб капитан-лейтенант Лесли, тяжело контужен Ергомышев. Последний час бомбардировки полуразрушенным бастионом командовал уже Бирилев. К счастью, в тот день на штурм Севастополя союзники не решились. Трудно представить, чем закончился бы штурм, так как на третьем бастионе к концу бомбардировки из 22 орудий невредимыми остались только два. Потери в людях исчислялись многими сотнями.

В историю Севастополя третий бастион вошел под наименованием «Честный», так называли его защитники города. Почему «честный»? Наверное, потому, что там стояли насмерть люди чести. Союзники уважительно звали третий бастион «Большим Реданом», придавая ему особое, почти мистическое значение, но до самого последнего дня обороны никто из них так и не вступил за его бруствер.

Практически все вылазки Бирилева были на редкость дерзкими и удачными. Поэтому с каждым разом начальство доверяло в его распоряжение все больше охотников-добровольцев. Если в первую вылазку с ним пошло 150 человек, то в следующую — уже за три сотни.

Севастопольские бастионы были укомплектованы прежде всего моряками и напоминали по организации корабли. Офицеры и матросы не хотели отвыкать от своих флотских порядков, поэтому на бастионах были «вахтенные по батарее», а не «дежурные», как в армейских подразделениях.

Подъем патриотизма и готовности к самопожертвованию у офицеров, матросов и солдат Севастопольского гарнизона был небывалый. 20 ноября 1854 года, из письма артиллерийского офицера Л.Н. Толстого брату: «Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед; при малейшем движении вперед его засыпают градом снарядов. Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска отвечали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это не был эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 000 исполнили это обещание».

Не сразу, а постепенно под началом Бирилева сформировался отряд самых отчаянных храбрецов, тех, кому и сам черт не брат. Имена некоторых из них остались известны потомкам: Петр Кошка, Игнатий Шевченко из 30-го флотского экипажа, Петр Ананьин, боцман 38-го флотского экипажа, матрос Петр Заика из 40-го экипажа...

Вскоре о Бирилеве и его сорвиголовах уже заговорили в гарнизоне. Почти каждую ночь — бой, почти каждую ночь — победа. Обычно вылазки были небольшие: шороху у французов навести да пленных забрать. Но время от времени перед третьим бастионом разгорались целые баталии.

Так, в ночь на 9 декабря с полутора сотнями охотников он организовал вылазку на Зеленую гору, овладел первой параллелью и удерживал ее до утра, а при отступлении захватил с собой 2 офицеров, 20 рядовых пленными, много оружия и до 500 штук шанцевого инструмента; за эту вылазку его наградили золотой саблей с надписью: «За храбрость».

В ночь на 19 декабря Бирилев с 120 охотниками выбил французов, укреплявшихся на высоте Резня, и взял 10 пленных, потеряв одного убитым. В ночь на 1 января была организована атака отряда лейтенанта Астапова на позиции англичан и отряда из двухсот добровольцев лейтенанта Бирилева на французские позиции. Дело удалось. Охотники Бирилева, несмотря на сопротивление противника, захватили и заклепали 4 мортиры, разорили батарею и отошли с 3 пленными, потеряв 4 убитых и 16 раненых нижних чинов.

В ночь на 20 января 1855 года с отрядом из 275 человек охотников и 80 рабочих Бирилев вновь атаковал гору Резня, взял и разрушил неприятельские укрепления и построил свое, в котором держался до утра. В плен были взяты 7 офицеров и 20 рядовых.

5 февраля 1855 года походная кавалерственная Дума ордена Святого Георгия рассмотрела представление адъютанта 1-й бригады 4-й флотской дивизии Бирилева к ордену Святого Георгия 4-й степени и признала его достойным ордена. В решении, подписанном Нахимовым, было записано: «Подвиги лейтенанта Бирилева заключаются в следующем: с первого начала военных действий офицер этот отличился особым мастерством, особенно же 9 и 20 декабря 1854 г. и 1 января 1855 г. при трех вылазках, в которых взято в плен много офицеров и 53 рядовых и много побито неприятеля. Всегда командовал охотниками и всегда, будучи впереди, первый бросался в неприятельские траншеи; увлекал людей к неустрашимости и обращал неприятеля в бегство. Сверх сего, ночью с 19 на 20 декабря 1854 г. (новый год неприятеля) вызвался со 100 чел. охотников, бросился на высоту против батарей на бульваре... штыками выбил оттуда французов, разорил их работы и устроил на том самом месте завалы, в которых под его наблюдением наши штуцерные держатся и доселе. Кавалерственная Дума, сообразив таковые подвиги лейтенанта Бирилева со статусом военного ордена великомученика и Победоносца Георгия, признает его, Бирилева, достойным награждения орденом Св. Георгия 4-й степени...»

Князь Горчаков, главнокомандующий Южной армией и сухопутными и морскими силами в Крыму, вручая награды особо отличившимся офицерам, вместе с орденом Св. Георгия 4-й степени уже от себя преподнес лейтенанту Бирилеву золотую саблю с надписью: «За храбрость».

Охотники Бирилева, этот российский спецназ середины XIX века, жили по своим собственным законам. Большие начальники для них вроде как и не начальники, а душой и телом преданы они только своему Бирилеву, который для них и отец, и старший брат. Скажет Бирилев: «Умри!» — все как один, не моргнув, умрут. Начальство бирилевцев старалось лишний раз не трогать. Да и чем ты можешь испугать людей, которым каждую ночь в лицо дышит смерть! Впрочем, шалости у бирилевских «спецназовцев» самые невинные: винца попить, чаи погонять да одеться не по форме, а как им способней. Во главе этой отчаянной братии сам Бирилев — фуражка на затылке, на лбу пышный чуб, воротник шинели поднят, руки в карманах, на шинели белый Георгиевский крест, а на боку сабля кривая турецкая. Никого не боится и говорит то, что думает, невзирая на чины и звания.

Из хроники Севастопольской обороны: «Для держания же неприятеля в беспрестанной тревоге (что, кроме изнурения его войск, заставляло его постоянно иметь в траншеях значительные силы под выстрелами крепостной артиллерии) производились небольшие вылазки. Сначала почти исключительно ходили на вылазки охотники из матросов, но впоследствии солдаты и казаки (пластуны) соперничали с моряками в удальстве подползти неожиданно к неприятельскому пикету, заколоть часового, ворваться в траншею, поднять на ноги неприятельские резервы и уйти вовремя незаметно. Многие из моряков ходили на вылазки по нескольку раз и до того облюбили это занятие, что оно обратилось как бы в страсть. Само собою разумеется, что такая опасная игра обходилась не без потерь и потому не всегда разрешалась начальством: а как некоторые из смельчаков решались уходить на вылазку и без дозволения, на свой страх, то, чтобы предупредить подобные отступления от воинского порядка и сохранить храбрых людей, необходимых для защиты Севастополя, держали некоторых из них под особым присмотром. В числе таких неугомонных охотников подраться с неприятелем, 30-го экипажа матрос Кошка составил себе блистательную известность, но таких в Севастополе было много. Да и вообще как между черноморскими моряками, так и между всеми бившимися наряду с ними в защиту «своего» города, храбрость, при той жизни, которую тогда вели они, сделалась общим качеством, и храбрость не порывами, а постоянная, обратившаяся в убеждение, что едва ли кому из севастопольцев удастся спасти голову, выйти целу и невредиму из этого горнила смертоносных снарядов, в котором огонь и железо наперерыв уничтожали цвет народонаселения России».

Не довольствуясь обычным нападением невзначай на оплошного врага, наши охотники разнообразили свои ночные подвиги, придумывая всякие хитрости, чтобы захватить живьем неприятельского часового и притащить его в ближайшее укрепление. Для этого они иногда употребляли особый снаряд, укороченную пику, острие которой было загнуто в виде крючка. Охотник, притаив дыхание, подползал в темноте к траншее, стаскивал со

стенки часового и с помощью товарищей доставлял его на ближайшую батарею. Подобные случаи повторялись так часто, что сам генерал Канробер счел нужным сообщить о том начальнику Севастопольского гарнизона, генерал-адъютанту Сакену. «Позвольте мне, — писал он, — довести до вашего сведения факт, по всей вероятности, вам неизвестный: я удостоверился, что в схватках, происшедших на днях впереди наших траншей, несколько офицеров и солдат были захвачены с помощью веревок и шестов с крючьями. У нас нет никакого оружия кроме ружей, штыков и сабель, и хотя я не беру на себя обязанности доказывать, что употребление других средств противно правилам войны, однако же позволю себе повторить старинное французское выражение: «что такие средства не могут считаться приличным оружием» (Que ce ne sont point la des armes courtiuses). Предоставляю на ваше усмотрение».

В ответ на это послание генерал Сакен ответил:

— Солдатам нашим приказываю брать в плен неприятелей, не убивая их без надобности. Что же касается до упомянутых вами снастей, то легко быть может, что рабочие, всегда сопровождающие наши вылазки, употребляли их для своей обороны.

Беспрестанные вылазки Севастопольского гарнизона заставили генерала Канробера сформировать три особые роты, каждую в полтораста человек, под названием охотников (eclaireurs volontaires), которые должны были разведывать все, что происходило впереди наших укреплений, извещать о вылазках из города, тревожить наши передовые посты, разрушать наши завалы и пр. В просторечии они назывались «сорвиголовами» и чертями (enfans perdus et infernaux) и вскоре сделались известны отсутствием воинской дисциплины. Однако после первых же ночных схваток стало ясно, что матросы Бирилева непременно побивают сорвиголов генерала Канробера и поделать с этим ничего нельзя.

В ночь на 1 марта 80 охотников-матросов и 60 штуцерных Охотского полка под командованием лейтенантов Бирилева, Астапова и мичмана Макшеева ворвались в укрепления, которые французы строили напротив третьего бастиона, разорили часть траншеи и вынесли оттуда более сотни туров.

А через десять дней решено было еще раз основательно пощипать французов. В десятом часу вечера 11 марта отряд охотников стал потихоньку выдвигаться к нашим передовым позициям. Командир третьего отделения Севастопольской обороны контр-адмирал Панфилов вызвал к себе Бирилева.

— Вот что, Николаша, — сказал он ему ласково, — сегодня надлежит тебе со своими молодцами занять передовые французские ложементы, срыть их в сторону неприятеля и, оставив на них стрелков, отойти. Для работ земляных даю тебе рабочих, — контр-адмирал перекрестил Бирилева. — Ты у нас везучий! Желаю, чтобы фортуна не отвернулась и на сей раз!

На этот раз под началом лейтенанта был отряд в 750 человек с тремя ротами Охотского полка в резерве, который составлял правый фланг большой вылазки под руководством генерал-лейтенанта Хрулева.

Вскоре охотники залегли за передовыми редутами в ожидании начала вылазки. Но команды все не было, Бирилев медлил. В небе предательски светила луна, и лейтенант боялся быть обнаруженным до времени.

Верный Игнатий Шевченко коротал время рядом со своими дружками Дмитрием Болотниковым и Петром Кошкой. Не раз и не два участвовали они в подобных вылазках, не раз выручали друг друга в минуты смертельной опасности. Дабы согреться на холодном январском ветру, курили друзья глиняные трубки.

— Сегодня непременно удача будет! — делился своими мыслями рассудительный Болотников. — С Бирилевым всегда так!

— Всем хорош наш лейтенант, только уж горяч бывает без меры. Под пули так и лезет! — отозвался Петр Кошка.

Шевченко некоторое время отмалчивался. Затем молвил, выбив табак из трубки:

— Такое его дело командирское — всегда поперед других быть! А наше матросское — от всяких напастей его уберегать!

— Эй, кто здесь охотники? — кричал, пробираясь меж гревшихся у костров солдат и матросов, какой-то унтер. — Выходи строиться!

Бирилев еще раз глянул на небо. Оно было в сплошных тучах. Глянул на часы. Стрелки показывали третий час ночи. Пора!

— Ребята, — обратился к матросам лейтенант, когда те построились, — фронт не нарушать! Идти локоть в локоть, и чтобы тихо! Фуражки долой!

Быстро, истово крестились.

— С Богом! Вперед, марш!

Двинулись. Вышли на ничейную полосу. Вокруг было тихо. Но вскоре где-то раздался выстрел, второй, третий... Взвилась ракета...

— Завидели, окаянные! — обернулся к Кошке шедший впереди Шевченко. — Теперь не отлипнут!

— Живее, живее! — торопил Бирилев.

Скорым шагом миновали Сахарную головку — гору, служившую ориентиром во время вылазок. Теперь впереди французские траншеи. Здесь было тихо, только перекликались между собой замерзшие на ветру часовые да где-то в глубине трубили дозорные горны. Подошли под неприятельские ложементы. Вот они, на горке!

— В колонну! — с громким шепотом скомандовал Бирилев. — Ружья на руку! Вперед!

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Русские! — выкрикнул в ответ лейтенант. — В штыки, ребята! Ура!

Спустя какую-то минуту матросы были уже на ложементах. Лихо работая штыком, Шевченко вместе с товарищами быстро прокладывал себе до-

рогу вперед. Вскоре ложементы были наши. Рабочие тут же начали срывать насыпь.

— Потери? — окликнул Бирилев своих унтеров.

— Трое пораненных! — хрипло выдохнули те в ответ.

— Не останавливаться! — кричал лейтенант. — Пока француз не опомнился, только вперед!

Так же лихо черноморцы выбили неприятеля из ближайшей к ложементам траншеи, на спине противника ворвались во вторую. В третьей напоролись на картечь, пришлось отойти. Теперь в штыки уже кинулись понявшие что к чему французы. Завязалась отчаянная рукопашная схватка. Шевченко, уложив замертво двоих, гнал перед собой третьего. Французы дрогнули, и вновь матросы отбивали одну траншею за другой. Все в кромешной тьме, в липком, рыхлом снегу. Неприятель давил числом, наши — удалью! Чаша весов все больше склонялась на сторону черноморцев.

— Поднажмем, ребята! — размахивал саблей Бирилев. — И француз тыл покажет!

Подавая пример подчиненным, он первым прокладывал себе дорогу среди врагов.

Внезапно из-за ближайшей скалы на него выскочило сразу полтора десятка алжирских зуавов, вооруженных штуцерами. Вот они разом вскинули свои ружья... Еще мгновение — и все для лейтенанта Бирилева будет кончено!

— Бережись! — вмиг оценивший обстановку Игнатий Шевченко кинулся к командиру и заслонил его от пуль.

Впоследствии Бирилев вспоминал, что он ничего не успел понять, лишь почувствовал несколько глухих ударов в тело навалившегося на него Шевченко. Подоспевшие матросы штыками отбросили зуавов, а Бирилев все стоял на коленях перед распростертым на земле матросом.

— Да скажи хоть слово, брат! — умолял он своего спасителя. — Не умирай, прошу тебя!

Шевченко уже оставляли последние силы. Он побледнел, глаза его закатились, сухие, обветренные губы еще что-то пытались шептать, но прошло несколько минут — и он затих навсегда.

Та ночная вылазка была на редкость удачной: была захвачена правая параллель на Зеленой горе со всеми батареями, заклепаны восемь 36-фунтовых пушек-каронад, срыта до основания батарея в десять орудий, взяты в плен начальник инженерных работ, офицер и 25 рядовых. Но, несмотря на победу, веселья не было. Черноморцы скорбели о своем товарище. Тело героя несли его друзья Болотников и Кошка.

Из воспоминаний Б.П. Мансурова: «Лейтенант Бирилев сам рассказывал мне некоторые подробности о смерти Шевченки: он всегда сопровождал его вместе с Петром Кошкой в качестве телохранителей, как Кошка при мне выразился. Бирилев уже одолжен был один раз Шевченке за спасение жизни, ибо

на одной из предшествующих вылазок сей последний без оружия бросился на целившегося в упор на Бирилева французского стрелка и схватил его за горло так удачно, что повалил на месте и сам остался невредим, тогда как выстрел штуцера оторвал Бирилеву только ножны. В ночь на 20 января, когда Бирилев бросился в траншее на неприятельских стрелков, Шевченко увидел, что на его командира направлено в нескольких шагах штуцеров 15, которых сей последний не замечал: в одно мгновение Шевченко локтем и плечом свалил Бирилева с ног и в ту же минуту упал, раненный пулей, которая попала ему в грудь и вылетела около крестцовой кости...»

Весть о подвиге матроса с «Ягудиила» мгновенно облетела Севастополь. Защитники города были потрясены мужеством Игнатия Шевченко. Когда об этом случае стало известно Павлу Степановичу Нахимову, он сказал: «В этом я вижу высшую дружбу воинов и сознание подчиненного, что офицер-начальник нужен команде больше прочих...»

Даже скупой на похвалы и награды Главнокомандующий войсками Крыма князь Меншиков самолично распорядился о посмертном награждении героя военным орденом, издал приказ по армии, заканчивавшийся следующими словами: «...Сделав распоряжение об отыскании его семейства, которое имеет все права воспользоваться щедротами всемилостивейшего государя нашего, я спешу, мои любезные товарищи, сообщить вам об этом, поздравить вас, что вы имели в рядах своих товарища, которым должны вполне гордиться».

За храбрость в бою Шевченко был награжден посмертно солдатским Георгием, а спасенный им Бирилев за успешную вылазку — орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (до этого, за участие в других вылазках, ему уже был вручен орден Святого Владимира 4-й степени с мечами).

Вскоре о подвиге Шевченко заговорила уже вся Россия. Ростовские купцы Кузнецов и Сорокин начали сбор пожертвований на памятник черноморскому герою. 26 августа 1874 года памятник, исполненный академиком-художником Микешиным, был установлен в Николаеве — первый в истории России памятник нижнему чину. После воссоздания Черноморского флота, в 1902 году, его перевезли в Севастополь и установили перед казармами Черноморской дивизии.

Один из историков отечественного флота, лейтенант Белавенец, так писал об этом событии: «Расступитесь, памятники доблестных героев Севастополя, и примите в свою среду памятник герою, который хорошо помнил слова Господни: «Больше сея любви никто не имать, да кто душу свою положит за други своя».

Император Николай, по получении донесения князя Меншикова об этой вылазке, произвел лейтенанта Бирилева в капитан-лейтенанты и назначил его своим флигель-адъютантом. «Велики были подвиги храбрости и самоотвержения, совершенные на вылазках защитниками Севастополя, — писал один

из современников. — И кто может исчислить их? Одни из наших героев пали славною смертью; другие, оставшись в живых, не считали нужным оглашать дела доблести, которых были участниками. Для них не было ничего чрезвычайного стоять молодецкою грудью за Россию в темные ночи, вдали от своих, вне взоров начальников и товарищей, которые могли бы оценить действия мужественных воинов. Их возбуждали не награды, не отличия. Они шли на смертный бой за веру, за царя, за Россию. Других помыслов у них не было и не могло быть. Они были все храбры: каждый офицер был Бирилев, каждый из рядовых Шевченко. Да будут же примером грядущим поколениям русского народа известные и неизвестные герои славной Севастопольской обороны, пока пред лицом мира красуется великая, могучая Россия!»

Из хроники обороны Севастополя: «Когда работа уже была окончена и к неприятелю прибыли сильные подкрепления, Бирилев отвел свой отряд к завалам, оставил там штуцерных и возвратился на 3-й бастион, унеся всех раненых и захватив в плен двух офицеров и семь рядовых. Со стороны французов были убиты либо ранены четыре штаб- и обер-офицера и множество нижних чинов. Урон их увеличился ошибкою их войск, занимавших траншеи, которые в темноте, приняв за неприятеля две роты французского 46-го линейного полка, встретили их ружейным огнем. С нашей стороны убиты один офицер, Волынского полка прапорщик Семенский, и три человека из нижних чинов; ранено 34 нижних чина, в числе коих матрос Кошка».

Затем были новые бои и новые подвиги. При этом Бирилев и представить себе не мог, что именно в это время за много тысяч верст от Севастополя, на берегах Невы, уже предопределилась его будущая личная жизнь. Дело в том, что как раз в это время младшая сестра Бирилева Анна училась в Смольном институте. Вместе с ней училась и ее самая близкая подруга Мария Тютчева, дочь дипломата и поэта Федора Тютчева. Когда началась оборона Севастополя и газеты стали публиковать описание подвигов старшего брата Анны, подруги запоем читали эти статьи: первая с гордостью, а вторая с восхищением. Именно тогда Бирилев стал для юной романтичной Маши идеалом рыцаря без страха и упрека, идеалом настоящего мужчины-героя.

26 марта 1855 года Бирилев был послан курьером к императору с письмами от князя Горчакова. Историк пишет: «Вскоре ему (Бирилеву — **В.Ш.**) выпала честь отправиться курьером в Санкт-Петербург с письмом князя М.Д. Горчакова к императору Николаю. Редко хозяину земли русской удавалось обрести хорошее настроение, но письмо из военного Крыма несколько утешило его. Да к тому же офицер-фронтовик произвел впечатление на государя, его остроумные и красноречивые рассказы о жизни в осажденном Севастополе разряжали дворцовую обстановку, приближенные к царской особе смотрели на Бирилева как на героя. Он таким и был. Всемилостивейшим указом курьер был произведен в капитан-лейтенанты с назначением флигель-адъютантом Его Императорского Величества. Из 30-го флотского экипажа Бирилев был пере-

веден в гвардейский. Все эти награды и почести круто меняли карьеру морского офицера. Популярность Бирилева была такова, что о нем немало писали петербургские и московские газеты, а сановные лица и купечество считали за честь принять у себя дома героя Севастополя».

В те дни Анна и познакомила брата со своей подругой. Встреча Николая и Маши была короткой, но именно тогда родилась взаимная любовь.

Затем была долгая переписка. Машины письма, перечитанные десятки раз, лежали в секретере командира «Посадника» рядом с секретными документами. Письма Бирилева Маша хранила в специальной коробке, перевитой алой лентой.

— Чем занимается ваша сестра Мари? — спрашивала свою фрейлину Анну Тютчеву (старшую сестру Марии Тютчевой) императрица Александра....

— Она безнадежно влюблена во флигель-адъютанта Бирилева! — отвечала та.

— О, это была бы прекрасная пара! Как вы полагаете? — улыбнулась императрица.

— Думаю, что моей сестрице лучшего мужа не найти!

— Надо устроить эту партию! Это будет самая прекрасная партия.

Казалось бы, что теперь Бирилев мог бы уже вкусить плодов от своей популярности. Флигель-адъютанту ни к чему снова возвращаться под ядра. Его место подле особы императорской, тем более что никто не посмеет упрекнуть его в отсутствии храбрости. Он свое повоевал, пусть теперь повоюют другие. Но Бирилев решил иначе. К неудовольствию Николая Первого, он без лишних церемоний стал проситься обратно в Севастополь.

— У меня не так много флигель-адъютантов, чтобы я их посылал на убой! — пробурчал в усы император.

— Обещаю вашему величеству всенепременно остаться в живых! — лихо щелкнул каблуками капитан-лейтенант.

— Это ты сейчас обещаешь, а случись что, с кого спрашивать? — насупил брови Николай. — Впрочем, у каждого своя судьба. Езжай!

Вскоре Бирилев был уже снова на своем родном третьем бастионе. Снова ночные вылазки, рукопашные схватки, победы и потери. Но вскоре удача оставила флигель-адъютанта. 6 мая во время подготовки новой вылазки с 5-го бастиона на Кладбищенскую высоту при рекогносцировке он был тяжело контужен пулей в голову.

Придя в себя, капитан-лейтенант снова было засобирался на бастион, но осмотревший его хирург Пирогов только покачал головой:

— Какой к черту бастион, когда у него такие боли в голове, что в пору на стенку лезть. Немедленно увозить на лечение в Германию!

— Но он же не кричит и не стонет, а шутит и улыбается! — засомневались другие врачи.

Пирогов снял очки, протер их платком, снова водрузил на нос, вздохнул:

— Все очень просто, господа: вы видите перед собой настоящего русского офицера!

Провожали Бирилева его верные друзья: контр-адмирал Панфилов да товарищи по вылазкам лейтенанты Астапов и Макшеев. Последними прощаться подошли его храбрецы: Петр Кошка, Игнат Заика да Митрий Болотников.

— Вот, ваше благородие, вам наш подарочек в дорогу! — сказал за всех Петр Кошка, протягивая тряпицу с несколькими замусоленными головками сахару. — Вам теперича сладенького надобно, вот будете в дороге чаи гонять. Глядишь, и нас вспомните!

В глазах Бирилева стояли слезы:

— Спасибо, братцы, вовек вас не забуду!

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ ИМПЕРАТОРА

Тяжело контуженного Бирилева отправили на лечение в Висбаден. Лечение было долгим и трудным. Профессора немецкие никаких гарантий не давали.

— Голова — самое темное дело в медицине, — говорили они откровенно. — Никто из нас не даст никаких гарантий, какие процессы будут происходить там в дальнейшем. Единственное, что можем рекомендовать, — покой, покой и покой!

— Конечно-конечно! — заверил профессоров Бирилев.

Диагноз Бирилеву был поставлен неутешительный: травматическая эпилепсия. Болезнь тяжелейшая и непредсказуемая...

Но сейчас флигель-адъютанту было не до диагноза, он спешил в Москву, где ему предстояло принять участие в чествовании героев обороны Севастополя. Встреча черноморцев превратилась в Москве в национальный праздник, продолжавшийся без малого целый месяц.

Когда отгремели последние залпы войны, оставшиеся в живых черноморцы были отправлены на Балтику, туда, где были необходимы их закалка и боевое мастерство.

Путь черноморцев пролегал через Первопрестольную, и к прибытию героев-севастопольцев там готовились загодя. Когда же первые колонны утомленных походом моряков 18 февраля показались у Серпуховских ворот, их уже встречали толпы горожан, оркестры и почетный караул. Навстречу морякам вышел московский генерал-губернатор граф Закревский, «достойный гражданин» Кокорев преподнес дорогим гостям хлеб-соль. От моряков Черноморского флота их принял капитан-лейтенант Бирилев.

Газета «Московские ведомости» в те дни писала: «Лишь только увидели мы издали длинный их строй, спускающийся с горы, слезы прошибли всякого, и горько, и весело, и грустно. Обыватели густыми толпами валили к ним навстречу и кричали: «Ура!» «Ура!» — отвечали гости...

Сравнявшись с гостями, Кокорев передал поднос с хлебом-солью старшему офицеру. «Служивые! Благодарим вас за ваши труды, за пролитую в защиту родной земли кровь! Примите наш земной поклон!» — и поклонился в землю. За ним поклонились и все следовавшие. Удивительная, умилительная минута! Все плакали...»

Прямо посреди Серпуховской площади были накрыты огромные столы, где стояла водка, лежали груды снеди. Один за другим следовали тосты... Купцы чуть не в драку зазывали к себе на постой моряков: кто «спрашивал» десять, кто двадцать, а кто и все сто!..

На следующий день, 19 февраля, старшие офицеры были приглашены на торжественный обед к генерал-губернатору (мичманам и лейтенантам накрыли столы в гостинице «Шевалье»). Матросы гуляли по улицам. Двери трактиров перед ними открывали, денег при этом не брали, зато качали на руках. Офицеров тем временем приветствовали в Дворянском собрании.

Праздники пролетели быстро, снова наступили будни. Прибыв из Москвы в Петербург, Бирилев тут же отправился в министерство.

— Я полностью излечился и готов идти в море хоть сегодня!

— Что здоров, это хорошо, — покачали головой чиновники. — Но вот флот у нас нынче мал и очередь на хорошие суда преогромная. Впрочем, для вас, как для флигель-адъютанта, имеется вакансия на яхту «Королева Виктория».

— Давайте хоть яхту! — махнул рукой Бирилев.

В течение последующих двух лет он плавал на яхте по Финскому заливу, а потом захандрил:

— Сколько ж можно в «маркизовой» луже плескаться!

Случай переговорить с императором выдался во время коронации Александра Второго в Москве, где Бирилев присутствовал как флигель-адъютант.

— Какие могут быть препоны моему адъютанту! — передернул плечами император, выслушав Бирилева, и вскоре тот был определен старшим офицером линейного корабля «Выборг». Служба на «Выборге», однако, была на редкость скучной, так как он больше стоял, чем плавал, и суетной, так как на линейном корабле у старшего офицера рутинных дел всегда хватает.

ДЕЛА ВОСТОЧНЫЕ

Несмотря на то что Крымская война уже закончилась, английский премьер-министр Пальмерстон под предлогом борьбы за права человека по-прежнему разжигал ненависть к России. А английские войска из Балаклавы и Севастополя были переправлены прямиком в Гонконг и Индию, где ожидались восстания аборигенов.

— Мы наказали Россию, теперь пора поставить на колени и Китай! — вещал Пальмерстон.

Захват Поднебесной виделся из Лондона делом несложным. В двух недавних опиумных войнах Китай понес огромные убытки, и китайские товары уже не могли

конкурировать с продукцией европейских мануфактур. Огромная страна стремительно беднела. Вдобавок ко всему Китай сотрясали мятежи яростных тайпинов.

Активность англичан в Китае заставила принять меры и Петербург.

— Союзники считают, что после Крыма им все нипочем! — высказывал брату Константину император Александр Второй. — А потому надо будет сделать все возможное, чтобы умерить их пыл!

В марте 1859 года в Китай отбыла миссия генерал-майора графа Игнатьева с оружием и военными советниками. Китайцы просили о помощи, и та была им обещана. От Петербурга до Пекина путь не близок, а потому, пока граф Игнатьев трясся в своей коляске по бесконечным дорогам, в Китае произошли весьма важные события.

Все началось с того, что английский вице-адмирал Хоуп пытался силой пройти вверх по реке Бейхэ в Тяньцзинь в качестве «посольского конвоя», чтобы затем продиктовать китайцам свои условия. Эскадра Хоупа была впечатляющей: 8 фрегатов, корветов и транспортов, 2 большие и 9 малых канонерок. Китайцы вначале предложили «дипломатической миссии» пройти до Тяньцзиня сухопутным путем. Но уверенные в своей силе англичане и союзники это отвергли. Английский посол Брюс и французский де Бурбулон уговорили Хоупа прорваться в устье реки Бейхэ силой.

— Достаточно будет одного обстрела фортов для открытия входа в реку, как китайцы пойдут на все наши условия! — внушали они.

Для штурма фортов было выделено 11 английских канонерок и французское посыльное судно. Под прикрытием корабельной артиллерии почти полторы тысячи вооруженных матросов на джонках взяли курс к зловеще молчащим фортам.

Поначалу все шло как нельзя лучше. Но затем внезапно стены фортов заволокло дымом — китайцы приняли бой! «Выстрелы китайцев отличались замечательной меткостью, которой вовсе нельзя было ожидать от них», — писал очевидец. Джонки с десантом были расстреляны в упор. Затем началось уничтожение канонерских лодок. В течение часа было потоплено 5 канонерок. Те, кому удалось высадиться на берег, оказались в западне. Расстреливаемые со всех сторон, они ничего не могли сделать. Погибло более половины десанта. Остатки удалось забрать только с наступлением темноты. В довершение всего, в горячке боя Хоуп напрочь забыл про приливы, а потому раненых в ожидании эвакуации укладывали рядами у самой воды. Когда же начался стремительный прилив, то все они утонули.

Почти одновременно французский экспедиционный корпус был разгромлен во Вьетнаме, и французы бежали из Сайгона. Эти два одновременных поражения стали прологом новой большой войны, вошедшей в историю как Третья опиумная.

В Пекине праздновали триумф. Еще вчера робкие, цинские министры настаивали теперь на полном истреблении европейцев.

— Зачем нам помощь русского медведя? — кричали китайские мандарины, и их длинные косы раскачивались за спинами. — Теперь наша мудрая обезьяна и сама порвет жалкую английскую собаку!

Игнатьев еще не добрался до Пекина, когда союз с Россией там уже никого не интересовал.

Но китайская обезьяна радовалась рано. В Лондоне здраво рассудили, что если не взять реванша за поражение при Бейхэ, то авторитет первой державы мира будет подмочен. Лорд Пальмерстон жаждал реванша. Вскоре в Китай прибыл английский экспедиционный корпус генерала Гранта — две пехотные дивизии и бригада кавалерии. Затем высадился и французский корпус генерала Кузена де Монтабана — две пехотные бригады и батальон морской пехоты. Почти все офицеры и солдаты обоих корпусов — участники севастопольских штурмов. Усилились и эскадры союзников. Теперь под флагом вице-адмирала Хоупа имелись два винтовых линейных корабля, 17 фрегатов, 9 корветов и более семи десятков вспомогательных судов. Более шестидесяти вымпелов насчитывала и французская эскадра вице-адмирала Шарнэ. Помимо этого для перевозки солдат, вооружения и припасов было зафрактовано 216 крупных коммерческих судов. Эта была армада, сопоставимая по количеству вымпелов с союзническим флотом под Севастополем.

Фактически союзники готовились повторить Крымскую кампанию в восточном исполнении. Противник, правда, у них был на этот раз не столь упорный, как у стен неприступного Севастополя.

22 апреля 1859 года союзные войска высадились на островах Чжоушань. В июне французы заняли Чифу, а англичане бухту Даляньхуан (будущий порт Дальний), превратив их в свои маневренные базы. Китайские войска почти не оказывали сопротивления. Еще не вступив в бой, они уже потеряли волю к победе. Теперь Грант и де Монтабан готовились к маршу на Пекин.

28 июля объединенный англо-французский флот и транспорты с войсками бросили якорь в бухте Шэлюйтян, в 17 километрах от Бэйцана, а 1 августа началась высадка экспедиционной армии. 12 августа союзники начали генеральное наступление на форты в устье Бейхэ. 16 августа пали укрепления Тангу на левом берегу. 18 августа союзники переправились через реку Бейхэ, а 22 августа после кровопролитного сражения были захвачены форты Таку. При этом союзники потеряли 57 убитых и 243 раненых, китайцы — более двух тысяч убитых.

Именно в это время в Пекин прибыл граф Игнатьев, застав там панику и слезы. Граф пытался выступить посредником между враждующими сторонами, чтобы не допустить вступления союзников в китайскую столицу, но безуспешно.

Тем временем, поднявшись вверх по реке, эскадра Хоупа захватила Тяньцзинь. После чего начались переговоры с китайцами. Последние всячески их затягивали, чтобы дождаться зимы, когда противник сам вынужден будет уйти.

Но англичане с французами были настроены решительно. Прервав переговоры, они возобновили наступление. Китайская армия пыталась его остановить, но в сражениях при Чжанцзявань и Бапицяо была наголову разбита и разбежалась. После чего император Сянь Фэн покинул Пекин в город Жэхэ, оставив за себя принца Гун.

6 октября Пекин пал, а дворец Юань-Мин-Юань полностью разграблен. Сбежавшись в русское православное подворье, цинские министры на коленях умоляли Игнатьева помочь им в переговорах с союзниками. Игнатьев согласился, но, в свою очередь, выдвинул требование немедленно разграничить спорные территории от Уссури до Кореи. Принц Гун был согласен на все.

Свое обещание граф Игнатьев сдержал, и при его посредничестве принц подписал все условия союзников, в том числе и по выплате контрибуции.

25 октября были подписаны англо-китайская и франко-китайская конвенции, после чего союзники покинули Пекин. Теперь наступал черед России пожинать плоды последней опиумной войны.

ЭСКАДРА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Еще в марте 1858 года адъютантом генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича был бывший флаг-офицер вице-адмирала Корнилова капитан 1 ранга Лихачев. Он уже участвовал в плаваниях на Тихом океане в экспедиции Невельского, отважно сражался на севастопольских бастионах, получил сильную контузию при взрыве баркаса с порохом, когда в тот угодила французская бомба, затем служил атташе в Лондоне и Париже, отличался эрудицией и жаждой деятельности. Именно Лихачев и подал генерал-адмиралу «Записку о состоянии русского флота», в которой доказывал необходимость дальних плаваний судов Российского флота и образования в морях Дальнего Востока самостоятельной эскадры. В «Записке…» говорилось: «Только не держите эти суда в наших морях, где они как рыбы, вытащенные на берег… Не ограничивайте их поприще дорогою к Амуру и обратно… держите их в океане, в Китайском и Индийском морях, естественном поприще их военных подвигов в случае войны… У Вас образуются со временем настоящие адмиралы, которые будут бояться одной ответственности перед отечеством… которых не будет вгонять в идиотизм страх начальства». «Записка» пришлась как нельзя кстати. Россия просто обязана была после неудачи в Крымской войне продемонстрировать свой флаг в океане, к тому же англичане уже заинтересовались дальневосточным Приморьем и надо было срочно наращивать там наше военно-морское присутствие.

Разумеется, линейные корабли и фрегаты, которых было по пальцам посчитать, посылать на Тихий океан не стали. Нашли другой выход — корветы и клипера. Как раз к концу Крымской войны на архангельских и охтинских верфях сошли со стапелей первые серии этих кораблей.

Подключив все связи, Бирилев добивается своего перевода на один из готовящихся в дальнее плавание корветов. Вакансия открылась в самый последний момент. Командир корвета «Посадник» всеми силами добивался и добился перевода на Черное море. На его-то место и был назначен старший офицер с линейного корабля «Выборг».

Тем временем на Балтике заканчивал подготовку к походу на Дальний Восток так называемый третий Амурский отряд, который должен был усилить и частично сменить уже ранее ушедшие два корабельных отряда.

Дело в том, что в начале января 1860 года в Особом комитете под председательством императора Александра II решили в помощь русскому посланнику графу Игнатьеву собрать в китайских водах особую эскадру под командованием капитана 1 ранга Лихачева.

Самому Лихачеву было при этом сказано:

— Ты сии вояжи дальневосточные предложил, тебе и флаг в руки!

На что тот лишь обрадовался:

— О назначении таком я и мечтать не мог! Доверие оказанное оправдаю и за честь России постоять сумею!

И Александр Второй, и его младший брат Константин Николаевич понимали, что корветам и клиперам будет трудно противостоять английским эскадрам. Если они и могли нанести удар владычице морей, то только атаковав ее торговые коммуникации.

— Конечно, наши морские силы не идут ни в какое сравнение с английскими! — признался брату генерал-адмирал. — Однако во главе эскадры и командирами кораблей мы поставим самых боевых и храбрых. Думаю, это с лихвой окупит слабость наших пушек!

Из воспоминаний дореволюционного историка А. Беломора: «...Плохенькие тихоходы-корветы со слабосильными механизмами, не дававшими более 5 узлов в штиль, эти морские игрушки — клипера с неудобным рангоутом и шхунским вооружением — не были тогда плавучими гостиницами, или станционными домами, несколько месяцев пребывания в которых составляли бы необходимое условие иерархического передвижения служащих, а были действительными боевыми единицами, материальные недостатки которых пополнялись духовными качествами годами сжившихся на палубах экипажей. В описываемый период в нашей морской среде не было и недостатка — какой, например, сознавал министр иностранных дел князь Горчаков — в людях, умевших храбро и сознательно брать на свои плечи ответственность за быстрое принятие никогда не предвиденных и нигде не предписанных администрациею мероприятий и решений и зачастую вопреки категорически высказанных ею желаний и соображений, нередко трусливых и эгоистичных. Великий князь в возникавших спорах всегда становился на сторону адмиралов плавающих, строго придерживаясь правила, что отдаленное действие центральной власти очень слабо заменяет постоянное действие власти поместной; что самая ис-

кусная администрация не может заменить управления непосредственного; что сила созидающая может заключаться только в военноначальнике».

Особо следует остановиться на командах отправляемых на Тихий океан корветов и клиперов. Дело в том, что комплектовались они из оставшихся в живых защитников Севастополя. Прошедшие Синоп и год севастопольской бойни, матросы-черноморцы имели огромный боевой опыт, но наряду с этим подчиняться не слишком любили. Война научила их смотреть опасности в глаза. Именно поэтому и командирами первых клиперов ставили исключительно офицеров, прошедших севастопольские бастионы. Они пользовались большим и вполне заслуженным авторитетом, а потому легко находили общий язык с матросами-ветеранами. Надо ли говорить, каким авторитетом с самого начала пользовался у матросов «Посадника» всем им хорошо известный храбрец Бирилев!

Что касается корвета «Посадник», то он был построен под руководством корабельных инженеров Иващенко и Шведе на охтинской верфи в 1856 году в числе других шести винтовых корветов. Водоизмещение корвета составляло 855 тонн, мощность паровых машин 200 л. с. На ходовых испытаниях «Посадник» развил под машиной скорость в 13 узлов, что по тем временам считалось весьма неплохо.

В состав третьего Амурского отряда помимо «Посадника» вошли клипера «Наездник» (капитан-лейтенант Ратьков) и «Разбойник» (капитан-лейтенант Селиванов). Отрядным начальником был назначен капитан 1-го ранга Дюгамель.

Дела у Лихачева со словами не расходились. Не став дожидаться отправки отряда, он поспешил на Дальний Восток, чтобы как можно скорей объединить под своей дланью находящиеся там российские суда. Обстановка на Дальнем Востоке была в то время непростая. Не удовлетворившись результатом Тяньцзинских договоров 1858 года, Англия и Франция предприняли попытку силой оружия установить контроль над Китаем. Царствующая там династия находилась под угрозой свержения. Шли бои за Пекин, в котором царила паника. Если бы победили претенденты на престол, то влияние англо-французов стало бы преобладающим. Это грозило нам неприятными последствиями. Русский посланник генерал-майор Игнатьев направил императору Александру Второму донесение о больших трудностях ведения переговоров в Пекине и просил разрешения выехать оттуда.

Требовалось принять незамедлительные меры по укреплению обороны дальневосточных рубежей России. Лихачев не без основания полагал, что союзники первым делом попытаются захватить побережье нынешнего Приморского края с Владивостоком и Посьетом. Многие бухты и заливы уже были нанесены на английские и французские карты как принадлежащие им. В России же по вопросу о землях южнее Амура только велись переговоры между Петербургом и Иркутском — резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири гра-

фа Муравьева-Амурского. Теперь все решали какие-то месяцы, а то и недели. Кто сумеет первым застолбить еще ничейные территории?

Время не ждало, а потому капитан 1-го ранга Лихачев срочно выехал из Петербурга во Францию и на пассажирском пароходе в частном порядке добрался из Марселя в Шанхай. Там он зафрахтовал французский пароход «Реми» и поспешил на нем в Хокадате. По прибытии туда Лихачев узнал, что англичане уже начали подготовку к высадке десанта в заливе Посьет с последующей оккупацией этого района. Писать в Петербург и просить указаний было уже поздно. Храбрый офицер принимает решение опередить англичан и самому занять залив Посьет, формально принадлежавший Китаю. Фактически же это была ничейная территория, и в радиусе сотен верст там не было ни китайских солдат, ни чиновников.

В то время в Хокадате находились клипер «Джигит» и транспорт «Японец». «Джигит» занимался ремонтом котлов и быстро выйти в море не мог.

Командующий эскадрой накоротке встретился с нашим консулом в Японии Гошкевичем.

— Какие последние новости об англичанах?

— Насколько мне известно, сейчас они готовятся к занятию залива Посьет и ведут гидрографическое обследование острова Цусима.

— О Цусиме подумаем после, сейчас важно опередить их в Посьете! — махнул рукой Лихачев.

В тот же день он отправился в залив Посьет на единственном ходовом судне своей будущей эскадры — «Японце».

11 апреля 1860 года «Японец» бросил якорь в Новгородской гавани залива Посьет. Лихачев осмотрел бухту и объявил ее территорией Российской империи. Собственной властью он распорядился основать пост в бухте Новгородской и оставил там команду под командованием лейтенанта Назимова. Лейтенанту он велел:

— В случае появления иностранных судов поднимай русский флаг и объявляй их капитанам, что бухта Новгородская и залив Посьет являются собственностью России. Ежели увидишь противодействие, пали из всех ружей!

Объявив Посьет русской территорией, Лихачев рисковал эполетами. Но что такое собственная судьба, когда на карту поставлена будущность России!

Узнав о дерзком своеволии своего любимца, великий князь Константин Николаевич отписал Лихачеву: «Ты совершенный молодец, и я обнимаю тебя мысленно от всей души!.. Все письма твои я давал читать государю, и он в высшей степени доволен твоей распорядительностью и находчивостью...»

К этому времени на Дальний Восток начали подходить и наши боевые корабли. Одновременно, не теряя времени, экипаж транспорта «Манджур» основал будущий порт Владивосток.

К лету в Печилийском заливе у порта Таку, от которого до Пекина каких-то 150 верст, собралась вся наша эскадра: фрегат «Светлана», корвет «Посад-

ник», клиперы «Джигит», «Разбойник», «Наездник», транспорт «Японец» и несколько мелких судов. «Таким образом, под моим брейд-вымпелом, — писал позднее И.Ф. Лихачев, — формировалась впервые независимая эскадра Тихого океана, через которую прошло впоследствии не одно поколение лучших моряков наших, и я почитал всегда крайне счастливым, что на мою долю выпало отстоять это учреждение в самом его начале — это обошлось в то время не без препятствий».

На клипер «Джигит» немедленно перебрался наш посланник в Китае граф Игнатьев. Теперь, находясь под защитой Андреевского флага, он мог увереней держаться на нелегких переговорах с министрами богдыхана. Китайцы сразу стали сговорчивее, и 2 октября 1860 года был заключен исторический Пекинский договор, по которому не разграниченные ранее территории отошли к России: Уссурийский край, Приамурье и Приморье «на вечные времена» объявлялись нашими владениями.

Заслуги моряков были оценены по достоинству. Лихачеву по заключении Пекинского договора был присвоен чин контр-адмирала и орден Владимира 3-й степени. Высочайший указ Александра Второго гласил: «Во внимание к чрезвычайно полезным трудам эскадры Китайского моря и отличной точности, с которой были выполнены ею предначертания, послужившие к заключению трактата с Китаем, Государь Император изъявил свое монаршее благоволение начальнику эскадры и всем командирам».

Что и говорить, российские дипломаты, прекрасно разыграв партию, а моряки, подкрепив слова политиков демонстрацией реальной силы, оставили недавних противников по Крымской войне в круглых дураках. После непростой войны англичан с Китаем все выгоды мирного договора достались исключительно России.

На кораблях откровенно радовались:

— Энто вам, гады, за Севастополь! За дружков наших, что смертию пали на кургане Малаховском! Чешите теперь свои загривки!

Занятие Посьета и основание Владивостока были первыми щелчками по носу союзникам, но, как оказалось, не последними. Наши останавливаться на достигнутом не собирались.

ОТ КРОНШТАДТА ДО ХАКОДАТЭ

19 июня 1859 года великий князь Константин Николаевич прибыл в Кронштадт проводить уходящие в дальнее плавание корабли. В дневнике он записал: «Утром осматривал Амурский отряд. Корвет «Посадник» (Бирилев)... Разрешил некоторые необходимые работы...»

Герой Севастополя ходил в любимцах у генерал-адмирала, а потому великий князь обращался с ним почти по-дружески:

— Готов ли ты, Николя, к новым подвигам во славу Отечества?

— Готов, ваше высочество! Мы, черноморцы, на все способные!

В конце августа 1859 года отряд вышел в плавание. Чтобы затруднить слежение англичан и быстрее дойти до места, командирам судов было приказано идти раздельно.

Вместе с Николаем Бирилевым уходил на Дальний Восток и младший брат Алексей. Только что произведенный в чин юнкера флота, он, по протекции старшего брата, был определен на клипер «Разбойник» к капитан-лейтенанту Ратькову. От мысли взять брата к себе на «Посадник» он отказался.

— У меня не обойдется без послаблений! — объяснил Бирилев брату-юнкеру. — У Ратькова же ты пройдешь настоящую морскую школу!

Алексей не возражал.

Итак, плавание на Дальний Восток началось. Конечно, Бирилеву не было легко. При всей его опытности, в океан он шел первый раз, да не просто в океан, а вокруг света! Но севастопольцам ли бояться трудностей, а потому только вперед!

Из хроники плавания: «Пройдя Нарген и получив легкий OSO, прекратили пары и вступили под паруса. Ночью свежий SSO достиг крепости шторма и заставил взять все рифы у марселей. Пройдя Дагерорт в полный бейдевинд, с нижними парусами, при большом волнении, корвет шел до 10 узлов. Спокойствие судна было необыкновенным, однако же размахи доходили до 20°, к 29 августа ветер до того окрепчал, что вынуждены были закрепить нижние паруса и спустить брам-стеньги. К вечеру стало стихать».

Вскоре впереди заморгал желтым глазом плавучий маяк Фалстебро. Ветер засвежел. Чтобы не лавировать, Бирилев решил перейти на машину.

— Развести пары! — велел передать он вниз механику Скирмунду.

Бросили якорь на большом Копенгагенском рейде. Перевели дух и начали заливаться водой и грузить уголь. Прогноз на погоду был неутешителен. После некоторых раздумий Бирилев принял единственно правильное решение:

— Рисковать не будем, переждем равноденственные бури, а потом свое нагоним в океане.

Дождавшись маловетрия, «Посадник» покинул Копенгаген, работая машиной. Плавание по узким и изобилующим подводными камнями датским проливам всегда требует особого внимания и осторожности. До Ангольтских маяков шли в тумане, как в молоке, самым малым. Наконец разглядели огни, определились, стало полегче.

На выходе в Немецкое море вступили под паруса, но пары не прекращали. Делали до 10 узлов. Затем остановили машину и шли уже под парусами.

Прошли Английский канал и бросили якорь на спитхедском рейде. Пошли дальше.

Из хроники плавания: «Корвет бежал под марселями и нижними парусами в галфинд по 10 и 10,5 узлов... С рассветом с корвета увидели к югу милях в двух французский купеческий бриг, лежавший в дрейфе и выражавший все знаки бедствия».

Матросы, почти все участники Севастопольской обороны, бедствию своих недавних врагов были даже рады:

— Ну и пусть собака тонет! Это их за Севастополь Господь карает!

Но командир думал иначе.

— Войны промеж нас нет, а потому будем спасать! — объявил он офицерам.

«Посадник» осторожно (чтобы ветром не навалило) спустился к нему. Капитан брига, срывая голос, кричал в мятый жестяной рупор:

— Мы бриг «Понт де Челс». Сели на риф. Разворотило все днище. Затем волной сбросило с камней. Сейчас же просто тонем. Команда не успевает откачивать воду, так как днище — одна дыра. Умоляю, помогите!

— Все будет хорошо! — отозвался командир «Посадника». — Мы вас спасем!

По приказу Бирилева мичман фон Шанц с двенадцатью матросами и помпой Доутона перебрались шлюпкой на борт тонущего брига и, засучив рукава, принялись за дело. Пока одни откачивали воду, другие заделывали пробоины. Вскоре течь была остановлена.

«Понт де Челс» взяли на буксир и притащили в Брест.

На Брестском рейде «Посадник» застал нашу и французскую эскадры. Французы сердечно благодарили Бирилева за спасение брига и людей. Когда же они узнали, что перед ними один из самых знаменитых защитников Севастополя, восторгу их не было предела.

Из-за противных ветров в Бресте пришлось несколько задержаться. Не теряя времени, полностью обновили запасы воды, закупили на пять месяцев провизии, причем по вполне сходной цене.

5 ноября «Посадник» под парами покинул Брест. Волнение было большое, но шли хорошо. Затем и вовсе поймали попутный ветер и вступили под паруса. Через неделю пришлось выдержать приличный шторм, а потом еще и утомительную выматывающую зыбь. Затем была стоянка на Мадере, где запаслись хорошим вином и перевели дух.

После того как «Посадник» пересек тропик, Бирилеву удалось поймать ровный пассат, и дальше уже плыли, что называется, в свое удовольствие, до самого Рио-де-Жанейро. Матросы вечерами пели:

Дуй знай, ветер, поддувай,
Хоть риф марсельный валяй!
Хоть риф марсельный валяй!
Ничего! Свисти, качай!
Рифы, взяв у марселей,
Быстро все закончим.
У закрепленных снастей,
Лежа, лясы точим…

На переходе экватора по старой морской традиции провели ритуал с обряжанием Нептуна. Во время посвящения в океанские мореходы Бирилев и другие офицеры откупались от Нептуна и его свиты вином, остальных бросали в купели. В Рио снова пополнили запасы и перевели дух. Из каждого порта Бирилев, как и положено, писал рапорты о ходе плавания в Морское министерство, а так как командир «Посадника» являлся и флигель-адъютантом императора, то писал прямо и ему, и великому князю Константину Николаевичу.

Из дневника великого князя Константина Николаевича: «Вечером (1 марта 1860 года. — **В. Ш.**) во время собрания читал рапорт Ратькова (командир клипера «Разбойник». — **В. Ш.**), Селиванова (командир клипера «Опричник». — **В. Ш.**), Бирилева, и очень интересно про них толковали и спорили».

А «Посадник» уже разворачивал свой форштевень на мыс Доброй Надежды.

Из хроники плавания: «Выйдя в море, при ветре, идущем от ONO, прекратили пары. Пролежав на SO до параллели 35° южной широты, шли по ней и, придерживаясь по возможности этой широты, прошли 11 февраля 1860 года на вид мыса Доброй Надежды, того же числа стали фертоинг в Саймонс-бее».

Стоя на шканцах, Бирилев с удовольствием подставлял лицо теплому свежему ветру.

— Обратите внимание, господа, — обратился он к стоявшим рядом старшему офицеру лейтенанту Селиванову и штурману Чуркину, — северный ветер здесь не разводит никакого волнения, несмотря на то что мы вынуждены «вогнать все рифы», закрепить фок с гротом и спустить брам-стеньги.

Селиванов с Чуркиным признались, что тоже удивлены столь необычному явлению.

В последующие дни ветер был сильный, но волна опять небольшая, и «Посадник» быстро мчался вперед, наматывая на лаг все новые и новые мили.

Попутный ветер был настолько устойчивым, что 50 дней не вводили в работу машину.

Затем пришлось пережить шторм в Индийском океане. Когда тот достиг максимальной силы, огромная волна вкатилась на палубу и унесла вельбот, переломив железные шлюп-балки. Но, к счастью, обошлось без жертв.

— Никак, местный Нептун взял свою добычу и успокоился! — комментировали происшедшее матросы.

— Никола-угодник сжалился над нами, сердешными! — на свой лад констатировал окончание шторма мичман.

Всему плохому когда-то приходит конец. Стих и шторм. Попали еще в шквал с дождем, но это уже сущие мелочи. Потом опять настало время маловетрия.

— Вот так и живем: то густо, то пусто! — шутили на «Посаднике».

В один из дней штурман подпоручик Чуркин доложился командиру:

— Пересекаем тропик Козерога, долгота 102°.

— Теперь пора ворочать на норд-ост! — выслушав, кивнул Бирилев. — Попытаемся поймать местный пассат.

Расчет оказался верным, вскоре снова поймали хороший ветер и помчались дальше.

Но вот впереди и огни Сингапура. Когда положили якоря на сингапурском рейде, разглядели вдали фрегат «Светлана».

Радости-то было! Как приятно на другом конце земли вдруг увидеть свое судно, где много твоих товарищей и земляков. Бирилев съездил на «Светлану», переговорил с ее командиром капитан-лейтенантом Дрешером, после чего фрегат взял для экономии угля «Посадник» на буксир.

10 июня подошли к острову Гутслаф и увидели на якоре клипер «Наездник».

Спустя неделю «Посадник» прибыл на внутренний рейд Нагасаки. Полукругосветное плавание было завершено блестяще. Теперь корвет вошел в состав эскадры Китайского моря под началом капитана 1-го ранга Лихачева, сослуживца Бирилева по севастопольским бастионам.

Сразу же по прибытии в Нагасаки на Бирилева возложили наблюдение за больными матросами, которых доставляли в Нагасаки со всей эскадры Китайского моря.

— Пехотинцем и пластуном я уже побывал, теперь придется побывать и доктором! — почесал затылок капитан-лейтенант.

Одновременно, не тратя время попусту, на «Посаднике» занялись починкой котлов, но продвигалось это дело медленно, потому что японские заклепщики еще только учились. Пришлось нашим матросам самим брать в руки молотки и показывать, что и как надобно делать. В Нагасаки «Посадник» поступил в распоряжение Лихачева. Начиналась новая глава в жизни Николая Бирилева.

ОСТРОВ ПОСРЕДИ КОРЕЙСКОГО ПРОЛИВА

А взор Лихачева в это время уже был устремлен на маленький, но стратегически важный остров, лежащий посреди Корейского пролива с ничего никому не говорящим названием Цусима. Корейский пролив и остров посреди него имели важное стратегическое значение, сравнимое с Гибралтаром, Мальтой и Аденом. А потому к Цусиме уже примеривались англичане. Они уже произвели гидрографическую съемку острова. Японский историк Синтаро Накамура писал: «Английский консул в Хакодате в «Памятной записке» сообщил: «Для нас срочной необходимостью является захват Цусимы...» А некий капитан Уорд, зайдя в гавань Имосаки, уже напрямую требовал открытия Цусимы для английских судов. Обо всем этом, разумеется, знал Лихачев.

Еще в апреле 1860 года он записал в своем дневнике: «По слухам... англичане имеют виды на этот остров... мы должны там их предупредить». Не откладывая дела в долгий ящик, он тут же отправил докладные записки великому князю Константину Николаевичу и управляющему Морским министерством адмиралу Краббе с предложением опередить англичан и создать на Цусиме

«военно-морскую станцию». В этом случае Россия получила бы незамерзающий порт на Тихом океане, который, «как часовой на страже», стоял бы посредине Корейского пролива.

Занятым китайскими делами англичанам было просто не до острова. К тому же в данный момент они весьма нуждались в посредничестве графа Игнатьева при переговорах с китайцами. Момент для занятия острова был самый подходящий, другого такого могло уже не случиться никогда. Надо было только действовать стремительно и решительно. Но письмо ушло уже несколько месяцев назад, а ответа все не было. Драгоценное время же уходило и уходило.

В мае 1860 года в Печилийском заливе на клипере «Джигит» он посвятил посланника в Китае графа Игнатьева в Цусимский проект.

— Я не исключаю, что именно вам великий князь Константин Николаевич поручит вести дипломатические переговоры в Эдо.

Но посланник на уговоры не поддался. От всех предложений Лихачева он вежливо уклонился, а едва капитан 1-го ранга откланялся, граф тут же отписал Горчакову срочную депешу с предупреждением о возможных осложнениях с японцами из-за ненужной инициативы моряков.

Признаем, что инициатива и предприимчивость Лихачева весьма превышала его официальные полномочия. Но ведь ему было тогда всего 35 лет, а за плечами уже был Севастополь и унижение Парижского мира! Именно так же, как Лихачев, поступал в это же время в далекой Средней Азии его соратник по севастопольским бастионам генерал Черняев. Генерал по своей инициативе взял штурмом непокорный Ташкент, продвинув границы России сразу на тысячу верст на юг, чем вызвал ужас англичан и истерику Горчакова. Это была плеяда людей, не боявшихся взять на себя ответственность государственную, если видели в том пользу для России. Именно они, молодые ветераны Севастополя, как никто другой, горели желанием взять реванш за недавнюю проигранную войну и возвеличить Отечество.

— Битва за Китай близится к концу, англичане ее явно выигрывают, но и мы не проиграли, зато опередили с занятием Приморья. Следующая схватка будет уже за влияние на Японию. И Цусима — козырный туз в предстоящей схватке. Владеющий этим островом сразу становится господином всех морских путей! Это понимаем мы, понимают и англичане. Теперь кто кого опередит! — откровенничал Лихачев, ужиная с командирами кораблей в своем салоне на «Светлане».

— Ну а что насчет этого думают японцы?

— Японцам тоже сейчас не до этой каменной скалы. У них сегун вовсю истребляет старых самураев и наводит новый порядок, а вот когда наведет, тогда к Цусиме без большой войны уже не подступишься! — вздохнул Лихачев.

— А чего тут ждать! Разводим пары и прямо к Цусиме! Поднимаем там флаг Андреевский. Пусть только после этого кто сунется! — вскочил со своего кресла всегда решительный и нетерпеливый Бирилев.

— Все это так, но нам надо хотя бы формальное разрешение из Петербурга, а на это, увы, надо время, которого у нас сейчас очень мало, — покачал головой командующий. — Эх кабы мне прав малость поболе!

Затем перевел взгляд на Бирилева:

— А тебе, Николя, задание особое. Завтра же выбирай якорь и следуй в Нагасаки. Мы в здешних водах надолго, а потому надо устраиваться основательно. Гошкевич договорился о выделении нам землицы в тамошней деревеньке Иноса. Посему начинай там строительство береговой базы.

— С чего начинать стройку-то? — поинтересовался командир «Посадника».

— С бани! — разом ответствовало несколько голосов.

* * *

Как это часто бывает в большой политике, в нее вмешались дела на первый взгляд совсем ничтожные, семейные. Ответ на письмо Лихачева был отправлен с чиновником для особых поручений губернатора Восточной Сибири майором Хитрово. Последний же только что женился в Петербурге и совсем не торопился покинуть молодую супругу. Казалось, можно было бы передать ответ по уже работавшему тогда телеграфу, но то ли по нерадению, то ли по чьему-то злому умыслу и этого сделано не было.

Разумеется, великий князь Константин и адмирал Краббе против приобретения Цусимы не были. Но все уперлось в министерство иностранных дел. Узнав о намерениях Лихачева, канцлер Горчаков пришел в ужас:

— Мы только-только выбрались из крымского дерьма, а моряки снова хотят нас втянуть в драку с Англией! Да из-за чего? Из-за какого-то островка, о котором мы до сего дня и слыхом не слыхивали!

Только 12 декабря 1860 года, прибыв на клипере «Наездник» в Шанхай, начальник эскадры получил депеши из министерства и письмо от генерал-адмирала.

«С этим вместе ты получишь, — писал великий князь Константин, — мое официальное отношение вследствие твоей записки о Тсу-Сима; но чтобы ты его вполне понял, мне надобно написать тебе несколько объяснительных слов. Записку твою я читал Государю в присутствии Горчакова 22 июля. Государь немедленно ее понял и понял всю действительную важность Тсу-Симы. Горчаков тоже не мог не признать этой важности, но по своей обыкновенной привычке побоялся, чтобы из этого не вышло политического вопроса и, главное, чтобы нам из-за этого не перессориться с японцами. Он тотчас вспомнил о разнице положения, в которое себя поставили в Иеддо Путятин и Муравьев: как с японцами мирно жил и ладил первый и как с ними чуть-чуть не поссорился второй, поднявши вопрос об Анове. Потом он говорил, что решительно не знает, кому это дело поручить, а что поручить его Игнатьеву — ему решительно не хочется. Кончил он тем, что просил меня его от этого дела освободить и что нельзя

ли смотреть на него не как на дело дипломатическое, а как на вопрос чисто морской и поэтому поручить его тебе. Я, разумеется, был очень рад этому обороту и тотчас согласился: нам же лучше. Вот почему и написал я тебе, что дело это должно иметь характер морской сделки, а не дипломатического трактата. Дело в том, чтобы мы могли основать на этом острове морскую станцию a la Villafranca. Для этого никакой дипломатии не нужно, и никто этого лучше тебя самого не сделает. Если можешь ты ограничиться местными сношениями с островскими властями или еще лучше безо всяких соглашений... но только так, чтоб от японцев не было официального протеста... На счета твоих будущих действий ты сам лучший судья...»

Итак, проект Лихачева фактически отклонен. Впрочем, генерал-адмирал в письме своему бывшему адъютанту сообщил, предложил «под его личную ответственность» попытаться заключить частную сделку с главой княжества Цусима относительно аренды участка земли для морской станции. При этом отдельно оговорив, чтобы эта сделка не вызвала протеста центрального правительства Японии и вмешательства западных держав. Лихачеву предлагали взять всю ответственность на себя!

Почти одновременно Лихачеву было велено немедленно отправить на Балтику и несколько кораблей своей эскадры. 15 января 1861 года скрепя сердце он составил отряд из корветов «Боярин» и «Воевода» и клипера «Джигит» под общею командой капитан-лейтенанта Майделя и отправил его в Кронштадт. И без того не слишком сильная, в сравнении с английской, наша эскадра совсем ослабла. А ведь как пойдут дела в случае занятия Цусимы, не знал никто. Оставшиеся корабли Лихачев собрал в Нагасаки. Пологие волны качали фрегат «Светлана», клипера «Опричник», «Наездник» и корвет «Посадник».

Не забывал между делами Николай Бирилев и опекать младшего брата, внимательно следя за его службой, помогая где советом, а где и нагоняем. Спустя несколько месяцев с «Разбойника» юнкера Алексея Бирилева перевели на фрегат «Светлана» к опытнейшему Ивану Бутакову. Служба под началом Бутакова — лучшая из школ. Когда же открылась должность вахтенного офицера на клипере «Наездник», Бирилев переговорил с его командиром капитан-лейтенантом Желтовым, чтобы тот взял брата к себе. Желтов согласился. Забегая вперед, скажем, что в тихоокеанских водах Бирилев-второй проплавал почти шесть лет, получив ни с чем не сравнимый опыт. В Кронштадт он вернется только в 1865 году уже мичманом и с орденом Станислава 3-й степени на груди.

В тот раз Алексей приехал погостить к старшему брату с «Наездника». Еще недавний юнец, он теперь чувствовал себя настоящим «зейманом» и со знанием дела старался судить о флоте и о политике. Старший только слушал, как быстро мужают мальчишки на палубах...

Историк флота А. Беломор писал об этих днях: «Однако ж и сильно запоздавшее, вероятно, не без ведома министра иностранных дел согласие генерал-адмирала на занятие острова было получено и равнялось приказанию, которое

ни один морской офицер не мог тогда не попытаться исполнить, приложив все свои способности, старания и энергию к доведению дела до благополучного и желаемого конца. В те достопамятные в русской морской истории годы, когда, к величайшему несчастию, материальная часть за неимением денег была слаба и ничтожна, личный состав, в особенности офицеры от самых младших субалтернов до адмиралов включительно, вследствие неусыпных забот и попечений генерал-адмирала достиг высокого нравственного уровня».

Итак, время почти потеряно, боевых кораблей почти не осталось. Можно, казалось бы, и отказаться от затеянного? Никто бы Лихачева за это не осудил. И все же Лихачев решился действовать, при этом отчаянно рискуя собственной карьерой, так как отныне все последствия он брал на себя. Что и говорить, смелые были эти ребята, прошедшие севастопольские бастионы!

* * *

Едва англичане навели свой порядок в Китае, они тоже вплотную занялись делами японскими. В столице Японии Эдо тем временем, по своему обыкновению, интриговал известный русофоб английский посланник при японском дворе Рутерфорд Алькок. В Японское море вошла эскадра вице-адмирала Хоупа, флаг которого развевался на корвете «Инкаунтер». Теперь Алькоку с Хоупом нужен был только повод продемонстрировать силу. И повод нашелся быстро. Когда в пьяной драке в Эдо был убит английский купец Роберт, японскому правительству был предъявлен счет на 110 тысяч фунтов стерлингов, а столица княжества Кагосима была бомбардирована и сожжена до основания.

Обитавший в Хакодате консул Гошкевич, в свою очередь, исподволь старался пакостить давним недругам, но, как настоящий дипломат, старался и пакостить по-дипломатически. Так, зашедшему в Хакодате командиру «Джигита» он предписал по пути в Бейтан заглянуть на остров Цусима (в ту пору название острова писалось как Тсу-Сима), а затем занять небольшим гарнизоном Новгородскую гавань.

Пытаясь наверстать упущенное, Лихачев начал переговоры с японцами. Начало их он переложил на своего флаг-капитана Мусина-Пушкина. Сам тем временем на клипере «Наездник» отправился на север японского архипелага. Мусин-Пушкин должен провести предварительную работу. Он же подключится позже, когда наметятся хоть какие-то перспективы.

Из воспоминаний участника событий: «...Знакомство русских офицеров с только что приехавшим сюда в Нагасаки губернатором. День был назначен 2 ноября (речь идет о 1860 годе. — **В. Ш.**). 20 человек русских офицеров отправились к губернатору, имея при себе двух переводчиков... Губернатор встретил нас в передней комнате и в сопровождении свиты, несшей его доспехи впереди, повел нас в одну из комнат, нисколько не отличающуюся от первой... В этой комнате стояло 2 ряда столов, один для губернатора и его штаба, а другой — для русских офицеров. Остановясь в середине между столов, он при-

ветствовал всех офицеров, спросил о нашем здоровье и о команде. Потом просил садиться. ...Разговор во время обеда велся очень хорошо. Лейтенант Корнилов, один из командиров судов нашей эскадры, так хорошо его вел, что осторожный японец, заметно было, разошелся и невольно стал задавать вопросы! Все разговоры велись через переводчиков, которые сидели, ноги под себя, с обязательно наклоненными головами, в середине между рядами столов. Я и забыл оказать, что губернатор, его свита и мы помещались в креслах. Во время разговора Корнилов очень ловко высказывал европейцам, деликатно, хвалы; или замечал недостатки японцев... Потом высказал, что русские чрезвычайно рады, что их соседи японцы будут скоро могущественная нация, сильная; что у них теперь есть военный паровой флот... Советовал поскорее завести лучшие пути сообщения между внутренними городами, устроить железные дороги. Японец слушал с большим вниманием и видимым сознанием пользы этого предложения. ...Разговаривая таким образом, мы у губернатора просидели около полутора часов. Пожелали взаимно всяких счастий, обе стороны расстались, довольные друг другом. Он пригласил русских офицеров на праздник, называемый Минури, который назначен через 2 дня, 4 ноября. Он дается ежегодно в память основания Нагасаки». Обе стороны остались друг другом вполне довольны.

Присутствовал на этой встрече и флигель-адъютант Бирилев, корвет которого находился тогда в Нагасаки. Он от рассвета до заката занимался обустройством взятой в аренду земли в деревне Инаса. От фрегата «Аскольд», ремонтировавшегося в Инасе в 1858 году, остались казарма, шлюпочно-такелажный склад и кузница. Так как на нашей эскадре были трудности с сухарями, предприимчивый Бирилев решил построить небольшой сухарный завод, а заодно и дом для офицеров, ну и, конечно же, хорошую баню для всех.

Помимо этого командир «Посадника» исподволь начал заниматься еще одним важным делом. По собственному почину он тоже решил помочь командующему. Заручившись поддержкой губернатора Инасы, Бирилев попросил его составить протекцию цусимскому губернатору Со Цусимано-ками, разрешить его корвету «Посадник» временно обосноваться в бухте Татамура, на полуострове Иммосаки. Окаба Суруга-но-ками письмо написал и Цусима-но-ками воспринял эту новость с должной учтивостью. Так было положено начало истории, ставшей впоследствии известной как «Цусимский инцидент».

Спустя месяц капитан 1-го ранга Лихачев снова появился в Нагасаки. Мусин-Пушкин доложил о визите к губернатору Окаба Суруга-но-ками, Бирилев о своих начинаниях. Начальник эскадры одобрил действия подчиненных.

— Пока посвящать в наш план никого не будем, и держи свой визит на Цусиму в тайне! Далеко не всем наша затея по душе! — сказал он Бирилеву.

Из дневниковых записей Лихачева: «6 апреля. Гошкевич не разделяет моих видов на острове Цусима»;

«29 января. (1861 год. — **В. Ш.**) В первом часу приехал Гошкевич, которому объяснил, зачем ему надо быть в Еддо»;

«31 января. Утром был Гошкевич и решил, что он шел на «Посаднике» в Хакодатэ, куда к нему вслед за ним приехал один из клиперов, на котором он пойдет в Эдо»;

«1 февраля. Был опять Гошкевич. Переговорили о подробностях. Призвал Бирилева и объявил ему о назначении, приказав содержать в тайне. Гошкевич перебрался на корвет, где был обед...»

Что и говорить, советнику Гошкевичу затея моряков по душе не пришлась. Если бы затеваемое было одобрено Горчаковым, тогда бы и он расстарался, но идти на поводу авантюристов моряков — это не для него!

— Во-первых, я не намерен отступать от данных мне инструкций! А во-вторых, устройство новой морской станции на Цусиме идет вразрез со статьями нашего договора с Японией, подписанного графом Путятиным в 1858 году в Эдо, — выговаривал Гошкевич в сердцах Лихачеву.

— Договоры не вечны, но вечны наши интересы в здешних водах! В договор всегда можно внести поправку, а стратегически важную станцию провороним!

Но ко всем уговорам Лихачева старый дипломат остался глух. Между начальником эскадры и консулом пробежала черная кошка.

— Ладно! — плюнул в сердцах Лихачев. — Попробуем зайти с другой стороны! Передайте командиру «Джигита», что завтра мы выходим в Печилийский залив!

Из дневника Лихачева: «13/25 марта. Написал длинное письмо Гошкевичу, в коем старался его вразумить относительно того, что нам делать. Чрезвычайно боюсь его неосторожности и болтливости. Кроме того, он явился сюда один с пьяным лакеем, держит себя сам так грязно, так лишен всякого наружного достоинства и приличия, что он меня крайне беспокоит, как относительно японцев, так и Гарриса (английский консул в Нагасаки. — **В. Ш.**), который навязывается ему в дружбу. Просил Селиванова (командира клипера «Опричник». — **В. Ш.**) наблюдать за второй частию и приказал назначить караул с офицером, которому вменить в обязанность вымыть и вычистить дом и содержать там порядок...»

Лихачев в Нагасаки нанес визит губернатору Окаба Суруга-но-ками, во время которого сумел его убедить в том, что занятие Цусимы русскими — несомненное благо для Японии.

— Вы получаете противовес против Англии! — убеждал Лихачев. — В этом случае любая из европейских держав, реши она усилить свое влияние в здешних водах, неминуемо войдет в конфликт с другими, а это европейская война! Японии при этом останется лишь пожинать плоды!

Окаба Суруга-но-ками в этом был с Лихачевым согласен.

— Вы мудрый человек, Федор-сан, и мне ваш план нравится! Но вам следует торопиться. У ваших соперников уже давно посольства в Еддо, а у вас только консульство в Хакодатэ!

— Совершенно с вами согласен, многоуважаемый Окаба Суруга-но-ками!

Лихачев торопится. После встречи он отправляет письмо великому князю Константину Николаевичу о том, что уже получил словесное согласие «...посредством частной сделки с местными властями выговорить себе право устроить некоторые склады для наших судов на острове Тсу-Сима; вместе с тем правительство желало вести дело так, чтобы отнюдь не делать из этого дипломатического вопроса и не входить ни в какие переговоры с правительством Тайкуна».

Что ж, теперь все мосты были уже сожжены...

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ НАД ЦУСИМОЙ

Теперь Лихачев думал, кому поручить столь ответственную и деликатную миссию. Раздумывал он недолго. Лучшей кандидатуры, чем Бирилев, не было. Между Лихачевым и Бирилевым отношения самые дружественные. За плечами обоих севастопольские бастионы. Когда Бирилев исполнял должность флаг-офицера у контр-адмирала Панфилова, Лихачев занимал аналогичную должность при вице-адмирале Корнилове. Да и по возрасту Лихачев был всего на два года старше своего боевого товарища. Служба службой, но наедине отношения были самые доверительные. А потому кому как не Бирилеву мог поручить столь деликатную миссию начальник Тихоокеанской эскадры!

Вызвал к себе командира «Посадника», объяснил ситуацию. Спросил напрямую:

— Я уже свою голову в петлю засунул! Теперь предлагаю и тебе взобраться на эшафот со мной. Рискнешь?

— Ваня! — усмехнулся Бирилев старому боевому товарищу. — Если помнишь, я от опасностей никогда не бегал. А потому полезем в петлю вместе!

20 февраля 1861 года «Посадник» из Хакодате вышел курсом на Цусиму и уже 1 марта бросил якорь вблизи деревни Осаки в западной части бухты Татамура (ныне залив Асо). Главой княжества Цусима в ту пору был Мунэ Ёсиёри. По прибытии в Цусиму Бирилев заявил:

— Я хочу вручить главе княжества послание русского императора о готовящемся нападении англичан и обязательно встретиться с ним!

Мунэ Ёсиёри с русским офицером встретился, но все ограничилось чайной церемонией. Помимо этого князь отправил Бирилеву 20 литров сакэ и двадцать куриц. Бирилев в качестве ответного дара передал ружье, бинокль и несколько бутылок вина. Князю подарки понравились, и отношения наладились.

О приходе русских Мунэ Ёсиёри сообщил правительству бакуфу, но никакого ответа не получил. Престарелый Андо Нобумаса (глава тогдашнего японского правительства) был застигнут сообщением врасплох и откровенно не знал, что делать дальше.

Затем Бирилев добился разрешения Мунэ Ёсиёри на обследование бухты Имоскака, куда корвет перешел 2 апреля. На следующий день команда сошла на берег, где была поставлена палатка и на флагштоке поднят русский флаг. Русские офицеры во главе с Бирилевым осмотрели берег и выбрали место, удобное для постройки склада и лазарета, а также ремонта корвета, поскольку необходимо было заменить фок-мачту и сделать понтоны для осмотра кормовой части корабля и дейдвудной трубы. Японские чиновники выделили в помощь русским матросам пятнадцать плотников и снабдили команду продовольствием. При входе с запада в бухту Татамура на скалистом островке Уси русские моряки установили сигнальный пост.

Лихачев дважды — в марте на клипере «Опричник» и в апреле на фрегате «Светлана» — посетил Цусиму и остался доволен действиями командира «Посадника». Бирилев в рапорте Лихачеву отметил дружелюбное отношение местного населения к русским. При рубке леса японцы указывали на лучшие деревья и помогали доставлять бревна. Очень им понравилась русская песня «Дубинушка». В начале апреля русские моряки и японские плотники приступили к строительству зданий морской станции. Предстояло построить коттедж для командира, больницы, бани, шлюпочные и угольные сараи и другие постройки. Во время отлива «заложили пристань и 20 футов ширины».

Главой княжества Цусима был Мунэ Ёсиёри, который о приходе русских сообщил центральному правительству, но указаний «из центра» долго не было. Дело в том, что главой совета старейшин бакуфу был в то время Андо Нобумаса. При нем главный принцип внешней политики выражался словами «как бы чего ни вышло». Бирилев для начала подарил Мунэ Ёсиёри пару малокалиберных пушек из вооружения гребных судов. Для обучения японских мальчиков русскому языку на Цусиме была организована небольшая школа. Бирилев рапортовал, что «дружба царствовала во всей силе».

Однако, как явствует из японских источников, все наладилось не сразу. 12 апреля, когда русские матросы начали высадку на берег, жители деревни по инициативе крестьянина Ясугоро попытались воспрепятствовать этому. Ясугоро был убит, двоих японцев русские взяли в плен, а остальные жители деревни разбежались. Волнение охватило весь остров, сложилась напряженная ситуация. Это событие встревожило Мунэ Ёсиёри, но он успокаивал жителей, говоря, что «это дело государственное, и следует обратиться по этому поводу к правительству бакуфу, мы направим туда гонца. Поскольку решается судьба дома Мунэ, прошу проявить преданность, чтобы не запятнать имени дома».

Затем все само собой успокоилось, и отношения стали на самом деле вполне дружескими. Тем временем «Посадник» разоружился, сняли часть рангоута и приступили к ремонту корабля. Часть команды занялась подсобным хозяйством и развела огород. Описная партия под руководством старшего

штурмана корвета подпоручика Чуркина занялась промером глубин. Карты островов Цусима, составленные офицерами «Посадника», впоследствии были изданы Гидрографическим департаментом Морского министерства.

В мае в Цусиму приехал наконец уполномоченный правительства бакуфу Огури Тадамаса. Между ним и Бирилевым состоялась встреча. Огури вежливо потребовал ухода русских, но Бирилев отклонил требование и заявил, что «без приказа начальства из Цусимы ни за что не уйдет». Огури, напрасно прождав 13 дней, покинул Цусиму. Во время беседы Огури вручил Бирилеву документ, разрешающий встречу с главой княжества.

В конце концов Бирилев сумел договориться с главным советником князя Мураока Ооми и губернатором острова Нии Моготииро. Участники совещания подготовили проект, где, между прочим, говорилось: «Князь Тсусимский вполне желает принять покровительство России во всех отношениях, во исполнение чего если Русское Правительство признает нужным держать здесь суда, то мы согласны охотно на это, и место от Хироуры до Имосаки включительно и по указанную черту отдать в распоряжение русских судов и под защиту их всю бухту Тата-мура, то есть от Усисима до Обунокоси. С другими нациями никакого дела иметь не будем. Мы просим Русское Правительство снабдить нас сколько будет можно новейшими огнестрельными оружиями, а также и просим русских обучать наших молодых офицеров новейшему военному делу… просим русских не нарушать наших древних обычаев и не стараться вскоренять их веру… Но все это мы можем выполнить только тогда, если не будет к тому препятствий со стороны нашего Правительства в Эдо».

Чтобы окончательно задобрить местную власть, Бирилев решил сделать ей поистине царский подарок. Из одиннадцати пушек, что были на корвете «Посадник», он передал в дар князю Со Цусима-но-ками — пять, к которым прибавил и комплект боеприпасов. Для обучения канониров были выделены опытные унтер-офицеры, понюхавшие пороха на бастионах Севастополя. Они передавали свои знания японцам. Цусимцы откровенно радовались, что с помощью великодушных русских они усилятся и правительство Тайкуна будет относиться к ним более уважительно.

2 июня 1861 года на Цусиму прибыли уполномоченные из Эдо — Огура Бунго-но-ками и Мидзогути Ясагуров, которым не было смысла ставить под удар свою репутацию и, может, карьеру. Бирилев показал им постройки морской станции, постарался объяснить выгоду от контактов с русскими. Уполномоченные не высказали никаких соображений, однако покинули остров довольными.

Что касается Лихачева, то он дважды — 27 марта на клипере «Опричник» и 16 апреля на фрегате «Светлана» — посетил Цусиму и остался доволен действиями командира «Посадника». Проверив, как идут дела у Бирилева, он направился в бухту Новгородскую. Затем командующий эскадрой посетил

посты Ольга, Владивосток, осмотрел бухты Врангеля и Находку. В его дневнике появилась запись: «Находка — прекрасное якорное место». И все же преимущества Цусимы как не замерзающего круглый год порта в Японском море были очевидны.

КРУГИ НА ВОДЕ

Некоторое время пребывание «Посадника» на Цусиме удавалось сохранить в тайне. Сами японцы тщательно скрывали от британцев факт затянувшегося пребывания русских, чтобы он не стал прецедентом для аналогичных действий других держав. Официально считалось, что «Посадник» лишь периодически заходит на Цусиму, где занимается описанием ее берегов и промеркой глубин в прилежащих к острову бухтах. Но все тайное когда-то становится явным.

20 мая в бухту Имосаки зашел английский фрегат «Актеон», которым командовал капитан Уорд, и две канонерские лодки. Бирилев был чрезвычайно удивлен их появлением, но сумел сохранить хладнокровие. Он попытался наладить дружественные отношения с англичанами и с чисто русским радушием принял их, щедро поделившись с ними своими припасами, а также познакомил Уорда с хозяйством станции. В донесении Лихачеву Николай Алексеевич писал: «Отношения наши с японцами по-прежнему самые дружеские, во всех концах острова принимают наши шлюпки приветливо и гостеприимно...» В то же время цусимцы отказались дать какую-либо провизию и даже дрова англичанам. К сожалению, посещение английского корабля не прошло бесследно.

Английский посол Алькок немедленно прибыл к Гошкевичу.

— Вы обязаны отозвать свой корвет с островов Цусима! Иначе будет не только международный скандал, но возможна и война!

— Увы, но командующий эскадрой мне не подчинен, — грустно качал головой наш консул.

— Самовольство ваших моряков возбуждает неудовольствие других держав, вследствие чего японское правительство боится сделать и для них какие-либо соответствующие уступки! — продолжал Алькок. — Я жду вашего решения!

Под давлением Алькока изменило свое отношение к цусимскому делу японское правительство, явно не желая никаких обострений с англичанами. Пример строптивого Китая был еще очень свеж, а потому нагляден.

«В Эдо случилось новое происшествие, — информировал великого князя Константина Николаевича Лихачев, — опять заставившее правительство трепетать от гнева европейских держав, и в особенности Англии. Толпа японцев, принадлежавших к числу неблагонамеренных приверженцев партии Мито, или просто преступников (роонин), напала ночью на дом английского посланника и ранила двух чиновников посольства. Дальнейших последствий дело не имело, но заставило слабое правительство сделаться более чем когда-либо уступчивым и подобострастным к требованиям англичан, а этим последним, которых

в то же самое время поразило известие, что они были предупреждены на о. Тсу-сима корветом «Посадник», дало повод отыскать какую-то таинственную связь между этими двумя различными фактами. Не останавливаясь на опровержении такого толкования, можно заметить только, что на месте в Японии никто этому толкованию верить не мог, ибо настоящие или более близкие причины нападения на г. Алькока всем хорошо известны. Японское правительство, готовое на всякие уступки, чтобы успокоить г. Алькока, и подчиняясь более и более английскому влиянию, которое не встречает в Эдо решительно никакого противодействия, согласилось на разные требования, из коих нам известны пока: отправление посольства в Англию на английском казенном пароходе и представление англичанам исключительного права делать опись всех берегов Японской империи...»

В возмещение морального урона англо-японским отношениям Алькок потребовал немедленно выдворения русских с Цусимы, грозя карательными мерами адмирала... И японцы согласились уладить конфликт так, как пожелали англичане. Ситуация сразу же зеркально поменялась. Теперь уже Гошкевича взяли в оборот и японские чиновники, грозя выдворением нашего флота из Хокадате. Делать нечего, Гошкевич уступил требованиям и направил письмо Лихачеву с предписанием отозвать корабль, грозя международными санкциями.

Теперь уже центральное правительство Японии решительно выступило против присутствия наших на Цусиме. Оно дало указание губернатору Хакодатэ Мурагаки Авадзи вступить в переговоры с русским консулом И.А. Гошкевичем о «принятии надлежащих мер с тем, чтобы немедленно удалить русский военный корабль из Цусимы». Параллельно правительство обратилось за посредничеством к английскому посланнику Олкоку, который в середине августа 1861 года отправил на Цусиму своего секретаря Олифанта с отрядом из двух кораблей под командованием вице-адмирала Хоупа. Последний незамедлительно послал письма на имя Лихачева, где требовал удаления русского корабля. Лихачев, находившийся во Владивостоке, получил письма от Гошкевича, и он решил отозвать Бирилева и с этим приказом отправил на Цусиму «Опричник», о чем и сообщил в письме Гошкевичу в Хакодатэ.

Из письма графа Игнатьева: «Японцы согласились на все требования флигель-адъютанта Бирилева. Строения были возведены в бухте Имносаки (Имосаки. — **В. Ш.**), материалы и рабочие из туземцев (т. е. японцев. — **В. Ш.**) доставлялись по распоряжению чиновников. Между тем внимание англичан возбуждено было продолжительным пребыванием нашего корвета в порту, который они осматривали еще за год перед тем; два раза английские суда приходили на цусимский рейд, а в августе прибыл начальник английской эскадры. Адмирал Поп (адмирал Хоуп. — **В. Ш.**) вступил в переписку с флигель-адъютантом Бирилевым и затем отправился в наши гавани Приамурской области для свидания с контр-адмиралом Лихачевым (он тогда еще был капитаном 1-го ранга. — **В. Ш.**). Не встретившись с ним, адмирал Поп обменялся

письмами с начальником эскадры нашей по поводу стоянки корвета «Посадник» на острове Цусима. В это время суда наши (корвет и клипер) были отозваны контр-адмиралом Лихачевым для отстранения дипломатического вопроса. Перед уходом последнего нашего судна, клипера «Опричник», строения, возведенные нами на берегу, были сданы японцам, и княжеский губернатор острова прислал письменное удостоверение, что все постройки и запасы, оставляемые нами в Имосаки, будут сохраняться в целости. Между тем англичане старались всячески возбудить опасение центрального японского правительства в Эдо. Во время стоянки корвета «Посадник» в Цусиме приходили несколько раз военные суда японские и был прислан военный губернатор нагасакский для переговоров с командиром корвета. Дружественные отношения между нашими и японцами не были прерваны, хотя хакодатский губернатор выставлял неоднократно консулу нашему Гошкевичу незаконность пребывания судна нашего в Цусиме. Наконец губернатор объявил Гошкевичу, что прислан из Эдо формальный протест по поводу сего обстоятельства, то он не передает этот несвоевременный протест нашему консулу и возвращает его назад в Эдо. Так, не меняясь, дубликат протеста дошел ныне до Петербурга, вероятно через посредство англичан».

7 сентября после теплого прощания с жителями острова Бирилев покинул Цусиму. Вспоминая об этом, он впоследствии писал: «Множество шлюпок с чиновниками выехало на середину залива ожидать прохода корвета, и когда корабль поравнялся с ними, они махали и кричали русское «ура». На острове остались различные постройки, склады, леса и пр. Князь Цусимы через своих поверенных и позднее губернатор Хакодате от лица японского правительства обязались сохранить все в целости впредь до востребования русскими.

«Посадник» покинул Цусиму, однако там остался «Опричник», а через некоторое время пришел клипер «Абрек», но в конце сентября оба клипера были вынуждены окончательно покинуть Цусимские острова.

Всегда боявшийся обострений с Англией, Горчаков предписал консулу Гошкевичу разъяснить правительству бакуфу, что военно-морская станция на Цусиме была основана Лихачевым и Бирилевым без санкции русского правительства. Японское правительство выразило удовлетворение этим объяснением, и на этом инцидент был исчерпан. Впоследствии адмирал Лихачев писал: «Одного только мы, может быть, достигли: не дали Англии захватить этот остров». Однако теперь, когда министр иностранных дел официально отказался от российских офицеров, их действия можно было считать пиратскими! Ни Лихачев, ни Бирилев не знали, как поступит теперь с ними Петербург. Заступится ли за них великий князь Константин? Как отнесется к происшедшему император?

Наши уже покинули Цусиму, а англичане все никак не могли успокоиться. Из Лондона переслали весьма резкую ноту в Петербург. Дело принимало скан-

дал мирового уровня. Отношения с Англией обострились до предела. Под нажимом англичан с протестом выступило и правительство Японии.

— Как можно снова провоцировать войну с Англией, когда мы еще не очухались от предыдущей! — топал ногами министр иностранных дел Горчаков. — Я не успеваю тушить пожары, то Черняев со штурмом Ташкента, то Лихачев с его Цусимой. Когда же угомонятся наши генералы и адмиралы! Надо срочно что-то предпринимать.

23 декабря 1861 года в Зимнем дворце собрались члены Особого комитета, который созывался только по самым важным делам. Сейчас был именно такой случай.

Один за другим рассаживались в креслах министр иностранных дел князь Горчаков, военный министр генерал от инфантерии Милютин, министр финансов и сенатор Княжевич, генерал-адъютант адмирал Путятин, бывший директор азиатского департамента МИДа, а ныне сенатор генерал-лейтенант Ковалевский. При Горчакове два важных чиновника: директор азиатского департамента генерал-адъютант граф Игнатьев; начальник отделения, отвечающий за протокольную часть азиатского департамента МИДа, барон Остен-Сакен. Председательствовал на заседании генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич. Рассматривался же вопрос о так называемом Цусимском деле.

Вначале граф Игнатьев коротко изложил историю вопроса и ход исследований, проведенных азиатским департаментом. Члены комитета ознакомились с донесениями российского консула в Хакодатэ Гошкевича, письмами Тайкуна к императору Александру II, двумя посланиями Горчакову от японского правительства, перепиской командиров наших судов в Тихом океане.

Затем граф Игнатьев зачитал справку «По делу об острове Цусима»: «Положение острова Цусима в Корейском проливе побудило начальника эскадры нашей (контр-адмирала Лихачева. — **В. Ш.**) желать ознакомиться с этим островом вполне и предупредить другие нации. С этой целью, одобренною правительством, отделен был на остров Цусима, в феврале сего года, от эскадры нашей в Китайских водах, для исправления на кораблях повреждений, командир судна флигель-адъютант Бирилев, приступил к составлению описи острова при содействии местных властей и вошел в сношение с высшими чиновниками князя, владеющего островом Цусима, о снабжении корвета всем нужным, о беспрепятственном производстве описей и снятии карт и об отведении для русских избранного нашими моряками места для постройки рабочего сарая, казармы, госпиталя, бани и проч...»

К чести великого князя, он не стал увиливать и полностью признал свою вину в разразившемся скандале.

— Господа, это я разрешил начальнику эскадры, под его личную ответственность, заключить частную сделку с князем Цусимы относительно аренды берегового участка для стационара, — заявил он. — Правда, как генерал-ад-

мирал, я предупредил Лихачева, чтобы пребывание «Посадника» на Цусиме не переросло в дипломатическую плоскость и не вызвало неудовольствие со стороны иностранных держав. Поэтому я, как председатель Особого комитета, хотел бы знать точку зрения членов комитета, затем выработать единый взгляд на этот инцидент и предоставить документ на усмотрение Государя Императора.

После недолгих обсуждений членами комитета было решено следующее: Бирилеву немедленно покинуть Цусиму. В столице еще не знали, что он уже три месяца назад как ее покинул. В остальном решено было оставить дело в том положении, в котором оно теперь находится, т. е. довольствоваться строениями в консульстве нашем в Хакодатэ, а японцев обязать принять на хранение наши постройки на острове Цусима. Гошкевичу было велено объяснить происшедшее досадным недоразумением, не имеющим никакого отношения к дружбе двух государств. Контр-адмиралу Попову на будущее было приказано судам нашей эскадры в Тихом океане разрешить заходить в цусимский рейд лишь кратковременно, поддерживая дружественные отношения с жителями и отвечая, в случае запроса иностранных судов, что заходили только чиниться, на том же основании как и во всякий другой порт на японских берегах. При этом контр-адмирал Попов должен был внимательно следить, чтобы англичане не учредили своей станции на острове. Но японцы были уже настороже, и ни о какой иностранной базе на острове уже не могло быть и речи.

— Что ж, может, мы в чем-то и перегнули палку, но теперь уж англичанам Цусима тоже не светит. К тому же, пока мы морочили им голову с этим островом, они не мешали нам столбить Приморье, а это дорогого стоит! А потому, что бы дальше с нами ни было, свой долг перед Отечеством мы исполнили! — доверительно говорил Лихачев Бирилеву.

Тот лишь усмехнулся:

— Ну, нам, Ваня, не привыкать. Мы же севастопольцы, прорвемся!

Обиженный недоверием в цусимском вопросе, Лихачев потребовал для себя отставки. Управляющий Морским министерством адмирал Краббе воспротивился. В конце концов Иван Федорович согласился числиться в резерве. Лихачев взял отпуск «для излечения болезни» и уехал за границу. Больше в боевой строй он уже не вернется. А Россия потеряла прекрасного боевого адмирала. Тихоокеанскую эскадру принял контр-адмирал Попов, тоже из нахимовских воспитанников.

Намерения англичан подтвердили результаты беседы Горчакова с британским послом лордом Нэпиром, который в ответ на просьбу русского министра иностранных дел дать обещание, что Англия «никогда не завладеет Цусимою», уклонился от ответа. Историк В. Гузанов пишет: «Цусимский инцидент, в котором отразилось столкновение английских и русских интересов, еще раз подтвердил стремление России осуществить свои цели дипломатическим путем,

сохраняя мирные отношения с Японией, в отличие от военного нажима и агрессивных действий западных держав».

* * *

После демонстративного отъезда за границу Лихачева во всех грехах был обвинен Бирилев. Читая письма друзей, Бирилев недоумевал:

— С чего мне завидовать! Что флигель-адъютантское звание да Георгия получил, так ведь нет ничего проще — иди в бой первым, а уходи последним! Что остров японский занял, так не о себе же пекся.

Историк российского флота А. Беломор впоследствии писал: «Имя покойного Н.А. Бирилева, одного из главных действовавших в этом (Цусимском. — **В. Ш.**) эпизоде лиц, нередко подвергалось легкомысленным и ни на чем не основанным порицаниям. Ему приписывали неудачу, его винили в ней. Даже в среде моряков наших эпизод этот или малоизвестен, или передается и толкуется неверно, со слов посторонних людей, не имеющих привычки церемониться с истиной».

Английские газеты требовали отдать командира «Посадника» под суд за самоуправство. Неожиданно англичан поддержал и Гошкевич. Он собирал слухи и отправлял их в Петербург: «Имею честь донести следующее: Цусимское дело, как уже известно департаменту, решено, и решено почти тем способом, какой указан настоящим предписанием. Японцы остались не совсем уверены в том, что командир корвета «Посадник» зашел на остров Цусиму по необходимости, для исправления повреждений, хотя и выражают это сомнение одними намеками. Вообще же, этот поступок не относят нисколько к распоряжениям нашего Правительства, но главную идею приписывают начальнику эскадры, а подробности, особенно насильственные меры, падают на командира корвета, который поэтому прозван «цусимским героем» и сравнивается с Хвостовым и Давыдовым. Я говорю не только о мнении правительства, но и о толках в народе...»

Причиной столь недостойного поведения Гошкевича была его личная неприязнь к севастопольскому герою. Горчаков с удовольствием передавал все слухи Константину Николаевичу. Тот, однако, показал себя в данном случае весьма порядочно.

— Я не намерен верить слухам! — заявил он. — Пока якобы недостойному поведению Бирилева нет никаких подтверждений, я по-прежнему остаюсь к нему доброжелательным!

Одновременно он велел управляющему министерством Краббе сделать запрос командующему эскадрой Попову, чтобы он доложил по существу вопроса.

Вице-адмирал Краббе запросил Попова о «неблагоприятных слухах» и вместе с тем потребовал: «Объявить командирам наших судов высочайшую Государя Императора волю, чтобы как сами они, так и их подчиненные, стара-

лись в сношениях своих с японцами упрочить за нами то хорошее мнение, которым русские по справедливости пользовались там преимущественно перед другими народами».

Спустя восемь месяцев, получив от Попова ответ, Краббе решил раз и навсегда положить конец кляузам дипломатов. Он переслал министру Горчакову письмо командующего эскадрой Тихого океана со своей припиской: «Его сиятельству князю А.М. Горчакову. 18 августа 1863 г. № 1661. В январе сего года ваше сиятельство препровождали ко мне для прочтения донесение нашего консула в Хакодатэ о неблагоприятных слухах, которые ходили в Иокогаме о командире корвета «Посадник» флигель-адъютанте Бирилеве. Доставленные ныне вследствие предписания моего начальнику эскадры Тихого океана объяснения по сему предмету я повергал на высочайшее воззрение, и Государю Императору благоугодно было повелеть сообщить оные вашему сиятельству. Во исполнение этой высочайшей воли, имею честь препроводить к вам копию донесения контр-адмирала Попова от 28 мая сего года № 44». Начальник эскадры Тихого океана контр-адмирал А.А. Попов: «Управляющему Морским министерством Краббе... Я имею честь донести, что до меня не доходили никакие неблагоприятные слухи относительно поведения флигель-адъютанта Бирилева в Японии; напротив, как в Хакодатэ, так и в Нагасаки, при свидании с местными губернаторами я не мог не заметить их особенного расположения лично к нему, расспросы о его здоровье, о том, скоро ли он возвратится в их порт, просьбы о передаче ему поклонов и проч. я слышал от них. Только в отношении к г. Бирилеву чего, конечно, не могло бы быть, если бы слухи, изложенные в вышесказанном предписании, имели какое-либо правдоподобие. По прибытии в Хакодатэ, а впоследствии и в Нагасаки, я соберу самые подробные сведения о причинах, послуживших основанием к этим неблагоприятным слухам, а теперь спешу доложить вашему превосходительству, что, сколько мне известно, то г. Бирилев во время пребывания в Японии при сношениях с местными властями обнаружил особенные, даже позволю себе сказать, замечательные способности к искусству приобрести всеобщее расположение, соединяя вместе с тем твердость в преследовании интересов службы его величества, что и было в числе главных причин, по которым я представлял о подчинении ему клиперов «Разбойник» и «Наездник», которых после катастрофы с «Опричником» я считал своим долгом отправить не иначе как под конвоем судна большего, чем они, ранга».

На этом Цусимское дело было предано забвению.

ДОРОГА ДОМОЙ

С 29 июня по 3 ноября «Посадник» чинил котлы в Нагасаки, а потом был отправлен за почтой в Шанхай.

— Господи подай, уплываем в Шанхай! — шутили тогда на корвете.

В Шанхае «Посадник» загрузился на четыре месяца провизией и шкиперскими материалами, после чего взял курс к устью китайской реки Пейхо, что

в провинции Хэбэй. Там деньги и строительные материалы передали на стоящий в починке клипер «Разбойник» и снова повернули в Шанхай, а оттуда уже вернулись в Нагасаки. Вернувшись, вытянули стоячий такелаж, починили паруса и загрузились углем. Покинув Нагасаки, взяли курс на Хакодатэ. Был уже февраль, и мороз изрядно донимал верхнюю вахту, а тут еще и сильный ветер. В Хакодатэ пополнили запасы. Не удержавшись, Бирилев, проходя мимо, еще раз мимолетом завернул на Цусиму. Увы, кроме разочарования его там уже ничего не ждало.

10 октября 1862 года «Посадник» отправился в неблизкий обратный путь. Вначале зашли в Гонконг, где простояли почти месяц, а затем взяли курс на Манилу и Сингапур.

10 января Бирилев получил окончательный приказ идти в Кронштадт. Обратный путь прошел без сколько-нибудь заметных происшествий.

Из хроники плавания корвета «Посадник»: «Перезимовав в Гревзенде, клипер в марте месяце 1863 года получил предписание идти в крейсерство у Курляндских берегов. 7 апреля вышел из Гревзенда. 8-го продолжил плавание в Немецком море под парами по причине маловетрия, а 10 апреля бросил якорь на копенгагенском рейде, все время не прекращая паров. 14 апреля вышел из Копенгагена, а 16 апреля прибыл на либавский рейд, где и стал на якорь». То, что корвету не разрешили сразу возвращаться в Кронштадт, а оставили крейсировать у курляндских берегов, было связано с очередным мятежом в Польше. Через море в Курляндию мятежники получали контрабандное оружие и другие припасы. Поэтому оставшиеся в это время на Балтике наши корабли были переведены в Либаву.

* * *

Пока Бирилев штормовал в океанах, его терпеливо ждала влюбленная Маша Тютчева. При этом все семейство Тютчевых и их друзья знали, что к юной Марии неравнодушен известный поэт Яков Полонский, давний друг Федора Тютчева.

Полонский был личностью в российских поэтических кругах известной. Вся его поэзия — сплошное признание в любви окружающей природе. В знакомцах и друзьях у поэта состояли Гоголь и Шевченко, Чехов и Аксаков, Достоевский и Некрасов, Тургенев и Фет. Особую дружбу Полонский водил с Тютчевым и был частым гостем в их доме. Ни для кого не было секретом, что он питает самые нежные чувства к Мари и мечтает видеть ее своей спутницей жизни. Ей он посвятил свое известное стихотворение «И рассудок, и сердце, и память губя…».

Полонскому все сочувствовали. Да и к чему Мари какой-то шальной моряк, когда есть куда более интересная партия, ведь у поэтичной девушки столько общих тем с Полонским. Ну а о чем ей говорить с этим Бирилевым, который кроме как о своих драках с французами да о штормах ни о чем и говорить не умеет!

Но Мари, увы, взаимностью хромому бородатому вдовцу (старше ее более чем на 20 лет) не ответила. К чему молодой жизнерадостной девушке связывать свою жизнь с пожилым, вечно плачущимся на судьбу дядькой! Героем ее сердца был совсем другой...

В конце 1860 года Полонский сделал Маше официальное предложение, но потерпел полное фиаско. На прикроватном столике Мари Тютчевой уже стояла в резной рамочке литография того, кому она уже навеки отдала свое сердце, — молодого флотского офицера в лихо заломленной фуражке и с Георгиевским крестом на груди. В те дни девушка жила не слишком частыми, но полными любви письмами, пахнувшими кораблями и океаном.

После отказа обиженный Яков Полонский перестал бывать у Тютчевых и принялся писать горестные стихи о своей одинокой доле. Но вскоре передумал и нашел утешение в объятиях пышногрудой Жозефины Рюльман, отвергшей перед этим небезызвестного революционера Лаврова. Впрочем, и Лавров, как известно, нашел утешение в революционной борьбе. Так что со временем все у всех устроилось...

* * *

А в Европе между тем кипели страсти куда масштабней и опасней для России, чем возня вокруг скалы в Тихом океане.

Летом 1860 года в царстве Польском, входившем в состав Российской империи, произошли волнения. К началу 1863 года ситуация там чрезвычайно обострилась: озлобленная отменой крепостного права, враз обедневшая мелкопоместная шляхта нападала и грабила поезда. В Европе сразу подняли шум о новом польском восстании, а действия армии по прекращению разгула бандитизма были сразу превращены газетами в карательную операцию.

Россия попала в тяжелое положение. Англия только ждала повода, чтобы снова обострить ситуацию. На продажную Австрию тоже не было никаких надежд. Не было особой надежды и на поддержку Пруссии. Ухудшились отношения и с Францией.

Польские дела вызвали напряженность и на Тихом океане. В состав нашей Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Попова тогда входили корветы «Богатырь», «Новик», «Рында», «Калевала» и «Посадник», клипера «Абрек», «Гайдамак», «Наездник» и «Разбойник». Силы английской эскадры на Тихом океане были куда больше. Если же принять во внимание и французскую эскадру в Кохинхине и Китае, то положение становилось почти безнадежным.

К этому времени пришла пора и «Посаднику» возвращаться в Кронштадт. На Балтику отправлялись одновременно три корабля, и Попов определил командиром этого отряда именно Бирилева, как самого опытного и ответственного. Перед самым уходом из Хакодатэ командир «Посадника» был произведен в чин капитана 2-го ранга.

Оценивая действия Бирилева, в отчете генерал-адмиралу, датированном декабрем 1861 года, Лихачев писал: «В продолжение полугода, встречая более чем обыкновенные препятствия, он умел не только вселить к себе общее доверие и миролюбивым образом достигнуть всего, что мы могли только искать, но если бы его действия были сколько-нибудь поддержаны в Эдо, то нет сомнения, что мы утвердились бы на острове Тсу-Сима прочным и невозвратным образом». Что ж, Бирилев сделал все возможное и невозможное, чтобы Цусима стала нашей. Остальное уже от него не зависело...

В июле 1863 года, когда корвет уже бросил якорь на кронштадтском рейде, Николаю Алексеевичу Бирилеву был преподнесен царский указ о досрочном повышении в чин капитана 2-го ранга. Что ж, заслуги у Бирилева действительно были, и немалые...

ЗЯТЬ ПОЭТА

В Кронштадте на причале Усть-Рогатки Бирилева с букетами цветов в руках встречали две девушки: сестра Анна и подруга сестры, несколько смущенная Мари Тютчева.

Роль Маши Тютчевой в последующей судьбе нашего героя весьма велика, а потому познакомимся с ней поближе. Родилась Мария Тютчева в Мюнхене в 1840 году. Биографы Тютчева единодушно отмечают, что она была особо любима своим великим отцом. Маша росла девушкой красивой, умной и романтичной. Вела любопытный дневник, весьма ценимый ныне биографами ее отца:

«Петербург. 16/28 января — 29 февраля/12 марта 1864 г.

16/28 января 1864 года. ...Вечер провела у Паниных... была там с папá.

21 января/2 февраля. ...Папá обедал у Блудовых.

23 января/4 февраля. ...Сегодня огромный бал у княгини Кочубей.

24 января/5 февраля. Слушала рассказы папá о великолепиях вчерашнего бала, у него, между прочим, нога болит.

25 января/6 февраля. Папá хуже сегодня, он целый день пробыл дома.

26 января/7 февраля. Мамá пробыла всю ночь на ногах. Папá лучше, но ночью у него был жар... Пришел Полонский, за ним Владимир Николаевич Карамзин...

28 января/9 февраля. Тургенев был и просидел довольно долго... Полонский обедал и читал свою драму «Разлад» (которую начал в Овстуге)...

10/22 февраля. Вечером были Charles, Новикова и Майков. Полонский был зван, но отказался болезнью. Сидели поздно, Майков читал много стихов.

20 февраля/3 марта. Папá принес «Листок» Долгорукова, где он поместил гнуснейшую статью на него и на его стихи к Суворову...

26 февраля/9 марта. После обеда были все в Русском театре, остались на одну пьесу «Свои люди — сочтемся»...

29 февраля/12 марта. Папá обедал у Горчакова».

Будучи дочерью великого поэта, Мария и сама была не чужда поэтического таланта. На вечерах в доме Тютчева его друг, поэт князь Петр Вяземский в шутку звал маленькую Машу майором, в память семейного спектакля, где Маша играла мужскую роль майора. В 1861 году она написала ему:

Когда-то я была майором,
Тому уж много, много лет,
И вы мне в будущем сулили
Блеск генеральских эполет.
В каком теперь служу я чине,
Того не ведаю сама,
Но к вам прошусь я в ординарцы,
Фельдмаршал русского ума.

Поэт ей ответил стихотворением, желая ей счастья и новых высот в творчестве:

Любезнейший майор, теперь ты чином мал,
Но потерпи, и будет повышенье;
В глазах твоих читаю уверенье,
Что будешь ты в строю красавиц генерал.
А в ожидании побед своих и балов,
Учись, трудись — и ум, и сердце просвещай,
Чтоб после не попасть, майор мой, невзначай,
В разряд безграмотных, хоть видных генералов.

В день 18-летия Марии, 23 февраля 1858 года, Федор Тютчев написал дочери одно из своих знаменитых стихотворений:

Когда осьмнадцать лет твои
И для тебя уж будут сновиденьем,
С любовью, с тихим умиленьем
И их и нас ты помяни…

…Стоя на кронштадтском причале с Машиным букетом цветов, Бирилев был смущен.

— Это мне?

— Да! — потупила взор покрасневшая девушка.

Оба уже поняли, что влюблены друг в друга и что эта любовь на всю жизнь…

По возвращении в Кронштадт Бирилев был сразу же повышен в должности и определен командиром новейшего винтового фрегата «Олег». Тогда же его пожаловали крестом «За службу на Кавказе» за былые черноморские дела против горцев.

А вскоре Бирилев сделал Маше Тютчевой предложение руки и сердца. Девушка с радостью согласилась. При участии императрицы и ее фрейлины Анны Тютчевой молодые были помолвлены. Друзья Бирилева радовались его решению вступить в брак, считая почему-то, что с началом спокойной и размеренной семейной жизни его болезнь пройдет сама собой.

По случаю помолвки поэт Вяземский посвятил Марии Тютчевой стихотворение, начинавшееся словами: «Я знал майором вас когда-то...».

Что касается Федора Ивановича Тютчева, то он выбором дочери был откровенно недоволен. Появление жениха совпало для Тютчева с досадным инцидентом между поэтом и генерал-адмиралом великим князем Константином Николаевичем. Не так давно Тютчев неожиданно для себя получил пакет с надписью: «Его превосходительству Федору Ивановичу Тютчеву от великого князя генерал-адмирала для будущего бала». В пакете оказались очки. Этот непонятный подарок заставил Тютчева предположить, что на балу у Анненковых, за два дня до этого, он не заметил великого князя и не поклонился ему. Зная, что генерал-адмирал отличается грубостью, Тютчев принял очки за «урок» с его стороны. Раздраженный, он тотчас ответил Константину Николаевичу достаточно едкими стихами. «Боюсь, чтобы не вышло истории», — написала в своем дневнике испуганная дочь Маша. Как выяснилось, обиделся Тютчев совсем напрасно. Дело в том, что в Михайловском дворце готовился костюмированный бал, на котором Тютчев и Константин Николаевич должны были появиться в одинаковых домино. Будучи близоруким и не желая быть узнанным по своим очкам, великий князь и отослал еще нескольким участникам такие же очки. Впрочем, Константин Николаевич на стихи Тютчева не обиделся и перевел все в шутку. Однако неприятный осадок у Тютчева от письма генерал-адмирала остался. И надо же такому случиться, что именно в это время любимая дочь объявляет своим женихом именно флотского офицера, да еще любимца великого князя!

Как бы то ни было, но помолвка состоялась. Затем Маша, по настоянию отца, уехала в Ниццу. Влюбленные снова разлучились. Но теперь уже ненадолго.

Как раз в это время на плававшем в Средиземном море фрегате «Олег» потребовалась замена командира. Командовавший фрегатом капитан 2-го ранга Андреев тяжело заболел. Узнав об открывшейся вакансии, Николай немедленно заявился к великому князю Константину.

— Но ведь ты только с Тихого океана, не лучше ли немного отдохнуть и заняться здоровьем! — засомневался великий князь, наслышанный о жутких головных болях Бирилева.

— Я здоров и желаю служить на «Олеге»!

— На «Олеге» так на «Олеге», — пожал плечами генерал-адмирал и подписал приказ о назначении.

Не задерживаясь и дня в Петербурге, Бирилев поспешил в Ниццу, чтобы встретиться с любимой. По имеющимся у него сведениям, «Олег» в это время

чинился в Пирее, и у его нового командира было несколько недель для того, чтобы провести их вместе с невестой.

В Ницце Николай с Машей подальше от многочисленной родни невесты и обвенчались. Предполагалось, правда, прибытие туда отца. Но судьба распорядилась так, что Федору Ивановичу в ту пору было не до свадьбы любимой дочери. Совсем недавно он похоронил главную любовь своей жизни Елену Денисьеву, а следом за ней почти одновременно ушли из жизни и дети от нее — 14-летняя Лена и 10-месячный Коля.

Ницца — жемчужина Франции, совсем недавно доставшаяся ей от Италии. Но европейская аристократия уже успела оценить этот прекрасный курорт по достоинству. На лазурный берег потянулись любители красивой жизни и просто желающие посмотреть мир. Много было приезжих и из России. Федор Тютчев уже написал свои бессмертные строки:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...

По стечению обстоятельств, в дни венчания Николая и Марии в Ницце, там умирал старший сын императора Александра цесаревич Николай.

Федор Тютчев писал из Петербурга:

Сын царский умирает в Ницце —
И из него нам строят ков...
«То божья месть за поляков», —
Вот что мы слышим здесь, в столице...
Из чьих объятий, диких, узких,
То слово вырваться могло б?..
Кто говорит так: польский поп
Или министр какой из русских?

Венчание по этой причине прошло очень скромно. Присутствовали в основном морские офицеры со стоящих в Ницце наших кораблей и несколько знакомых семьи Тютчевых, оказавшихся в это время на лазурном берегу.

Маша была очень грустна:

— Ой, не к добру, что при нашем венчании рядом умирает цесаревич, не будет нам с тобой счастья! — плакала она вечером, уткнув лицо в плечо Николая.

Тот гладил жену по голове и как мог успокаивал.

10 марта 1864 года капитан 2-го ранга Николай Бирилев был уже в Пирее и принимал под начало фрегат «Олег».

А спустя каких-то семь дней Бирилев вывел «Олег» в море. Вначале зашли на Парос, затем в Наварин. На наваринском рейде салютовали греческому фрегату с королем Греции Георгом Первым на борту. Затем «Олег» направился к острову Корфу.

Из хроники плавания: «22 июня фрегат прибыл в Корфу. В этот же день перешли к острову Пиксо и, не останавливаясь на якоре, продержались около бухты Гайо до 2 часов, а к вечеру стали на якорь на северном рейде острова Санта Муара. 15-го числа снялись с якоря и перешли в остров Итака, где и держались под парами, и в этот же день бросили якорь в мессалонском рейде. В полночь на 17-е снялись с якоря и утром прибыли на остров Кефалонию, в Аргостольскую бухту. 19-го перешли в Зант. В полночь на 21-е снялись с якоря и отправились в Пирей, куда прибыли 22 июня».

Вскоре туда прибыл и фрегат «Александр Невский», который должен был сменить «Олега» на Средиземном море. Дело в том, что в это время в Ницце скончался наследник российского престола великий князь Николай Александрович. Перевезти тело усопшего на Родину было решено на кораблях российского флота. В силу этих событий «Александр Невский» был определен флагманским кораблем траурной эскадры. В состав эскадры был включен и «Олег». Поэтому, не теряя времени, Бирилев снимается с якоря и спешит на Мальту. После чего «Олег» присоединился к вышедшей из Ниццы траурной эскадре под командованием контр-адмирала Лесовского. Из-за противного ветра и зыби эскадра изрядно штормовала, прежде чем бросила якорь в Лиссабоне. Сюда подошел и английский броненосный фрегат «Дэфенс», отправленный королевой Викторией для сопровождения усопшего родственника. Чуть позднее к траурной эскадре присоединился и американский фрегат «Ниагара». В Копенгагене фрегат «Александр Невский» посетил король Дании с кронпринцем, тогда же к траурной эскадре присоединился и прусский фрегат «Виктория». У Гогланда эскадра Лесовского попала в приличный шторм, но, к счастью, без последствий.

У Кронштадта тело великого князя встречал весь Балтийский флот, выстроенный в кильватерную колонну от Толбухина маяка до траверза Петергофа. На флагманском линейном корабле «Император Николай Первый» развевался флаг адмирала Новосильского. За Кроншлотом стоял с приспущенными флагами отряд броненосных кораблей контр-адмирала Лихачева.

Сам император Александр Второй встречал гроб с телом сына на малом рейде у Лондонского маяка. Пристав на катере к «Невскому», он взошел на него и сразу уединился в каюте с гробом.

Затем на батарейной палубе «Александра Невского», временно превращенной в церковь, корабельный священник отслужил поминальный молебен, на котором как флигель-адъютант императора присутствовал и Бирилев. После этого, поблагодарив команду за службу, Александр Второй отъехал на

катере в Петергоф, а «Олег» вошел в Кронштадтскую гавань для пополнения запасов.

Сопроводив усопшего наследника престола, фрегат вернулся в Ниццу, чтобы демонстрировать Андреевский флаг у южных берегов Франции. За исполнение этой печальной миссии командир «Олега» был награжден сразу тремя орденами: Святого Владимира 3-й степени, греческим орденом Спасителя и Гессен-Дармштадтским Филиппа Великодушного.

Каждому, даже самому длительному, плаванию когда-нибудь приходит конец. Настало время, и «Олег» снова устало бросил в воду становые якоря в Кронштадтской гавани.

В апреле 1868 года Бирилев был произведен в капитаны 1-го ранга и сразу же уволен в отпуск до выздоровления. К этому времени возобновились давние головные боли и старая контузия требовала полного покоя. К тому же Бирилев мог наконец-то побыть вместе с Машей. Не задерживаясь в столице, он спешит в Овстуг — родовое имение Тютчевых, в тридцати верстах от Брянска — живописный уголок с березовыми рощицами и зелеными холмами вокруг усадьбы, где его уже ждала молодая жена. Теперь Николай и Маша все время проводили вместе, словно предчувствуя, что судьба отвела им совсем немного времени.

В Овстуг часто наведывался и сам Тютчев. Но особой дружбы между тестем-дипломатом и зятем, к сожалению, так и не получилось.

— Наш Бирилев — настоящее дитя природы! — часто иронизировал Тютчев над мужем своей дочери.

В этом была доля истины, рядом с великим поэтом обычный морской офицер действительно выглядел не слишком ярко. Федор Иванович Тютчев был человеком высшего света, часто принимаемым при дворе членами императорской семьи, посвященным во все дворцовые и международные интриги. По отцовской и по материнской линии он происходил из именитых дворянских родов (мать Тютчева, Екатерина Львовна, была графиней Толстой, близкой родственницей Остерманов, в двух поколениях приближенных царского трона). Что уж говорить об образованности, эрудиции и интеллекте одного из выдающихся дипломатов и величайших поэтов России!

Что касается Бирилева, то он был прекрасный моряк, храбрый офицер и отличный честный малый, но при поэтических спорах и разговорах о высокой политике больше отмалчивался, а при философских и вовсе зевал в кулак.

Видя свое превосходство, Тютчев вскоре полюбил поддразнивать и высмеивать Бирилева в отсутствие последнего. В письмах он бывал еще резче: «Он (Бирилев. — **В.Ш.**) ведь полный идиот, особливо с утра...» При этом Тютчев дружил с сестрой Бирилева, образованной и умной Анной Благово.

Вслед за Федором Ивановичем начали высмеивать нового члена семьи и остальные домашние. Такое отношение к горячо любимому мужу очень обижа-

ло ранимую Машу, которой теперь почти каждый день приходилось выслушивать нотации:

— Как ты можешь любить такого неотесанного мужлана, да еще и больного на голову! То ли дело Яков Полонский — эстет и лирик!

Надо отдать должное молодой женщине. На такие слова Маша, гордо вскидывая голову, неизменно отвечала:

— Мой муж — мой герой, и другого рыцаря мне не надо!

Заметим, что Тютчев при всем этом, зная об особом отношении императора к Бирилеву, на людях весьма гордился родством с флигель-адъютантом, любимцем императора и национальным героем России. Друзьям он всегда с удовольствием показывал подарок зятя — письменный набор с ядром и картечной пулей из Севастополя. Этот дар до сих пор хранится в посвященной Тютчеву экспозиции музея Мураново.

30 января 1867 года у Бирилевых родилась дочь, названная по просьбе отца в честь ее матери Марией.

Из письма Тютчева: «В прошлое воскресенье, то есть 30 января, Мари Бирилева в 7 часов вечера родила дочь и, кажется, благополучно. По крайней мере, только до сих пор состояние ее удовлетворительно, но сегодня еще только третий день; я знаю по опыту, как в подобных случаях не следует стараться слишком рано торжествовать победу. Что усилило тревогу, неразлучную с подобным происшествием, это то, что за два дня до этого бедный Бирилев испытал весьма неожиданно два сильных припадка, свидетельствующих о неослабном, вопреки всем лекарствам, продолжении болезни. Теперь он опять поправился и возвратился, по-видимому, в свое прежнее положение; но повторение припадков без всякой осязаемой причины все-таки не отрадно».

Крестником маленькой Марии пожелал стать сам император Александр Второй. Увы, опасения деда-поэта оказались пророческими. Дочь Бирилевых прожила меньше года.

УХОД

Не отступала болезнь и от самого Бирилева. Приступы становились все более частыми и тяжелыми. 15 апреля 1868 года его уволили со службы в отпуск до выздоровления, то есть навсегда. Смерть дочери сильно пошатнула и так не слишком хорошее здоровье Марии Бирилевой. А вскоре у нее нашли чахотку.

Уже больная Мария Бирилева деятельно занимается устройством школы для крестьянских детей в родовом имении. В письме брату Ивану она пишет: «Я поручила Мамаеву (управляющему имением. — **В. Ш.**) на мой счет устроить сельскую школу в Овстуге... Я убеждена, что стоит только начать — через несколько лет крестьяне сами не захотят оставаться без школы». В документе, хранящемся в Брянском областном архиве, говорится: «Дочь Тютчева, жена флигель-адъютанта, капитана 1-го ранга, Мария Федоровна Бирилева, желая

способствовать распространению грамотности, принимает на себя единовременные издержки на перестройку дома под училище, со всеми строительными материалами, а также на снабжение школы училищными принадлежностями...» Именно благодаря неустанным хлопотам Марии Федоровны через каких-то шесть месяцев в Овстуге открылась образцовая школа с пятилетним сроком обучения, самая большая в Брянском уезде.

А молодая женщина увядала на глазах. В те дни Федор Тютчев, страдая за судьбу дочери, писал:

Где неба южного дыханье
Как врачество лишь пьет она...
.....
...О, дай болящей исцеленья,
Отрадой в душу ей полей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней.

Не много мог сделать для тяжелобольной жены и Бирилев. Капитан 1-го ранга мучился в это время страшными головными болями и эпилептическими припадками. Не видя иного выхода, Машу повезли на лечение в Германию, но было уже поздно. В июне 1872 года Мария Бирилева скончалась в Рейхенгалле от скоротечной чахотки. Ей было всего 32 года.

В 1957 году в здании школы, некогда основанной Марией, был открыт музей Тютчева. Когда же в 1986 году было восстановлено здание усадебного дома, то в его мезонине была восстановлена и мемориальная комната Марии Тютчевой-Бирилевой.

Известие о смерти жены окончательно подкосило и так едва державшегося Бирилева. Он решительно выбросил все микстуры и выгнал врачей. Результаты не замедлили сказаться. Эпилепсия Бирилева вскоре перешла в быстро прогрессирующее слабоумие. Врачи смущенно разводили руками:

— Голова есть самое загадочное место организма, и современная медицина о процессах, в ней происходящих, не знает ровным счетом ничего.

— Так что же делать? — спрашивали друзья севастопольского героя.

— Надеяться на лучшее и молиться! — отводили взгляд титулованные доктора.

Увы, болезнь была беспощадна. В какие-то несколько месяцев Бирилев превратился в мычащее существо, едва умеющее держать в руках ложку. Это было страшно. Когда у больного случались проблески ума, друзья пытались его образумить:

— Николя, доверься врачам, пей микстуры, ведь только в этом твое спасение!

— А зачем мне все это, когда рядом нет моей Мари?

Какие-то слухи о состоянии Бирилева дошли до императора Александра, и он во время очередной встречи с братом Константином вспомнил о нем:

— Как там наш севастопольский герой? Есть ли надежда на поправку?

— Увы, Алекс, — развел тот руками. — Боюсь, что он уже никогда не станет нормальным. Он уже не человек, он овощ.

— Бирилев был мне всегда симпатичен и храбростью, и откровенностью! — вздохнул император. — Я уволю его в отставку с хорошим пенсионом, но оставлю числиться в гвардейском корпусе. Помимо этого я определяю его контр-адмиралом в свиту.

— Боюсь, он уже этого не оценит! — скривился генерал-адмирал. — Умственные способности Бирилева сейчас как у грудного ребенка.

— Главное, чтобы это оценили другие! — хмуро ответил брату Александр.

Год спустя после смерти любимой дочери ушел из жизни и Фёдор Иванович Тютчев.

Последние годы жизни Бирилев провел в Овстуге под присмотром нянек и врачей. Ночами он ходил в свои вылазки на ближайший пустырь, а днями напролет сидел недвижим перед портретом жены и плакал. Иногда к нему привозили из Петербурга мать. Седая старушка, как когда-то в далеком детстве, гладила сына по голове, и тот сразу успокаивался…

В 1882 году Бирилев тихо и незаметно ушел из жизни. Общество этого уже не заметило, шли иные времена, и на устах были иные герои. Похоронили героя Севастополя и Цусимы в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря в семейном некрополе Тютчевых рядом с могилой его жены и друга Марии. Надгробия обоих могил сохранились до сегодняшнего дня.

Младший брат Николая Бирилева Алексей Алексеевич сделал блестящую карьеру, став полным адмиралом, морским министром и членом Государственного Совета. Историки по-разному оценивают его деятельность. Однако все признают его несомненный патриотизм, жажду деятельности и личную честность. Согласитесь, что это не так уж и мало.

Именем Николая Бирилева был назван остров (Тэгудо) в Японском море у Корейского полуострова, обследованный в 1886 году экипажем клипера «Крейсер». Что еще можно добавить к вышеизложенному? Наверное, только сказать: «Спасибо, что ты был…»

Евгений СЕМИЧЕВ

КОГДА БУРЛИТ НАД ВОЛГОЙ ВЕШНИЙ ЛИВЕНЬ…

Стихи

ЮГРА

Проделав путь томительный, неблизкий,
Приветствую тебя, моя сестра,
В Самарове (читай, в Ханты-Мансийске)
Вогульская остяцкая Югра.

Сорвавшийся с лихого крутояра,
Твой волжский брат, растроганный до слёз,
Земной поклон от города Самары
И жигулёвской вольницы привёз.

Готов поклясться нашей общей мамой,
Что не один я нынче с толку сбит.
Раскопанный в степи заволжской мамонт
Своим югорским родичам трубит.

Когда бурлит над Волгой вешний ливень,
Тараня грозовые облака,
Над степью выгибается, как бивень,
Гудящая Самарская Лука.

Когда клубятся волжские туманы,
Вздымаясь до небесной высоты,
Толпятся жигулёвские курганы,
Как первобытных мамонтов хребты.

Самарово — и я самарский, то бишь! —
В любви моё признание прими.

Ведь все мы — дети мамонтовых стойбищ,
По Божьей воле ставшие людьми.

* * *

Мир отражается в слезинке,
И ощущает с небом связь.
Слезами вымою ботинки,
Чтоб не тащить на небо грязь.

Как старики сентиментальны:
Чуть что, и слёзы на глазах.
Какие постигают тайны
Они в Божественных слезах?

Прощайте старикам капризы.
На вас взирает, чуть дыша,
Сквозь слёз оптические линзы
Подслеповатая душа.

* * *

Семинар поэтов молодых —
Юных дней моих воспоминанье.
Бьют меня товарищи под дых,
Испытуя на излом дыханье.

Битым я не раз потом бывал.
И, пройдя суровую закалку,
Диафрагму натренировал,
Укрепил характер и дыхалку.

Выковал в себе бойцовский дух
И широкий непокорный выдох.
За меня дают сегодня двух
Стихотворцев, в драках не добитых.

Я шагаю, млечностью пыля.
Небеса мне — скатерть-самобранка.
За моей спиною — вся земля
И река разбойная — Татьянка.

Где, как тать, берёт меня в полон
Город Энск — фамильная обитель.

И сибирякам земной поклон
Шлёт один его исконный житель.

Предо мной — заснеженная мгла.
Завывает вьюга ошалело…
…Город Омск морозом добела
Раскалён до млечного предела.

Пролетел табун коней гнедых
Лет моих… И вновь меня встречает
Семинар поэтов молодых
Жадными горящими очами.

Соловьями критики поют…
Внемля им душою нараспашку,
Понимаю-чую: наших бьют!
Обсуждают Тихонова Сашку.

Сашка — поэтический юнец
Достославной песенной Сибири.
Рядом с ним сидит его отец —
Кулаки тяжёлые, как гири.

Отчего-то очень жутко мне,
Если он кого-нибудь ударит.
Хорошо, что никакой родне
Слова не дают на семинаре!

Я шепчу: «Сашок, держись, родной!
Даже если в драке будет жарко.
Город Тара за твоей спиной
И река искристая Аркарка.

И ещё — сибирская земля,
Что природной силою питает,
Где, небесной млечностью пыля,
Русская поэзия ступает…»

* * *

Листобоем напролом
В дом вломившись спозаранку,

Осень за моим столом
Стелет скатерть-самобранку.

Ломит тучный каравай
И поводит томно бровью.
Говорит: «Отец, давай
Выпьем за твоё здоровье!»

За здоровье я не прочь,
Хоть глаза твои — туманы,
Но к здоровью приторочь
Спирта полные стаканы.

Коли ты — родная мать,
Невзирая на погоду,
Гулевать — так гулевать!
Разбавлять не будем воду.

На двоих с тобой вдвоём
Каравай судьбы разделим
И отчаянно споём
Колыбельную метелям.

Неспроста, не задарма
Нынче праздник в доме нашем.
А сварливая зима
За окошком пусть попляшет.

ОСЛИК

Марине Ганичевой...

Лихо дьявол танцует чечётку.
Мечет искры в кромешном аду.
Я пошлю его, рыжего, к чёрту
И другою дорогой пойду.
Той дорогой, что всеми забыта,
Где надрывно в лихую грозу
Не грохочут, а плачут копыта,
Вышибая из камня слезу.
И пускай обо мне скажут после,
Что он жизнь не ценил ни черта!..

И был глуп и упрям, словно ослик,
На себе вывозивший Христа.

* * *

В небе вольные птахи
Рассекают простор.
В белой Божьей рубахе
Софийский собор.

С покаянною дрожью
На молитву встаю.
Мне за пазухой Божьей
Хорошо, как в раю.

В жизни бренной и тяжкой
До скончания лет
Всем нам служит рубашкой
Божий праведный свет.

На пиру и на плахе
Русский зла не таит,
В белой отчей рубахе
Перед Богом стоит.

И в Господней вселенной
Осеняют простор
Крест нательный нетленный
И Софийский собор.

Фёдор САМАРИН

ЛИБРЕТТО

Повесть

Может быть, завтра от него останутся всего два, но зато триумфальных зуба. Фаянсовых. Кто-нибудь еще понимает, как хорошо иной раз победоносно цыкнуть аустерлицким зубом?..

Ветер лихо двинул ему в бок, метелка белой бороды хлыстнула по порочной, двусмысленной, как саксофон, трубке. Крылья суконной шляпы залопотали вопросительными знаками. В круглых пуговичных глазах гранатовой крошкой пыхнул глянцевый бок горы. С черепицы ветер цапнул самосад прошлогодних буковых листьев, помял, взвесил, кажется, даже понюхал, и швырнул прямо в изумленные пуговицы.

Он опешил, запричитал, размахивая посохом…

1

…В соляной пещере Юлий Адамович Травертинов, звукорежиссер театра юного зрителя, томимый вот уж лет тридцать предчувствиями любви, которой, в общем, не доверял, предавался исцелению. Предчувствия эти, однако, носили форму загадочную, вроде неосязаемого числа «пи». Обладая сценическим воображением, не облеченным, впрочем, в какую-нибудь форму, любовь Юлий Адамович ощущал в виде некой повинности. Даже обузы. А сама эта обуза являлась ему иногда в самых неожиданных местах, отчего-то в облике пузатого потного мужика в кожаных шортах, с трубкой в рыжих усах, а от усов вкусно несло пивом и копченным на ольховых почках гусем. Мужик этот будто бы только для того и был придуман, чтобы вскарабкаться на плечи Юлия Адамовича, влипнуть в них мясистым задом в кожаных штанах, свесить толстые ножки в гетрах и по-бабьи заголосить высокогорный йодль.

А можно было бы выпить кофейку. Потому что все-таки хорошо выпить кофейку.

Вот через две недели будет он, Юлий Адамыч, сидеть в автобусе, потом будет сидеть в самолете, и вспомнится ему кофеек и тот мадьяр с мясистым неприветливым лицом и в длинных, клетчатых, не по сезону, шортах, который расставляет зонтики, посматривая, как вызревает по краям медной джезвы пенистое колье. И соображает злорадно, что вот ведь ждет его, Юлия Адамыча, сопливая тоска, когда именно от водки плакать хочется...

— А это вот... это что у вас там? По-русски понимаете?

— К сожалению, неважно.

— Ну, если неважно потому, что, к сожалению, тогда, конечно, лучше бы не понимать, что понимаете...

— Ха! Значит... э-э... Вам кофе, трдельник и крконош?

— Как вы сказали?

— Игрушка. Крконош.

— Кр... как?..

— Тысяча пятьсот крон.

— Однако.

— Из музея.

— Тяжелый...

— Перст... э-э... пальцы, видите, какие? Там еще шея, туловище. Трубка из вишни. Патык тоже.

— Патык?

— Ну, вот это.

— А, посох... А почему этот... кряк... такой лохматый?

— Ну... Живет в горах. Где родина цыган. Там Черная гора, а на ней еще один колдун, злой, пан Паливец... А еще у нас, вот прямо... мост видите?.. за тем мостом, пан Водяной. Не тот, который под Карловым мостом, а наш, в омутах живет, где Тепла, Огрже и Рохава вместе... как это?..

— Сливаются.

— Да. Были там?

— А надо?

— Туристы ходят... Кофе с ликером?

Юлий Адамович протиснул в карман куртки руку, ощупал долговязое туловище, провел подушечкой большого пальца по зубищам, погладил бороду, расправил усы, поправил посох. Повернул его вбок, чтобы трубку не сломать: длинная, настоящая, хоть сам кури. Все вроде на месте, только вместо кивера на голове — шляпа, как у пасечника, а вместо доломана суконная хламида, вроде бурки. И посох: так и тычет этим посохом...

Да. Подошел к киоску развязно, по-европейски, всего-навсего купить и съесть горячий трдельник, напевая: «Пьяная, помятая пионервожатая...», а купил, не к месту будь помянута, будущность.

Бесхозную.

Зубастую, усы из щетины, бородатую и с трубкой. Щелкунчик, а на газонах уже примулы… Иногда бывает, что вот такой старый хрен с посохом возьмет да и объяснится примуле. Так, мол, и так, сударыня, вы не смотрите, что зубы у меня даже не фарфоровые и в бороде опилки, а вот уж которую неделю встаю и засыпаю с вашим именем… А примулу уже сто раз опылили, и вон листочек с краю скукожился…

Может. А почему нет.

Влюбиться, полагал Юлий Адамович, не вопрос, это всякий сумеет.

Этим убеждением Юлий Адамович оперировал виртуозно. И сопровождал его, обыкновенно, неожиданным предложением, на которое судьбе возразить было нечего: «А ты вот попробуй, поймай меня с полводы!». Представил себе, что зубы у него вдруг стали фарфоровые, кроличьи, и лежат на нижней губе, во рту не умещаясь: «А фы файвай веня ф поввовы».

Юлий Адамович облизнулся. Да. Не поймет его примула. Если что.

Вытянувшись во весь свой рост, а ростом Юлий Адамович тяготился… Ноги, обутые в красно-белые таиландские кроссовки, торчали бледными оглоблями. Являя черные, по сто рублей, носки гармошкой. Впитывал он тонкие испарения полезных солей, обдумывая обузу, примулы, шепелявость щелкунчиков, а заодно ироническую шутку, которой давеча сопроводил просьбу механического голоса не шуметь и отключить мобильники.

«А кряхтеть можно?» — мысленно, а потом вслух поинтересовался Юлий Адамович.

Этой шуткою он стремился не столько развеселить даму на кушетке слева, которую приметил три дня назад во время ожидания процедур (дама, помнится, назвала пещеру «шахтой»), сколько создать о себе впечатление саркастического, туманного, может быть, даже несколько вольнодумного человека.

Ну, так.

На будущее.

Не какое-нибудь там длительное будущее. А дней, что ли, на пять. Пока не выяснится, что у него нет машины в аренде, всего один галстук (таиландский же, синюшного цвета) и подошва на ботинке треснула и протекает.

Файфай ф поввовы… И шляпу при этом эдак приподнять…

Тут Юлия Адамовича вдруг поразило, что никогда больше человечество не вернется к тем эпохам, когда даже летом принято и приятно было иметь на голове убор.

Никогда больше никто никому не станет отвешивать легкий поклон при встрече, приподнимая шляпу. Котелок. Канотье. Цилиндр. Картуз…

И ветерок никогда, никогда не шевельнет фазанье перо. И шапку вверх никогда никто не подбросит, ликуя.

И никто не тронет поля, приветствуя кого-то, вот, допустим, хоть бы и возле Мельничной колоннады… Или, там, допустим, в Ялте… Юлий Адамович

вдруг обнаружил, что, оказывается, всегда знал, что его голова тосковала по хорошей, как у Чехова, шляпе.

Интересно.

Из того дома, с которого по ночам спрыгивают со своих мест сатиры, чтобы размять затекшие локти, поточить о брусчатку рога и поскакать при луне вверх по склону, а оттуда — кубарем, из высоких узких дверей наверняка весенним холодным, парным утром тоже выходил пан в шляпе. С трубкой, с колючим мохнатым шарфом вокруг шеи. Хмурил рыжие брови. Посматривал на облепивших карниз сатиров: эк вас развелось... И думал, может быть, все о том же: что вот, мол, оно, новое утро, которое, в сущности, совсем не новое. И завтра, то есть в будущем, опять будут сатиры, выломанная брусчатка, жасминовые кусты и сырой, как творог, туман, потому что у всех уже давно есть дрожки, а у него...

Ах, какой дом! Его словно нарочно отрезали одним боком от палаццо Дандоло, затем взяли горсть португальского пряничного барокко, немного мореско и оснастили, как Бог на душу положит, ветвями, плодами, травами, ящерицами, рыбами — две морды с толстыми карпьими губами (сейчас причмокнут) торчали по углам крыши; оторочили балконами, балкончиками, пилястрами, медальонами и вазонами, и к каждому балкону приставили по наяде с глубоким соблазнительным пупком, на которую алчно, скоромно косился сатир с кудлатым затылком...

Нет, будущность — штука опасная, и запах у нее... Прогрессивный.

Смежив глаза, представил он себе, однако, не будущность вообще, а что будто бы стоит на самом краю крутой, в четыре ската, крыши, покрытой почерневшей черепицей, кое-где заштопанной кровельным железом. Стоит и понимает, что вот сейчас надо полететь вниз. С пьяной, как любят писать в книжках, улыбкой. На каменные ступени узкой лестницы, которая теряется меж точно таких же крыш, втекая в тесные, как новые ботинки, переулки. Над ним подернутое лесным, горным буковым паром небо, и безногие мускулистые козлища на каминных трубах, склонив мавританские рожицы, стараются на него не смотреть. У них хорошие античные манеры.

В общем, стоит он на самом краю, и чувство такое, как в детстве, когда впереди земляничное грядущее, летние каникулы, девочка с розовой шеей, на которую падает тонкая голубая тень от русого локона, выбившегося из-под эспаньолки...

И о деньгах представления смутные.

Если бы грядущее, во всех своих вариациях, как-нибудь устроилось бы так, что можно было бы обойтись совсем без денег, Юлий Адамович запросто обошелся бы без остального. Правда, без чего именно, этот вопрос Юлий Адамович никогда не поднимал. Держал на потом.

И это «потом» терялось в мутных водах грандиозной реки Ла-Плата, по которой скользят прелестные речные дельфины: вот, собственно, так рисовалась

ему будущность. Всякая. Даже если эта будущность начиналась в следующий четверг.

«Ну и что», — задремывая, подумал он. Даже если никто и никогда не назовет его «милый», тех сатиров на фасаде обнаружил именно он. Однако как тут одно соотносится с другим и в особенности с будущностью, в каких пропорциях, и зачем вообще он сейчас наткнулся на эту мысль, Юлий Адамович сказать не мог. Пришлось бы употребить целую кучу других мыслей и слов. И по пути растерять зерна какой-то тревожной, неведомой, одной-единственной, краткой и пронзительной, как нехорошее слово, правды. Она ведь существует, эта правда... Или существовала.

Или только еще будет существовать.

...Он уже знал, как он будет ей врать. Важно было запомнить последовательность, вызубрить, как фортепианный этюд, со всеми паузами. И поверить, что сам этот этюд и сочинил. Поверить безошибочно и вдохновенно. Историю он почти уже придумал, остались детали, они были рассеяны как канцелярские кнопки на футбольном поле. С деталями надо всегда на цыпочках и с увеличительным стеклом.

Одного только, причем вполне осознанно, боялся Юлий Адамович. Будто бы вот идет он вдоль по набережной, и вдруг из дверей филармонии, в которой, к тому же, еще и купальни, и доктора принимают болящих, и туристов завлекают на экскурсии, и столовая публичная там же, выпархивает она. Ну, допустим, они уже давно здороваются и все такое, переглядываются во время пития вод...

— Ах, Юлий Адамович! Я вам как-то собралась даже позвонить, да вот...

— А куда ж звонить-то...

И тут она, приветствуя по-европейски, льнет к нему устами, а уста в помаде, а Юлий Адамович ее — в щечку, а на щеке крупные крошки пудры, и изо рта у нее пахнет тефтелями...

— Приходите, — щебечет колоратурно, — приходите в 17.00 в эти Лазни, прямо в столовую. Вы там были? Нет? Ну, шикарно, как в ресторане, и лепнина, лепнина...

— А что там будет?

— Мой вечер. Творческий. И я еще хочу вас там познакомить с одним человеком, он из Самары, поэт, прозаик, анестезиолог...

А тефтели, видимо, в томатном соусе...

Да.

Детали — штука зыбкая. Как раскатанный вручную, взвеянный на ладонях тончайший лист теста. Допустим, вот эти самые тефтели. Без тефтелей она — ангел, эльф трепетный, а с тефтелями — теща.

Или, к примеру, черный батистовый платок. К чему бы это, черный батистовый платок? Фу, какая гадость, какая пошлятина... Не ровен час откуда-нибудь вылезет этот черный батистовый платок. В разговоре, что ли... Говорили,

допустим, про благородное. Про варикозное расширение вен, например. Да как-то так свернули на поэзию, потому что все врачи поэты, вот Розенбаум, допустим...

И тут она ему длиннющий стих. Про разлуку. А там черный батистовый платок.

А еще хлестче, если на творческом вечере: выходит анестезиолог, в очках, седина бобриком, с гитарой и в тельняшке (он бард, а поет патриотическое, и популярен), а потом уж и она. В красном, с разрезом на бедре, вся в колье и браслетах, и давай речитативом, со скорбью, с подпевом, про черный батистовый платок...

Или сатиры... Дело-то, в общем, не в них. Но без них все почему-то не то чтобы теряет смысл, а не обретает плоти. И это очень важно. Потому что у каждого сатира имеется какая-то своя, очень личная, история. В конце концов, они там, на фасаде и трубах, именно сатиры, а не что-нибудь еще. Например, листья аканта, что ли. Или, допустим, сфинксы. Аттические.

Тот, кто затеял этих сатиров на том доме, зачем-то имел в виду исключительно сатиров. Может быть, даже мраморных, а просто денег на мрамор не хватило.

А может быть, он вообще ничего не имел в виду, а вот питал приязнь к сатирам и маврам. А не к сфинксам. Сфинкс, тоже принять в рассуждение, демон весьма хитрожопый, потому что нечто женственное, плотоядное.

Вчера, кстати, окунувшись в бассейн, Юлий Адамович как раз на мгновение почувствовал себя мраморным мавром. Тем, который играет мышцами в самом центре Рима. Он еще хотел выпрямить спину, втянуть живот...

Юлий Адамович приготовился изящно бороздить бассейн, именно на спине, чтобы краем глаза видеть ее плечи и ложбинку на затылке, под лазоревой шапочкой...

Но она уже покидала полезные минеральные воды. Вот накинула на плечи халат, засеменила к столику с настоящим, невесть откуда здесь взявшимся, самоваром... Живот встал на место, Юлий Адамович присел и, стараясь не шуметь, робко поплыл, почти не шевеля пятками. Над спиной его, подобно плавнику рыбы-парусника, пузырились лазоревые трусы. Юлий Адамович называл их австралийскими плавками и, в общем, был недалек от истины. Он всегда был от нее недалеко, но, как человек воспитанный и деликатный, предпочитал держаться от истины все-таки подальше. Мало ли что.

Пещера, как губка, обременилась звуками журчащих струй. В дреме — ни с того ни с сего — мелькнула перед мысленным взором полемическая статья, тема которой была далека от четверга и будущности. Статья принадлежала ему самому, и говорилось в ней, что вот, мол, каждый год в первых числах июня посредством печати и иных публичных способов гражданам разъясняют, что тополь и его пух — это хорошо. И полезно. Граждане, замечал автор, сомневаются и даже ропщут. Но затем пух становится неактуальным, и о нем обще-

ственность забывает до следующего июня. Забаве этой скоро уж тридцать лет, а начало она своё берет с того, что супруга незапамятного видного деятеля полюбила песенку про тополиный пух. Отчего и велено было упразднить пейзаж, который никому не мешал целых 300 лет. И вот поэтому сам он, автор, дико ненавидя тополиный пух, по ночам выбирается на улицу с зажигалкой и с наслаждением его запаливает. Мстя и, тем самым, ну, в общем, выражая… И одновременно совестясь, потому что месть требует сосредоточенности, а автор между тем человек лояльный и поверхностный, и…

Вспыхнул свет.

Юлий Адамович не успел подобрать ноги.

Она скользнула по нему взглядом.

Будущность была погребена под спущенным носком.

…Оправляя куртку и прическу, Юлий Адамович смертельно захотел спирту с томатным соком. Причем мотивация начиналась со слов: «Вечером того же дня пан»… ну, положим… Юлий Адамович порылся в памяти, однако кроме фамилии какого-то хоккеиста ничего на ум не пришло…

Ладно, Ружичка.

Ружичка.

Рыжий такой братец Лис. Рыжик под виноградным листом, с глиняной трубочкой из ржавых усов. Жизнерадостный жилет, пузцо как у майского жука, широченные плечи, в ладонях запросто может хрустнуть целая тыква… Почему-то не Новак, не Дзурилла: именно Ружичка…

— Простите, но мы с вами уже третий сеанс, я бы сказал, видим одни и те же сны, и я…

— Да. Я тоже все собираюсь спросить у вас, например, где здесь можно по-человечески поесть… То есть капуста страшно надоела.

— С удовольствием! Ну, не в смысле, а… вот прямо отсюда немного вверх и еще раз вверх и направо… Там перепела и фазаны…

— Фазаны? Такую красоту и переваривать?

Ночью, обернув полотенцем ледяные пятки, закутавшись с головой и пристроив на вторую подушку, непонятно для чего, игрушечное пугало, Юлий Адамович приказал себе не думать о ней. То есть о том, собственно, что фазан, однако, хоть курица и пышная, а все ж не билеты в Большой театр… И любовь, оно, конечно, мероприятие полезное, но, если, допустим, каждый раз фазаны… И с юмором что-то в этот раз у него не того, потому что если вдруг придется в театр вести, так там ей, как пить дать, захочется по коньячку…

Он повернулся на левый бок, и к нему без спроса, как к себе на чердак, вошел пан Ружичка.

* * *

…Отобедав позже обыкновения, пан Ружичка чувствовал себя скверно. Очень хотелось соснуть, помечтать о чем-нибудь потустороннем, укутавшись,

не раздеваясь, в старый оранжевый плед. Пан Ружичка оглянулся на тяжелую буковую дверь, которая напряглась в ожидании: вот сейчас толкнет ее рука архитектора. Даже тень от кресла в левом углу кабинета, и та, будто жирный соседский кот, подобрала под себя лапы, слегка подрагивая мохнатой задницей.

Все-таки неспроста за два часа до обеда жена пана Ружички, пани Ружичкова, которой в феврале исполнилось ровно 22 года, обожгла утюгом указательный палец, по причине чего в театр уже идти было никак невозможно. Палец был забинтован. Пани Ружичкова причитала, что, дескать, даже если этот палец как-нибудь и можно было бы втиснуть в перчатку, то ее будет изводить и в конце концов доконает мысль, что на палец она, по обычаю, хорошо пописала.

Словом, вечер сам собой складывался в один из таких вечеров, когда в доме по всем углам прячется какая-то неопрятная сволочь, кое-как пьется спитой кофе, читаются уже перечитанные газеты, темнеет рано, хочется молчать и смотреть в окно на горы, еще лысые, кое-где припорошенные снегом, да слушать уток на Тепле…

Главное, что выводило из себя, так это, что под этих уток никак не получится чуток соснуть: архитектор обещал зайти на пять минут за час до начала спектакля, а придет, сукин сын, наверняка за полтора. Сравнивая себя с этим архитектором, фамилия которого заканчивалась на скользкое, червеобразное «ский», а по имени пан Ружичка называть его считал неуместным, Алоиз Ружичка испытывал гнетущее чувство нехорошей зависти.

Архитектор был молчалив, подтянут, беден, молод, белобрыс, носил очки и росту был такого, что пан Ружичка едва достигал его подбородка. При этом пан Ружичка вынужден был постоянно втягивать в себя живот, специально к его приходу надевал сапоги на каблуках и даже слегка пудрился, ловко подкарауливая момент, когда супруги не было в спальне.

Конечно, пан Ружичка давно подметил, что этот на «ский» старательно делал вид, будто пани Ружичковой ни в доме, ни вообще на белом свете как бы не существует. В молодости, когда еще живот только намечался и на крепких щеках колосились густые рыжие бакены, пан Ружичка и сам был мастак откалывать тому подобные штучки.

Бывало, он нарочно заходил в «Склепик» того только ради, чтобы не заметить Руженку. Этот ладненький выпеченный на заказ пончик в сахарной пудре, черненькую, с беспредельно глупыми глазами чистого зеленого оттенка, оттопыренным задом, доверчивую как морская свинка и трепетную настолько, что закатывала глаза в любом месте, стоило ее всего-навсего слегка, незаметно тиснуть за грудь. Руженка начинала бегать туда-сюда по залу, роняла тарелки с кнедликами, била кружки, спотыкалась обо все углы и переходила на польский…

Пан Ружичка нарочно встал спиной к двери. Можно ли предвкушать архитектора с окончанием на «ский»? А можно. Никто же не видит. Ах, как опять

передернет этого восторженного голодранца, когда к нему медленно развернется его богемский нос, подпертый усами цвета пареной тыквы, как проколют дистанцию между ними медно-красные штыки волосков, на каждом из которых вспыхнет осколок снулого солнца...

Пан Ружичка сощурил нездешние, степные, с мясистыми веками, глаза, пытаясь изобразить вот это самое «вперить взор»: директор театра пан Плиновец, говоря об императоре, очень любил это выражение.

Перед взором был все тот же стремительно уходящий за оконную раму склон, припорошенный манной крупой, которую просыпал братец Бржезень, в голых буковых стволах, а по влажной коре скользит отблеск ватры с Гномовых скал... Во рту набухал, вызревал, обволакивал нёбо, покалывал за ушами вкус сорокаградусного фернета Стока, который он примет после прогулки перед обедом, под вторую кружку слегка подогретого, редкого здесь дортмундера, а потом еще вечерком, капнув пару капель в кофе. Ноздри заполнил запах крокуса, его потеснила горечавка, затем вступила ромашка, ревень, скользнуло горчичное семя, просочился золототысячник, на него лег привкус дубовой коры, наконец, липы...

Скоро, совсем скоро там, за окном, вплоть до самых Крконош, к глянцу медвежьего лука прибавится глянец душицы, пойдут лазурные волны гиацинта... Проклюнутся снежные озерки галантуса и белоцветника, вспыхнет лиловатыми сполохами шафран, на душе станет легко и пьяно от розоватой сумятицы кустов дафны, метелок ятрышника, голубоватой россыпи сциллы, пурпурных, желтых, сиреневых выстрелов собачьего зуба, фиолетовых колокольцев кукушкиных слез, лимонной кашицы камнеломки, суровых бутонов каменной розы, наконец, половодья тимьяна и свербиги.

И не будет ни одного живого места в городе и вокруг него, где б ни вылезли разнообразные примулы, маргаритки, виолы, незабудки и нарциссы. Потом заколосятся алые кусты азалии, взятые в облака черемухи и каштанов, и он специально, как делал это всякий год, пойдет проведать готовые скинуть скорлупу бутоны магнолии цвета крыла заморской птицы фламинго, про которую ему неделю назад так сладко нашептывала Виолетта.

А затем придет черед липы. Золотого дерева. Пан Ружичка не случайно предпочитал фернет, который завелся в крае недавно, всего лет десять назад, «бехеровке». Фернет был исполнен богородичного духа, потому что кто ж не знает, что на липе отдыхает Дева Мария... Пану Ружичке опять доставят несколько свежих поленьев. Откуда-то из-под Литомишла. А может, из-под Паствин, где растут липы-воеводы. Коренастые, в три обхвата; некоторым по двести, триста, а не то пятьсот лет... Есть, говорят, даже такая липа, под которой почивал Карл Великий... Липу, обыкновенно, заказывали костелы и иногда филармония, а пану Ружичке, без лишней огласки, она перепадала от пана Бенеша, кучера пана директора, которому пан Ружичка хоть ничего и не платил,

но зато щедро поил сливовицей и закрывал глаза на склонность его иной раз прихватить с кухни круг-другой чесночной колбасы.

Только Петр Бенеш знал тайную страсть пана Ружички. Потому что именно Петр Бенеш, который имел с этого некоторый доход на распродажах при филармонии, обучил пана Ружичку резать из липы рождественские игрушки, щелкунчиков да крконошей. И часами водил Алоиза Ружичку по горам, показывая, где и как растет такая-то трава и когда приходит черед цвести такому-то кустарнику или цветку. Иногда они забирались далеко, до берегов Огрже, там, под Локетом, перекусывали, выпивали, а пан Ружичка все записывал карандашом в толстую книжку, оплетенную в желтую свиную кожу...

Пан Ружичка преуспел.

После того как однажды за завтраком (чайная ложечка с желтком зависла возле рта) он вдруг потрясенно обнаружил, как стремительно стареет, в нем исчез страх перед тем, что, в общем, ничего не оставалось, как презирать.

Он понял, что может все.

Главное, сделать так, чтобы никто ни о чем не догадался. Можно даже любить оперу. Заучивать роли. Арии. Можно, но не обязательно. Ну ее, эту оперу, хотя ведь можно же! Или вот вышивать. Крестиком.

Но самое дельное, мужицкое — душа урчит, какое вкусное дело — резать по дереву. Как все, как сотни лет подряд резали в этих горах. Самый последний его Крконош (оставалось выточить трубку и приклеить брови) был точной копией пана Поспишила. Всякий узнал бы этот крупный отвисший нос, скошенный лоб, бородавку на изгибе левой ноздри, а главное, натруженные, как у бобра, зубы и скошенные к вискам кустистые брови, из-за чего у пана Поспишила был несколько изумленный, травоядный вид. Все остальные крконоши тоже были похожи на пана Поспишила, но это потому, что сам пан Поспишил был точь-в-точь пан Крконош, если побрить тому бороду...

Зубы были последним предприятием пана Ружички. До смерти хотелось рассказать хоть кому-нибудь или, черт побери, описать, записать, отправить по почте неизвестно кому и куда, но чтобы кто-нибудь, а узнал бы окольными путями именно здесь, вот хоть бы и эта старая овца в доме напротив, чтобы судачили в каварнях и «Склепике». Трудами и талантом скромного и так далее, которого нельзя было заподозрить и так далее, поскольку крепкий хозяин, патриот и так далее, а создан первый рождественский крконош с самыми настоящими фаянсовыми зубами. Более того: с такими зубами, которые неопровержимо указывают на пана Поспишила. И что этот крконош — прямо портрет известного своим подвижничеством на ниве и так далее пана просветителя с берегов Теплы.

Сначала пан Ружичка списался со Спрингером и Оппенгеймером, выдумав причину сделать вложения в новое производство, поскольку де в Доуповских горах, писали в «Новинах», а уж потом, кажется, и в «Кронен Цайтунг», на восточном склоне самой Градиште (это была чистая правда) найдены залежи

изумительной глины, и даже решился уж было ехать в Локет, где был у него приятель, зубной лекарь.

Но тамошний завод почему-то манкировал мелкими заказами, а приятель выходов на управляющего не имел, и вообще, поскольку был евангелистом, считал вставные зубы, особенно фарфоровые, излишеством. Тогда, не давая себе времени на рассудительность, пан Ружичка переписал письмо к Спрингеру и Ко на имя начальника завода в Аустерлице, пана Йогана Чжийжека, изумив его не столько тем, что хотел бы, мол, изучить производство и коммерцию, а существом заказа: пятьсот фаянсовых передних зубов. Верхних. Только резцов. Для пробного дела с аптекарями и зубными техниками из Регенсбурга.

Цифру пан Ружичка взял наобум: пятьсот показалось солидно, сдержанно, в меру экономно, не подозрительно и карлсбадского размаху.

На всякий случай, написал также в Клаштерце и в Бржезов, но пан Чжийжек ответил быстро и весьма любезно, причем по-чешски, а заказ был готов через три недели. Доставили его не на почту, как обычно, а прямо к крыльцу подкатил экипаж с зеленой эмблемой «Хаас и Чжийжек»: корона, две ели и завитушка снизу...

Ящичек с зубами пан Ружичка спрятал в левом крыле, во второй гардеробной, справа от комнаты пани Ружичковой, поставив на него свои охотничьи сапоги.

Ныла спина, покалывал копчик, слезились глаза, немели пальцы...

Особенно же долгих раздумий потребовал кулак. Как его вылепить из липы, чтобы пальцы были хоть как-нибудь похожи на пальцы и чтоб мужественно сжимали бы патык? Пан Ружичка снял с собственного кулака все размеры, долго торчал перед зеркалом в неприличной позе, так и не сообразил, как примериться к мясистому липовому поленцу, плюнул и — в субботу, кажется?.. — пошел в «Склепик».

Там он выпил пива с паном Гремлинкой, потом еще раз, сливовицы, и пообещал, что они выпьют еще столько же или даже больше, или даже вообще выпьет сколько пожелает сам, совершенно один, пан Гремлинка, если тот немедленно...

Пан Гремлинка выслушал предложение, скажем так, бесстрастно и с пониманием: он и сам, когда был помоложе, баловался всякой стариной и трижды залазал в костницу Седлице (дома над мольбертом до сих пор щерятся с потолка три черепа кофейного цвета), а потом продал в Хебе какую-то маленькую шапку с крестиком, расшитую бисером.

Главное, риска никакого, потому что кому оно надо? Было бы надо, не держали бы на полу, да при входе, да в углу, прямо за дверью.

Пан Гремлинка почесал жесткий седой ёжик под подбородком и через двадцать минут принес пану Ружичке согнутую в локте великолепную, выкрашенную в карминный цвет, ясеневую руку с воткнутым в нее жестяным крестом с погнутой перекладиной. Благочестия в попах, само собой, не было и нет ни-

какого, хоть в гуситских, хоть в лютеранских, раз у них херувимчики бесхозные валяются где ни попадя и двери настежь.

На всякий случай, Гремлинка отломал у херувима и вторую руку, причем если первая, с крестом, далась легко, со второй пришлось помучаться, и треск стоял на весь приход. Там было еще три херувима, но те совсем уж большие…

Вторая рука, однако, не подошла, потому что подразумевалось, что была как бы с мольбою прижата к груди херувима. А первая (пришлось малость укоротить) сгодилась на славу, хотя кулак, в который запросто влез посох, оказался размером почти с голову крконоша. Вместо второй пан Ружичка просто приделал палку: все равно под рукавом не видно.

С туловищем и шеей проблем, естественно, не возникло, разве что, если б кто вздумал этого деда раздеть, обнаружил бы подробность, которую пан Ружичка соорудил из старого медного наперстка.

Глядя на себя со стороны, пан Ружичка сопел, жевал нижнюю губу и, вздувая ноздри, жукообразно фыркал, даже не пытаясь подыскать того ругательства, которое охватило бы вопрос, какого ляда каждый вечер, пожелав покойной ночи супруге, поднимается он, пан Ружичка, на чердак, запирает на стальную задвижку дверь, надевает отцовские очки, садится за длинный неструганый дубовый стол и начинает этот танец с резаками, косяками, штихелями, свёрлами, ноготками, гейсмусами и клюкарзами.

Зачем ему было ехать к черту на рога в Просеч к лучшим тамошним мастерам? А чтобы заказать вишневую трубку невероятного размера и длинную, как патык, а потом четыре часа кряду наблюдать, как этот пан Стропалек ворожит над нею, чтобы уже здесь, вот за этим столом попытаться извлечь из вишневого корня хотя бы подобие трубки пана Стропалека. Для чего мотался он глубокой осенью в Новы Йичин к шляпникам «Тонака», пил с ними убийственно вонючую сливовую ракию и наизусть выучил историю про шляпу, которую заказывала аж сама королева Англии. И кто бы понял, что он, пан Ружичка, выбросил на ветер кучу денег того лишь ради, что в Яблонце-над-Нисой все стеклодувы как один отказали ему в такой малости, как всего два стеклянных глаза. С голубыми зрачками. Хотя…

Весь фокус в том, кто не знает: это что если из липы под рождество вырезать куклу, то в нее непременно вселится какая-нибудь неприкаянная душа. Или душа того, о ком ты болеешь душою сам. С одной стороны, предрассудок. С другой, если этому предрассудку уже, почитай, тысяча лет… ну, или хотя бы пятьсот… да хоть сто… Стало быть, были случаи.

А пан Ружика косвенно болел душою по пану Поспишилу.

Этого Петр Бенеш знать уже не мог.

С тоской захотелось настоящей весны, дроздов, и вот этих крошечных желтых цветочков, и кофе в беседке пана егеря.

А больше всего хотелось выйти с паном Поспишилом на вальдшнепа. Скоро уже… Стоишь себе столбом, лопатки промокли от буковой коры, от земли

потягивает эдак вкусно, молодо, тревожно; над макушками едва высветлило, дрозды гремят — сам бы взлетел... Сколько раз был на вальдшнепе, ни одного не взял: стоял, млел. Дрозд — птаха сольная, искусная, с этакой придурью малость, с куражом... А бекасы — народец сумеречный, душою мелкий, простоватый — порх-порх красным крылышком, только хоркают... Ну и пусть себе... А егерь, тот лупит влет.

Либеральных взглядов пан егерь, и ходит... э-э... ходил в гусистскую церковь, смирившись с феминистическими воззрениями супруги, пани Поспишиловой, которые странным образом привели ее в противоположную от идеи сторону: к адюльтеру. Возможно, потому, что была прихожанкою костела святого Луки. Англиканского. Очень модного. А от него до улочки Под Еленим скокем, то есть до пана Ружички, двадцать четыре шага и повернуть направо. Собственно, идеи эти не то чтобы окончательно ее поглотили, а так, без фанатизма, иной раз, когда пан Ружичка как бы подворачивался как-нибудь кстати. Однажды пан Ружичка подвернулся ей в парикмахерской. Она тогда оцарапала ему живот какими-то булавками, и пришлось дома в присутствии супруги и горничной побить престарелого кота Нерона, который так расстроился, что целых две недели жил под лестницей, а потом и вовсе переселился в лес... Хотя, сказать прямо, этот самый «иной раз» мог не наступать месяцами. Да и когда все же наступал, вспоминал о нем пан Ружичка с таким чувством, будто прилюдно, как солдат, высморкался двумя пальцами...

* * *

...Вступив в комнату, архитектор, фамилия которого была просто Ковальский, в свою очередь, еще был полон впечатлениями от только что съеденного фазана именно у пана Поспишила.

Была у пана Поспишила одна черта, которая, с одной стороны, никак не объясняла его характера, а с другой — была чем-то вроде нитки в мотке овечьей шерсти. Потянуть лень, да и моток жалко, а вот торчит. Развивая какую-нибудь мысль, начинал пан Поспишил обыкновенно успешно, ярко, пышно, намечая от генеральной темы всякие многообещающие ответвления, прокладывая тропы и тропинки, на которых слушателя поджидали неведомые обстоятельства и подробности. Но минут через пять сам пан Поспишил уже напрочь забывал, с какой тропинки и в какую сторону сворачивать. Поэтому часто, рассуждая, например, о том, как в таком-то году в июле выловил он линя в пруду под Локетом, заканчивал он неизбежно тем, что обзывал правительство бандой тайных содомитов. То же самое умозаключение вывел он как-то из рассуждения о влиянии оперения фазана на развитие письменности у древних бойев.

Собственно, из-за этой черты и был он, по молчаливому сговору, три года как выбран в попечительский совет по развитию изящных искусств и просвещения. А там быстренько сделали его, по манкированию всеми остальными членами совета вопросов культуры в сопоставлении с личными интересами по

разведению карпа, кроликов, цветной капусты и сдачей квартир для курортников, председателем. Спустя месяц после этого избрания на почту вдруг в больших количествах стали поступать посылки с книгами, выписанными из Праги, Остравы, Будапешта и Дрездена, все на имя пана Поспишила.

Пани Поспишилова с тех пор, всякий раз пия кофе в каварне близ церкви Марии Магдалины, оттопырив полненькие пальчики, втиснутые в скабрезные черные, в сеточку, перчатки, любила вскользь заметить:

— За эту неделю на пятьдесят флоринов начитал. За семь дней. Читает и читает. Бриться по выходным перестал. Я ему: разве прогресс — это чтобы не бриться? Прогресс разве такой, чтоб по всем комнатам и при прислуге в одних кальсонах расхаживать и небритым? Прогресс — это когда люди говорят по-немецки! А он говорит, что это война с мракобесами, а на войне как на войне.

— А что ж читает пан Поспишил?

— В этот раз какого-то... Штех... Штукман, что ли. Или Шихман? Но не про войну. А той неделей — француза читал: француз встал в 25 флоринов. Ругался очень.

— Понятно. Двадцать пять флоринов. Умная, должно быть, книжка...

— Двадцать пять флоринов штука! А он сначала на того, другого немца ругался. А потом на француза. Говорит, сам писать буду. Все врут, говорит, немцы. Не бывает, говорит, такого, чтобы дефицит был полезен для этой...

— Для буфета?

— Сейчас! «Для буфета»... Для какой-то науки, которая ведет к этому, к просвещению. И вот теперь выписал эту самую науку на 65 флоринов из Оломоуца. Шестьдесят пять! А у меня в этом году флигель не сдан: у него там теперь кабинет, и собрания проводит с паном Ковальским. Читают то немцев, то француза, и все со сливовицей, и так иной раз разойдутся, что песик однажды, ей-богу, описался, и гуси худеют: не любят гуси, если с ними по-немецки...

Кроме того, чтобы как-то ускорить движение города к идеям и прогрессу, а заодно быть опубликованным в газетах, пан Поспишил решился личным примером прививать передовые манеры. Для этой цели выбрал он подрастающее поколение, физкультуру и мазурку. Танец этот избрать подсказал ему Ковальский, напирая на то, что, мол, прыгучий, шустрый и, стало быть, полезный в смысле противодействия известной склонности к пиву и всему прочему, что к нему полагается.

В гимназии ему отказали, зато благосклонно отнеслись в школе кружевниц при синагоге, где по четвергам и воскресеньям пан Поспишил проводил занятия по физкультуре для мальчиков и разучивал мазурку с девочками. Часто можно было с тех пор наблюдать, как по утрам пан Поспишил в вязаной кепочке и гетрах трусил вдоль Теплы, потом по мосту и далее вверх по тем улицам, что выводили к синагоге. Потом к этому привыкли, а вскоре на первой полосе

аж в «Лидове новины» появилась фотографическая карточка, на которой пан Поспишил был изображен танцующим с тощей гимназисткой — дочкою пани Радковой, которая, будучи вдовой, завещала все свое состояние (ту самую каварню, где пила кофе пани Поспишилова) на развитие просвещения в родном городе.

При всем при том, танцуя, поглощая прогрессивные идеи и труся по утрам, пан Поспишил удивительным образом поправился, округлился и стал явно, как бы это сказать, еще более склонным к совершению многочисленных прелюбодеяний, в чем, однако, его до поры никто не уличал, но слухов ходило множество. Мазурка и физкультура, а также погружение в сложную материю пластических искусств, усугубленное политической экономией, постепенно вылепили из пана Поспишила образ деятеля, подвижника и немного, совсем немного, вольнодумца.

Пан Ружичка быстро обернул это дело в коммерцию:

— Нам, — сказал неизвестно где и кому пан Ружичка, да и говорил ли вообще, но слова его разлетелись по городу мгновенно и обросли подробностями, — нам, господа, чтобы считаться на самом деле приличным и даже в некотором смысле знаменитым курортом, не хватало одной существенной малости. У нас есть, господа, восхитительный театр, филармония и картинная галерея, у нас есть краеведческий музей и два собора в хорошем состоянии. Но у нас никогда не было, господа, настоящего городского сумасшедшего. А ведь хороший городской сумасшедший, господа, это такая фигура, которая переживает десятилетия, даже столетия и целые эпохи. Кто из вас может показать, в какой стороне находится Трансильвания? И я не знаю. Никто дальше Доуповских гор не знает, где находится город Хеб, зато каждый из нас, господа, знает того идиота, который там построил себе хижину на старом каштане и не слезал оттуда целых два года, потому что отращивал себе крылья. Потом его сняли, объявили патриотом, и теперь его рожа красуется на почтовых марках! И вот теперь у нас есть свой сумасшедший, господа. Это — первый признак здорового общества. Нам грозит процветание и, стало быть, приток новых курортников. Я бы даже, господа, поместил профиль пана Поспишила на мои облатки!

Разумеется, говорить этакие вещи про партнера было нехорошо. Все-таки пан Поспишил заслуживал большего. Дурака, по мнению, кстати, и самого пана Ружички, на должность директора филармонии за здорово живешь не назначил бы, а только по причинам стратегическим, к тому же театральный буфет был, собственно, буфетом филармоническим, а пан Поспишил платил аренду и состоял в доле с паном Ружичкой, тогда как сам Ружичка поставлял в этот буфет облатки со своей пекарни, которая опять же располагалась именно в филармонии, а та — в Третьих Лазнях.

Но последнее изобретение пана Поспишила вывело пана Ружичку из себя. Тому имелись, естественно, еще кое-какие веские причины, так что недавно предложенный им новый прожект стал предпоследней каплей: пан Поспишил

решил прививать жителям привычку к чтению. Он даже сочинил по этому поводу заметку в газету в пятьдесят строк, употребив в ней никому не известное слово «проприоцепция», которую, впрочем, так и не отправил. Но, сочинивши, как потом признавался во хмелю пани Виолетте (чем понизил себе шансы), испытал такое чувство, будто ему вставили золотой зуб:

— Еще написать штук, однако, пять-шесть, и что ж... Вот руку и набью. А там вдруг пойдет дело, напишу их штук сто, а не то триста, и... А там что ж? Вот газету издавать. Название придумал: «Априлове почасы». Все-таки дубень звучит как-то... не то что апрель, да?.. А потом Прага. И буду туфли носить коричневые, из кожи. И берет. Как думаешь, бороду вот так отпустить? Поверишь ли, голубка, раз в году только надеваю эти туфли, на пятнадцать дней, когда в Прагу посылают.

Это была правда. Две недели наслаждения в Праге — там пан Поспишил со вкусом шагал вниз к Старомястской площади, до Карлова моста и обратно в попечительский совет, любуясь ореховым светом мягких, скрипучих, в рыжину, туфлей, на кончиках которых вспыхивало сентябрьское, еще теплое, солнце. В остальные дни года, вплоть до заморозков, на ногах у него была обувь, которая называлась — с легкой руки пани Поспишиловой — «говномяла». Этих у него было целых три пары, на сезон с октября по декабрь и с декабря по апрель, поделать с этим никто ничего не мог и не собирался. Был плюс: с конца декабря и по середину января пан Поспишил пьянствовал, выходя при этом далеко за рамки приличий.

Виолетте, поскольку натура артистическая и голос нужно прогревать, однако хотелось обхождения, чего-нибудь на шею и дорогого ликеру. Она вдруг разочаровалась и, чтобы напоследок утешить свое разочарование, самолюбие и что-то еще такое, что обычно посещало ее в гримёрке, когда особенно заметными делались морщины на шее и вот эта складка между бровями, в двух словах убедила пана Поспишила, что тому срочно надо купить себе кипарисовую трубку и шелковое кашне. И обмыть рождение его литературного таланта именно ликером, публично, в театральном буфете. В котором, в тот самый день, меланхолически мечтая о тушеной капусте, обмакивал в кофе облатку голодный пан Ковальский.

Изобретение тяги к чтению взбесило пана Ружичку: идиотскую идею мог провернуть с выгодой для себя и общества только человек умный. А не возомнившее ничтожество.

Зависть и чувство несправедливости — веский аргумент. Остыв, пан Ружичка рассмотрел все плюсы и минусы. Раз за дело взялся идиот, то нужно, чтобы общество убедилось в его идиотизме, возвело в степень, потом перестало изумляться и, наконец, взяло себе убеждение, что от этого человека можно ожидать все, что угодно. А людям, от которых можно этого ожидать, нельзя поверять не только вопросы просвещения, стало быть, прогресса, но, в первую очередь, вопросы питания. Хлеба насущного. То есть, по сути, нацио-

нальной безопасности: дабы не повторилась история повара из Брно, которого уличили в том, что он нарочно, из националистических убеждений, запекал в утке живых тараканов.

2

Стены кабинета пана Ружички, обшитые буковыми панелями, были такие же точно, что в буфете, оно неудивительно, равно как и то, что гравюра над его рабочим столом тоже была та самая, которая прежде висела в буфете на стене справа от входа. От нее, казалось, так и веяло свежей выпечкой, хотя на ней был изображен король Карл со свитой над диким горячим источником, в который угодил олень.

Перед глазами пана Ковальского и без того так и стояла полная тарелка тушенной в брусничном соусе капусты и фазанья грудка с крылышком и лапкой, а сбоку еще картофельный кнедлик, который формою и плотностью напоминал архитектору грудь пани Поспишиловой. Взглянув на стены и гравюру, он вдруг захотел теплого молока, разговора о чем-нибудь не имеющем отношения к обязанностям, например об каватине Неморино из «Любовного напитка». Билеты в оперу лежали у пана Ковальского в кармане: по заключении разговора с паном Ружичкой архитектор намеревался преподнести ему приглашение на две персоны в пятый ряд партера, потому что пан Ружичка наверняка в оперу не пойдет...

Недавно только пан архитектор признался в чувствах театральной кассирше Аделаиде. Сделал он это после того, как увидел ее на вечере в музее Бехера: она там читала нечто бередящее. «От Анны в Седлице вслед за ручьем игривым ...» Грудь у нее двумя перезревшими грушами оттягивала синий шелк, под глазами стояли фиолетовые тени. Она была как надтреснутая слива. После пан Ковальский несколько раз поежился от угрызений совести, даже погрозил себе пальцем в зеркале, порезав бритвой уголок верхней губы. Он чувствовал себя клятвопреступником ввиду другого, более высокого, возвышенного, тайного, какого-то неописуемо французского чувства к пани Ружичковой.

Пани Адина Ружичкова тоже писала складные четверостишия, выдавая их за произведения какой-то русской барышни, впрочем неопубликованные. Сама же читала их вслух под фортепьяно (петь она стеснялась), а аккомпанировал повар Петр, которого этому делу обучил ксендз гуситской церкви, что возле Императорских Лазней, пан Вострачек, пьяница, но вегетарианец.

Сам пан Ковальский, с тех пор как стал называть себя Карлом, в честь Карла Циглера, почти уж и забыл, что когда-то его звали Мечислав, что он поляк и, стало быть, добрый католик: его влекло на большую воду, куда-то прочь. Но не в Париж, а в Бретань, потому что, всматриваясь в себя во все зеркала, которые только попадались ему, он обнаруживал себя потомком кровожадных галлов. И вывел отсюда теорию своей особенной нездешности, которую винил во всем, все оправдывал, тайно гордился и которая требовала

от себя каждодневных усилий и даже тренировки. Так же, как самые настоящие французы, Карл Ковальский придумал себе спящие гены друидов. Этих друидов истребили проклятые римляне-итальяшки и ассимилировали вонючие лохматые франки. А остатки этих самых галлов должны были обитать где-то на меловых утесах Бретани. А до них так далеко, что здесь, в Рудных горах, он, галл, к тому же архитектор и выпускник Пражского университета, смотрелся весьма инородно. Как памятник Джордано Бруно на открытке, который исподлобья, из-под капюшона, с укором смотрит через Тибр в сторону собора Святого Петра.

Когда пан Ковальский получил заказ на дом, он уже знал, что это не просто заказ. Первый заказ. И первые по-настоящему серьезные деньги. И не в пани Ружичковой дело. А в том, что это его свершение. То самое, что будет после, когда придется постареть, стать рухлядью, первую половину дня просиживать в Мельничной колоннаде, а вторую в погребке возле костела с чашкой давно остывшего шоколаду. Дом. Его же видно отовсюду. Обыкновенный. Как кусок твердого сыру... От него даже пахнет Ружичкой...

Ничего. Скоро он свое получит. Скоро он будет жить в моем доме... Обязательно с сатирами, гроздьями винограда, хмеля, шелковицы и инжира, нимфами, масками, тритонами, маврами, ящерицами... Крыша остроконечная. В четыре ската. Покатая. Черепица. Горгуйли по всем скатам. И башенка стрельчатая, как на костеле. Медь с бронзой. Два балкона. Пилястры. Портик.

Ружичка в парике, камзоле и бантах...

Он давно уже это все придумал. Нарисовал. Потом взял в акварель. С пейзажем: склоны гор, октябрь, такой стылый, прозрачный, в паутине фиолетовых, лиловых ветвей...

Дом, если бы не Ружичка, вообще надо было лепить как Бог на душу положит. Заполнять всякое пространство. Чтобы то, что сидело, теснилось, громоздилось в голове, прямо вырастало бы на поверхностях, углах, крыльях, на стенах, крыше, вокруг и вместо каминных труб, на карнизах, над парадным входом и черным выходом...

Такой дом, к которому будут возвращаться. Потому что всегда останется то, чего не увидел, не досмотрел, такой дом, про который никто никогда не сможет сказать: «Я там был», а всегда будет казаться, что вовсе и не был. Такой дом, чтобы, даже повернув от него по лестницам вниз, оставалось сомнение, а верно ли остался он там, наверху, и не показалось ли, не померещилось ли ненароком, что дом этот имеет обличье, лик и облик, сотканный из всех этих лесных жителей, тритонов, нимф, и легкую, словно в шутку вылепленную, парящую крышу, которая вот-вот взлетит и будет парить над Теплой.

И останется в небе как оттиск. Не озера, холмы и перелески, не гуляш в городе Зноймо, не запеченный карп в харчевне возле Анны в Седлице, а дом. Не вкус горячего хлеба с темно-коричневой, как у белого гриба, панцирной коркой, а стены. И звук камня, по которому цокнули сталью. Рассып-

чатая нота. Даже если все обветшает, сгорит, рухнет после землетрясения, все равно останется хоть что-то: голова сатира, обломок пилястра, как на римских форумах...

Дом заматереет, осунется, станет прошлым. В него будут забредать, на него станут озираться, и, пока будут топтаться на одном месте, не узнавая ничего, прошлое будет сыпаться, как рыжие иголки с рождественской ёлки, а вместе с ними брызгами, вдребезги, в пыль полетят стеклянные игрушки: феи, маги, зайчики, шары, гномы... Вот только что оно искрилось, лучилось, улыбалось тебе от уха до уха оттуда, с той стороны жизни, а ты ввалился, как небритый мужик с охоты: «А вот и я!»

Бац. И прихлопнул единственное в мире место, где мог спрятаться о самого себя. Теперешнего...

Конечно, он показывал чертов план. С цифрами, размерами и в масштабе. Вносил поправки. «— А это что за рыбы? — Горгуйли. — Понятно. А вот эти... как их?.. — Наяды. Тоже горгуйли. — Гм. И зачем их столько? — Ну, это просто водосточные желоба. Только красивые. В Вене такие, в Париже... — В смету входит?...»

А потом лепил дом, как пряник из теста. Оставалось довершить только тот фасад, который выходил на спуск...

* * *

...Пан Ружичка и в самом деле не собирался идти в оперу. Он вообще никуда не собирался. Не потому, что не любил лицедеев, а не любил и даже презирал, и не оттого, что знал, как нелепо выглядит рядом с пани Ружичковой, и не в силу каких-то неотложных дел по хозяйству. Ему было до опустошения плевать, чего и как планирует этот придурковатый каменотес. Этот на «ский» из тех, которые имеют одноразовую тайную мечту размером тысяч в пять годового доходу, и чтобы непременно где-нибудь заседать — все равно, в каком комитете или комиссии, при этом ничего не делать, но чтобы его фотографическая карточка была хоть на какой-нибудь афише.

Шашни с женой? Тоже мне, новость.

Пан Ружичка никогда не рассчитывал не то что на любовь, а даже на сочувствие. К нему, разменявшему пятый десяток лет смекалистому дикарю, на которого 22-летняя поэтическая цаца из Пльзеня смотрела так, как обыкновенно смотрят дети на филина Йозефа, что с незапамятных времен спит, с распахнутым правым глазом, в огромной клетке в Императорских Лазнях: с восторженным ужасом. В голове у нее самой роились противоречивые мечты о Вене.

Он бы и не женился, да дом был хорош. Особенно тем, что стоял на уютной тихой улочке, кривоватой и тупиковой, упиравшейся прямо в склон горы: место безлюдное, сюда иногда забегали кабаны, — то, что нужно.

Беда была в том, что папаша пани Ружичковой ни в какую не соглашался уступить этот дом, кроме как через женитьбу: сам пан Ружичка имел доход и

с театра, где он держал буфет и крошечную пекарню, и с трех Лазней, куда поставлял вафли. Дом он хотел просто малость подремонтировать, крышу перестелить, заменить черепицу на кровельное железо, но пришлось-таки жениться. Бог с ней. И раз жена решила скрасить одиночество и слегка, что, в общем, вошло в моду и считалось прогрессом, удариться в адюльтер — слегка! — ну, что ж. Пусть дети развлекаются. Пусть даже заведут ребеночка: ему, пану Ружичке, все равно (возраст!) надо становиться папашей или дедушкой: а толки... Они всегда идут, эти толки. Кому они мешают. К ним привыкают, как к погоде.

Так что пусть себе послушают оперу. А ему нельзя.

Впрочем...

3

— Добрый вече... день, пан Ружичка. Позволите?

— Да вы уже вошли.

Пан Ружичка слегка повернул голову, чтобы этого ляха передернуло от его грубого, толстоносого профиля, от жестких, торчком, похожих на усы, рыжих, почти красных бровей, которые он никогда не подрезал, от ушей с длинными мочками, от двойного щетинистого подбородка...

— В самом деле, пан Ковальский, можно сказать, что уже и вечер. Такая нынче весна... И вальдшнепа, верно, не будет.

— Да. Весна в этом году... Собственно, вы уже смотрели новые расчеты?

— Нет. Не смотрел. Зачем? Полагаю, вы уже все давно обсудили с женой... И наверняка пришли с новой сметой.

Пан Ружичка нарочито по-мужицки, локти в стороны, подкашливая, сел за огромный, старинный липовый стол, тяжелый и совершенно пустой, если не считать глиняной бутылки с фернетом, кофейника, двух крошечных стеклянных рюмок, фаянсовых чашек и хрустальной сахарницы, из которой торчали почерневшие от времени щипцы.

— Прошу. Правда, кофе уже того... Ах, простите, запамятовал. И что, совсем никогда не тянет пропустить, например, за покером или в сырую погоду?

Пан Ружичка пошарил пальцами по столу, зачем-то нацепил очки в стальной оправе, сдвинул их на кончик носа, взглянул поверх на архитектора, потом снял: «А ведь ты, ангел мой, поди, еще полгода назад думал, что мир — это большой мешок, туго набитый рождественскими крконошами, и у каждого в зубах по золотому ореху. А сунул руку, и вместо золотых орехов во что-то вляпался, только еще не разобрал, что в дерьмо. А сейчас до тебя мало-помалу доходит, что тебя в этом самом мире, оказывается, никто особенно-то и не ждал. И не ждет. И что самое-то, ангел мой, ужасное: дерьмо в этом мешке — исключительно твое собственное. Такое вот будет у тебя открытие. Ну, не ты первый...»

— Все-таки, пан архитектор... столько трав... и липа... А вот пани Ружичкова по фернету большой специалист! Причем матушка ее, говорят, даже переписывалась с этим итальянцем, как его, изобретателем... — Ружичка в упор посмотрел на верхнюю пуговицу пиджака Ковальского. Пришита она была вопиюще: нитки клубком обмотаны у самого корня, один конец безбожно топорщился обкусанной пикой, и если остальные три пришиты были крестиком, то эта — двумя толстыми дорожками сверху вниз. А пиджачок дорогой, в елочку... А вот посмотрел бы ты, пуговица ты пиджачная, как она скребет простынь ногтями, когда он, Ружичка, впивается в ее плечи своим волосатым ртом... — И что ж вы думаете? Написала ему в Триест, а он ей ответил откуда-то из-под Пльзеня! Так вот оно всегда в жизни и случается. Ищешь в одном месте, а оно у тебя под самым носом.

— Да уж, так оно обыкновенно заведено, — Ковальский с трудом сдержал ухмылку. Вчера в театральном буфете спиной к нему подсели тромбон и альт из филармонического оркестра, оба с похмелья и без галстуков. Разговор сначала шел о жалованье за февраль, потом насчет будущей войны, то ли с турками, то ли с русскими, потом ругали изжогу, немцев, попов, социалистов и опять изжогу, наконец, перешли к юбкам.

«— ...а понять Ружичку можно!

— Да. Нижний регистр у нее того.

— Крупноват.

— Контрабас!

— У рыжих это часто.

— У евреек.

— А она еврейка?

— А бес ее знает! Но Ружичку понять можно.

— А ее нельзя?

— И ее можно. Только я бы понимать не стал...

— Ну, значит, и тут Ружичку тоже понять можно...».

Весь город, кроме самого пана Ружички, знал и живо интересовался отношениями, впрочем, смутными, пана Ружички с Виолеттой Хорачковой, которая разочаровалась в пане Поспишиле (кашне самой купить было не по карману, да и шея него коротковата, да и с талантом у него что-то не заладилось, и засыпал через полчаса). Имя ее было первым проставлено в программке, которую пан Ковальский сунул во внутренний карман вместе с билетами.

Эта страсть стала событием, светской хроникой.

Сама Виолетта за этим следила серьезно, по-деловому, и регулярно пополняла арсенал слухов, домыслов, сплетен и опровержений. Две недели назад она разрыдалась в каварне «У Томаша» на толстых, мягких плечах пана Глинки (сценический псевдоним: на самом деле он был Паленка), который иногда, когда перед пани Хорачковой вдруг разверзалась будущность и нужна была синица в руке, замещал баритона (его имя тоже стояло в программке: он

пел Дулькамару). Из прерывистых, но внятных рыданий вытекало, что, во-первых, пан Ружичка большой подлец, потому что — то ли два месяца назад, то ли целых три — обещал развестись и бросить к ее ногам всего себя, а дом продать и увезти ее в Дрезден. А вместо этого, во-вторых, водит за нос не только ее (ее-то ладно: давно фиалка стала сеном), но и молодую жену (ах, как она по-женски ее понимает, бедняжку!), потому что бегает, боров ненасытный, к пани Поспишиловой. А той все Божья роса, об этом даже утки в Тепле крякать охрипли; все, ну вот все в курсе, кроме самого пана Поспишила, а век художника недолог, и ей глаза девать некуда перед Богом и людьми, и все в таком духе.

Пан Поспишил ринулся было набить пану Ружичке морду, но дело кончилось тем, что они минут пять постояли друг против друга, рдея брылями, выпучив глаза, прямо на ступенях костела, и видно было, с каким хрустом во рту у каждого перемалываются матерные слова. Виолетта при этом раза три подряд, поспешно, прижимая ко рту черный батистовый платочек и подобрав юбки, вошла и вышла из дома Божьего. На глазах у всех.

— Нет, честное слово, пан Ковальский. Надобно попробовать все: как ты узнаешь, нравится тебе что-то... или, скажем, кто-то, не распробовав? Вот, допустим, взять в рассуждение хотя бы чеснок: вонючая вещь, а между тем... Открытия, они, знаете, нас подстерегают...

На слове «открытия» пан Ружичка шевельнулся, полагая сделать легкий, не лишенный, как говорят в приличных обществах, известной грации полупоклон в сторону двери (услышал скрип второй, ближней к правой стене коридора половицы), обе створки распахнулись, и пан Ковальский, вместо того чтоб тоже поклониться, взялся поправлять галстук.

«А вот тебе, спирохет ты бледный, и маргаритка!» — подумал Ружичка.

...Каждое утро, вот уже два года, пан Ружичка читал стихи, которые она писала на аккуратно обрезанных квадратиках оберточной бумаги прилежным, с легкими завитушками, почерком. Иногда новых не было, и пан Ружичка перечитывал старое, стараясь не запоминать, а все равно знал наизусть. Особенно нравилось ему, когда он обнаруживал только самое начало нового стиха: первую, перечеркнутую несколько раз строчку, поверх которой разбросаны поспешные кудри уже чего-то совершенно другого, которое, он знал, обнаружится днем позже на другом квадратике бумаги — завитками и с отточиями. Она обожала отточия.

Пан Ружичка знал, где тайник (под матрасом, в ногах), и, обыкновенно, присаживался на самый край, чтоб не помять пышное, в павлинах и закатах на вершинах конусообразных холмов, китайское покрывало:

Я дарю тебе просто стихи,
Этот сонный букет маргариток
Из слиянья любви и тоски.
Я дарю тебе несколько строк,
В море нежности — капельку грусти.

Моей робкой печали росток
(тут пан Ружичка, припомнив именно вот это место, хмыкнул во второй раз),
Он в тебе, и уже не отпустит...

Сегодня — пани делали туалет особенно долго — он прочитал, сначала про себя, потом прожевал губами полушепотом, наконец, вполголоса стих, посвященный, судя по всему, Ковальскому. И нашел его... ему очень понравилось вот это самое «нашел его»: пан Ружичка покатал выражение так и сяк, взвесил, поднатужился припомнить, где же это он его слышал, не вспомнил, но привкус был литературный — в общем, этот стих он нашел лучшим из всего ею написанного:

Вы все, проваливайте из моей жизни.
Дверь, потрудитесь, закройте.
Да поплотнее.
И ты уходи, видеть тебя не...
...хочу, очень хочу, чтобы ты был рядом.
Знаешь, а ты не узнаешь об этом.
Комната пропиталась нашим неразговором...

«Комната пропиталась...» Пропиталась... А пропос, обпилась, пропита сласть, власть ластится всласть.... В стихе сидел какой-то ежик. С острорылой смышленой мордашкой. Он шевелил усиками, постреливал глазками, что-то пожевывал, вынюхивал, чем-то похрустывал, почавкивал. Ему было вкусно. Так вкусно, что завидно.

Ни с того ни с сего вдруг представилась ему его собственная юность, свернутая в колючий клубок, которую наспех углем намалевали на стене туалета в погребке. И пахнет она опилками, и там какая-то толстощекая Инга с однотонным, как мамины чулки, которые всегда сушились над плитой, горчичным выражением лица. И вот ее-то я и любил? Вот ее-то, которая теперь сама похожа на застиранный, растянутый пододеяльник? И зачем все это держать в памяти? И есть ли эта самая память вместе с юностью, которой не было, а если и была, то лучше об этом молчать, потому что ничего оно не значит, и пользы никакой ему, пану Ружичке, не принесет и не принесло, а только стыдно, стыдно и обидно — неизвестно за что.

Умный, дельный, справный ежик, ежик с фаянсовыми зубками и полными мохнатенькими щечками дышал, сопел, подмигивал пану Ружичке из самого нутра этих слов, составленных в непонятном, неправильном, но в совершенно продуманном, определенном, точном порядке. Таком порядке, что поменяй слово или убери его, или переделай так, чтоб все сверкало, как новенький лакированный крконош — и все исчезнет. Сверкнет, вспыхнет, как пух под искрой из трубки, и...

Оно имело форму некоего... ну что вы, какого там заклинания... Вот прямо откровения. Открытия. Даже призыва. Сокрушительного, как взгляд опытной проститутки. В упор. Это самое оно было до того верно и точно, что пан

Ружичка решил, даже до того, что только еще предстояло ему сотво... — нет, какое-то другое слово... воплотить? содеять? — решил его немедленно присвоить себе. Изобретение было полезным. Пан Ружичка рассмотрел в нем то, что обязан видеть всякий ушлый, сметливый, деловой человек: пользу. Хорошее, на вырост, вложение. Потому что из этого откровения могла получиться готовая форма новой... нет, даже не религии, а что-то вроде универсальной шестеренки, посредством которой можно было вращать жизнь в любую нужную тебе сторону, не отвлекаясь даже и на такую полезную вещь, как чутье. Ведь чутье, предчувствия и всякая тому подобная чепуха, как в шутку заметил в прошлом году на Пасху заезжий ксендз из Анны-в-Седлице, это когда у совести болят зубы:

У людей есть свойство —
Уходить.
Не прощаясь.
Не давая обещаний.
Не люблю мучительных прощаний.
Не люблю «до встречи» говорить.
Чувства (вот-вот!) будто жили вечно,
Но ушли.
Отошли, как корабли с причала
(вот где она их видела, эти самые корабли?).
Корабли — как люди из металла.
Они любят без прощаний уходить...

...Пани Ружичкова и в самом деле мечтала как-нибудь, когда все устроится (ну, как-нибудь так, само собою, вдалеке и без ее участия, а ее пригласят), прославиться. Она сочиняла с глубокого детства, потому что в семье ей запрещали не просто врать, а даже быть не совсем точной, потому что если обед в 12.30, то это именно двенадцать тридцать пополудни, а не полпервого. А врать она обожала, потому что это, во-первых, было грешно, а во-вторых, и именно потому, что грешно, так сладко.

Читателей у нее никогда никаких не было, да и быть не могло до тех пор, пока пан Ковальский однажды не попросил ее — за ужином, в присутствии мужа — спеть.

Она спела. Просто села за рояль и спела на тут же придуманный мотив (всего четыре аккорда) свой детский стишок про пана Крконоша, которому никто ничего не подарил на Рождество, хотя сам он всю ночь разносил по домам подарки.

Пани Поспишилова звонко хлопала в ладоши, пан Ружичка выпил две подряд рюмки сливовицы... Когда вышли провожать гостей и решили прогуляться вниз до театра, она как-то, случайно будто бы, проговорилась, что, собственно, песенку придумала сама, а Ковальский тут же взял с нее слово, дескать, он искусству давно не чужд, и людям с тонкой кожей надо общаться,

и что никто не поймет в этом сонном царстве, и пусть это будет тайной, как у каких-то там масонов или тамплиеров.

Ей-то очень хотелось, чтобы он... Ну не прослезился, а хотя бы сделал какой-нибудь вид, потому что песенка про то, как вот бредет дедушка темной ночью по сугробам, а в мешке у него изумруды и гранаты, он их долго-предолго, старенький, копал в пещерах, а в лесу темно, и ёлки высокие, сквозь них разве редкая звездочка блеснет (у нее там, в песенке, про звездочку), и ему тяжело тащить мешок, а нужно в каждый домик зайти, а никто ему ни кофе, ни вина горячего не подаст, и, может, это Рождество у него вообще самое последнее, и звездочка вот блеснула сквозь еловые лапы, рождественская, последняя, да не для деда Крконоша... А он ей про борьбу, про масонов...

Конечно, она понимала, что книжку ей может издать только пан Ружичка, но не издаст, а за меценатом нужно ехать в Прагу, но... Каждый свой новый стих с тех пор она читала или посылала Ковальскому и потом раз по десять переписывала набело.

Пан Ковальский не знал, равно как и пан Ружичка, что в 15 лет она страстно влюбилась в уличного рисовальщика, посредственного, седого, грустного, патлатого, сильно пьющего. Ее влекло к этому пану Гремлинке, потому что от него веяло сладковатым, приторным запахом самого настоящего, вольного, слегка подгнившего, как переспелая груша, порока. Этот запах снился ей по ночам. Она искала случая, случай не подворачивался. И тогда она выкрала из буфета початую бутылку сливовицы, среди бела дня пришла к Змеиному источнику, где Гремлинка изображал из себя человека, потерпевшего крушение из-за непонимания толпы, которого необходимо поддержать материально, и выпила ее прямо из горлышка вместе с паном Гремлинкой.

Надеялась она, как мечтала в часы предутренние, рассказать ему, как напишет поэму про тосканские холмы. Туманные и все в башнях, а над ними всегда моросит, а они будто перелистывают себя сами, расстилаясь, и туман переплывает с холма на холм, а на вершине самого круглого холма, скалистого, ну вот как скала, на которой у нас стоит крест, древняя полуразрушенная крепость... нет, часовня! А на воротах, ну, то есть которые в эту часовню, гербы самых знаменитых семейств, и вот она туда бредет, опороченная и в стоптанных башмаках, — одна из древнего, но обедневшего рода, а любит она старого алхимика, потому что он гений, хотя и сед, и сутул, и на одну ногу припадает.

Но ничего не произошло: Гремлинка, ничему не изумившись, выхлебал все в два глотка, пожевал губами, покрутил бородой, высморкался, извинившись, спросил, кто такова и нет ли у нее, раз уж такие дела, заодно и закурить. Папа чуть было из дома ее не выгнал, выпоров так, что до сей поры на правой ягодице толстенький белый рубчик. В общем, все стихи у пани Ружичковой, коротко говоря, были об этом: о планиде, поруганной хамским светом большой, непонятой и мучительной любви. Художник со временем оброс мифологией и сделался лирическим героем.

Вот и сейчас в рукаве у пани Ружичковой был очередной стишок, она его надеялась (всю сцену придумала еще ночью) передать Ковальскому под столом, незаметно, задыхаясь, с этим теплым мохнатым зверьком ужаса, который, перебирая теплыми лапками, карабкается вверх по горлу. Все за кофе, вот когда кто-нибудь приподнимет носик кофейника над столом и сверкнет золотистая стружка отблеска. Прямо в присутствии мужа.

— А вот и маргаритка! — вслух произнес Ружичка. И вдруг сразу, сам себе не веря, с холодной головой, не повышая голоса, произнес то, о чем до сего момента полагал невозможным даже подумать: — Видите ли, пан, и вы, кстати, пани... Видите ли, я бы давно и, уверяю вас, искусно предал бы огласке вашу мерзкую...

— Алоиз!

— ...вашу порочную связь. Которая, хотя только назревает, но есть прелюбодейство, причем на глазах мужа. Что меня бесконечно, баснословно и так далее оскорбляет, потому что вы оба считаете меня круглым дураком.

— Пан Ружичка, вы...

— Пан Ружичка говорит вам, писательница, чтобы вы заткнулись и не пытались делать из меня большего осла, чем я уже... Итак, я мог бы ославить вас так, что довел бы дело до развода, до газет и прочего, и вышвырнул бы вас из города в чем мать родила. Но! Я не стану этого делать. И вот почему...

Пан Ружичка расправил под подбородком, на русский манер, салфетку, ковырнул ножом масло в серебряной масленке.

— Мне уже довольно много лет. Прямо сказать, я уже старик. Филин Йозеф, хе-хе... Детей у меня уже быть, по всей видимости, да и не по всей тоже, в общем, ни в коем случае не может. Не так ли, душенька? Ведь мы так с тобой стараемся, этак, в поте лица, трудимся на этим, можно сказать, прямо-таки до кровавых мозолей... Ну-ну, не надо вот этого... Сидеть!.. Что, пан архитектор еще не видел твоих стертых коленок? Так покажи! Хм... Ну-с, а в силу того, что детей мы... то есть я... завести не могу, а мне, понимаете ли, все-таки хочется сойти в могилу уважаемым членом общества, у которого есть все к тому основания — то есть дом, дети и, надеюсь, даже внуки... наследники... Стало быть, продолжатели рода: все они будут, разумеется, носить только мою фамилию... Короче говоря, сделка состоит в следующем.

Ковальский проследил, как нож Ружички легко, словно на учениях, снес верхушку варенного всмятку утиного яйца, как желтые от табака зубы вошли в проперченную плоть буженины...

— Вы продолжаете встречаться. Вы должны встречаться. Более того, согласно сделке просто обязаны встречаться. Без этого ничего не работает. Встречаться вы будете как страстные молодые люди. Ведь вы же страстные, а, Ковальский? Вот и встречайтесь. Раз в неделю, по пятницам, вам хватит? Хватит. Ну и еще когда у меня дела в Праге. Но за это ты, архитектор, не получишь ничего, ни гроша, и доведешь весь дом до ума. Ты сделаешь его таким, какие

бывают только в Вене. Или в Риме. Это должен быть не дом, а бельведер. И ты сделаешь его таким потому, что делать будешь не для меня, а для нее, ведь ты ее любишь, да, ваятель? Ну и для себя и для своего отродья, которое, когда вырастет, знать не будет, что на свете есть — или был — какой-то там Ковальский. Зато после моей смерти ты унаследуешь все. Дом, все мои дела, счета в банках, даже всех моих крконошей... Мы составим завещание прямо сейчас. Условие: никогда не осквернять супружеского ложа. Моего кабинета вам будет достаточно, ну и еще есть гостевая в мансарде. Второе — никогда впредь не писать этих поганых стишков. Ну и не дай Бог я узнаю от кого-то со стороны, что вас видели там-то и там-то. Если не принимаются эти условия, то что ж... Я поступлю так, как обещал, то есть как и должен поступить всякий на моем месте. Хотя всякий прибил вы вас сейчас же прямо на месте. Да, и еще... Если вы, молодой человек, попытаетесь сбежать или, что еще хуже, бросить мою жену после того, как я... В общем, на этот счет я тоже побеспокоился. Даже не пробуйте.

Ружичка слушал себя с восхищением. Он слушал себя так, как обыкновенно вслушиваются в какую-нибудь жуткую историю дети, где-нибудь на чердаке, в сумерках, может быть, вот прямо на чердаке его дома, прямо под задницей какой-нибудь фальшивой наяды. Он слушал себя словно проповедника, гения, вождя, трибуна, которому внимал с подножия холма: и этот гений внятно излагал некий стройный, ясный, до последнего атома продуманный план мироустройства. Сомневаться в котором невозможно. Ровный, обыденный как оконное стекло, голос звучал со стороны. Слова складывались в картины, картины в параграфы, параграфы в пункты, подпункты... Затем дополнительные условия, соглашения сторон, ответственность сторон — наконец, дата, подпись, печать.

Кто составил этот план и каким именно образом, не обращая внимания на какого-то несущественного пана Ружичку, тем не менее заставил его усатый, полный буженины рот привести этот план в движение, Алоиз Ружичка не желал знать и доискиваться до понимания: настолько это было прекрасно. Совершенно. Это было похоже на изумление мальчишки, в первый раз, ни за что, вопреки себе, не веря своим рукам, убившего из рогатки снегиря.

4

— Алоиз, что ты... как же ты... Скотина...

— Да? И это говорит... как это там... мастер слова? Э? Поэт? Почему же не мокрица, не сволочь, не сатрап, не боров ненасытный, не... Да мало ли добрых слов в нашем великом и многострадальном... Меньше надо читать всякого немецкого дерьма, мой ангел. «Чудовище»... Я не чудовище, я намного хуже. Или лучше, ха-ха... Тебя стошнило в прошлый вторник прямо во дворе у куста боярышника, вон там... Показать? А между тем, не я тому причина. Не я! Хотя уж кто старается, так это мы с тобой, пан архитектор не в курсе? Конечно, не

в курсе. Откуда ему знать. И ты, конечно, говоришь ему, что в штанах у меня вареная свиная сосиска и я даже не способен помочиться стоя? Интересно: как ты это ему говоришь? Иносказательно, сквозь слезы, краснея и задыхаясь? Или как прожженная курва сопляку, который ради нее спер из дома фамильное серебро?

Пан Ружичка ощутил прилив искренности. Искренность всегда имеет своим истоком какое-нибудь действие, неважно, какое, подлинное или фальшивое, честное или подлое, но действие. Порыв. Поэтому искренность может быть насквозь лживой, но при этом кристально чистой.

Это большое искусство — лживая искренность...

Алоиз Ружичка сделал это открытие еще в раннем детстве: отец как-то прямо на его глазах выкрал из материнской шкатулки серебряный медальон с изображением пьющего оленя. А когда матушка хватилась, совершенно искренне обвинил ее в том, что это она сама заложила медальон, с тем чтобы дать денег своему любовнику, которого у пани Ружичковой быть не могло, и даже ударил ее по щеке...

Алоиз внимательно наблюдал из-за огромного отцовского кресла, и ему совершенно не было жаль матери — вечно тоскливой, пьющей какие-то отвары, с несчастьем в чуть выпуклых белесых глазах и вместе обожающей всякое несчастье. Особенно изумило его, как лихо, с каким жаром отец смешивал в кучу ворох разрозненных, мелких, но очень точных, убедительных деталей и деталечек, одна или две из которых неопровержимо доказывали, что он никогда знать не знал, что в доме имеется не только этот медальон, а вообще какая-то там бабская шкатулка.

Отец явил воплощение оскорбленного мужа — и прямо на глазах сделался этим самым подлинным воплощением. Короче говоря, мир рухнул, оказалось, что правда — это всего лишь изнанка искусного вранья, а вранье намного интересней любой, даже самой высокой, а потому очень пресной и скучной правды. Оказалось, что ложь возбуждает и имеет свойство делаться правдой точно так же, как какой-нибудь химический элемент в колбе под воздействием нагревания или, наоборот, охлаждения. И когда это происходит, появляется убежденность, а затем уж и искренность.

Ружичку в данном случае как раз и охватил прилив искреннего, рафинированного возмущения первого отжима. Такого, какое бывает, когда виновным в драке учитель назначает именно тебя, хотя ты в этот момент отлучился пописать.

— Алоиз, клянусь тебе, кроме тебя.... И потом, между нами пока...

— Ну-ну, маргаритка... Я же не обвиняю. Я тебе не Шеррингтон какой-нибудь с шестыми чувствами... Я даже рад. Искренне. Потому что у меня будет Иван Алоиз Ружичка. Ну и еще потому, что теперь ты, наконец, станешь настоящей поэтессой. В конце концов, неважно, кем быть, важно — кем стать.

Пани Ружичкова — самой показалось — выбежала из кабинета. Очень хотелось, чтобы с пунцовым лицом и в ярости. Не получилось. Поклонилась, улыбнулась и скользнула в створки двери.

Вдруг в глаза ему бросилась тонкая голубая вена на шее: такая же точно, к какой он вчера прижимался ртом, потом вдруг захотел перекусить, а она взбухла и перекатывалась под пальцами...

Тело пока не нашли... Рано еще. К концу дня, верно...

И следом последовала прозрачная, как острый сколок льдинки на ладони, окончательная мысль. И все, чем озарило накануне, все, что было минуту назад приговором, хоть и обидно, будто ото рта отняли рюмку фернета, но теперь уже не имело никакого смысла.

Он понял, кто будет виноват в душегубстве. Убийца стоял прямо перед ним и крутил большим и указательным пальцами неправильно пришитую пуговицу.

У пана Ковальского между тем зябли ноги. В голове лихорадочно крутилось: а что, как этот боров узнает — или уже знает? — насчет Виолетты? А может, она сама ему?.. Дура... Было же предчувствие... Или кто из театральных?..

С Виолеттой у него не назревало ничего — с такими женщинами обыкновенно никогда ничего и не назревает, — а просто остался у нее ночевать, как на постоялом дворе. Брел, непонятно зачем и откуда — рассуждая не то о предках, а скорее, что надо бы новые брюки — по Моравской, отметил: а вот в этом доме вроде бы Виолетта комнаты снимает, поднял голову вверх, свет в окне поманил его, как муху, просто дернул за шнурок звонка — и остался. Она ему часа полтора показывала альбомы с фотографическими карточками, где она в образе, хохотала, зубы во рту спелые, влажные, спела свою ариетту, он аплодировал, а в постели оказалась писклявой, болтливой и ненасытной, как дворняжка.

Да, конечно, за нею давно и пышно, на выезд, с цветами, ресторациями и провожаниями на пролетке, с жестикуляцией и взорами, по-испански ухлестывал пан Паленка. Дулькамара. Потрясающий бас, существовавший только для того, чтоб делать карточные долги, и жил, по доброте почтмейстера, в мансарде в здании почты, а вход со двора. Этот Паленка открыто ревновал ее — в городе напрасно ждали рукоприкладства — к пану Поспишилу: всякий знал, что пан Поспишил иной раз забегал к пани артистке на огонек.

Но, несмотря на обнаженную интригу и светские сплетни, никому (потому что одно дело сплетни, а вот все прочее как-то не очень хорошо, смешно и даже как-то противоестественно), никому и дела не было, что любил ее, причем страстно, молчаливо, по-мужицки, как любят своими руками сработанную водяную мельницу, как любят приобретенную на первый честно заработанный капитал настоящую фарфоровую трубку, всего один человек — пан Ружичка.

Может быть, только сейчас, по ту сторону плотской жизни, до Виолетты наконец дошло, что миру на ее голос было совершенно наплевать.

А вот пан Ружичка любил ее один во всем том мире, от которого благоразумно ее и избавил. За что она, скорее всего, ему теперь там и благодарна, и единственное, о чем сожалеет, так это что не сумела переступить через некоторое отвращение: стоило бы и потерпеть ради тихого счастья одинокой женщины. Подумаешь, волос рыжий у него, противный, из ноздрей торчком и колется... Это было последнее, что она ему успела сказать.

А до этого он вошел в уборную, закрыл на два оборота дверь, бросил на столик перчатки и молча набросился... Сам виноват. Поспишил ее просто изнасиловал, а кому об этом скажешь? Не девушка. Взял прямо в гардеробе, после репетиции сидели в каварне у Томаша, так вот прямо там, на чьем-то пальто: просто скинул на пол. Завернул руку за спину, рот лапой зажал, за пять минут управился. Не кричать же. Ну, стал ходить... Думала, если этот Крконош узнает как-нибудь, то перестанет тянуть с разводом: целый год клялся, умолял и все приводил всякие причины: вот, мол, долю у Поспишила выкуплю, поставки переведу на себя, потом этот архитектор дом достроит...

— Ты бы хоть кусты свои из носа выдернул. И покурил бы, что ли... а то кроликом тушеным...

А ведь хотела тем вечером венских конфет.

Сварила бы кофе с корицей и взялась бы мечтать о том, что ей, для того чтобы обеспечить старость, до смерти нужно попасть в город Духцов. Это по пути в Зайден, в котором когда-то вся эта мышиная история с дроссельмейером случилась. Потому что в Духовце при библиотеке, говорят, служил шевалье де Сенгальт. Она уж второй раз кряду перечитала «Историю моей жизни», так вот там он ее и написал...

Такой мужчина...

Говорят еще, что мать у него была артисткой и пела в разных театрах... А жил с бабушкой. И вот однажды у него кровь носом пошла, и никак не могли ее остановить, и бабка его сводила к ведьме... И вот выходит, что есть у нее Ружичка, который, будто сглазили его, все крконошей своих выпиливает, а от наших гор до зайденовского Щелкунчика обязательно нужно ехать через этот Духцов... Ведь не случайно же Ружичка режет крконошей, а до Духовца рукой подать...

И почему у нее этот Ружичка, а, например, не у...

И ведь не случайно же в нашем театре вдруг решились на «Любовный напиток», а там Дулькамара со своими зельями... Паленка когда вот эту сцену с торговлей проходит, ну вылитый Ружичка... И под плафоном, под расписным театральным плафоном, будто кто за меня фразы допевает... Страшно.

Вот уехать в Духцов и сделаться при библиотеке смотрительницей. Очки стану носить. А там какой-нибудь немец-аптекарь с венскими конфетами...

Пан Ружичка резво, как драгунский оберст, до мяса остриженным грязно-желтым ногтем большого пальца смахнул город Духцов, аптекаря и венские

конфеты с усов. «Ну, что делать, архитектор. Так ложатся кости… Не быть тебе папой Ивана Алоиза Ружички. Извини».

— Что у вас в кармане?

— Простите?

— В кармане у вас что?

— Но это…

— У вас на лице написано. Уж больно вы торжественный. Думаете, такой большой секрет, в котором часу вы купили билеты?.. Давайте, давайте. Вот, положите под пресс-папье. Спасибо, что озаботились, пан Ковальский. Искусство нам прививаете, а фернет не пьете… Мы с женой редко в театре бываем. В смысле, вместе. А теперь пойдем, так сказать, всей семьей. Маргаритка вас проводит…

Пан Ружичка отвернулся к окну. По склону тяжело, скачками, карабкалась неведомая птица с толстой розовой грудкой и черно-белым хвостом.

5

…Пани Ружичкова, забыв стереть с губ улыбку, шла по длинному коридору, который все никак не кончался, снова, хотя хотела обойти, угодила каблучком на скрипучую половицу, коридор сужался, теряясь в полусонном мареве, словно Стара Лоука в начале ноября…

Ей вдруг захотелось длинного драпового пальто, с узкими рукавами, серого и с крупными пуговицами, а на голове чтобы шляпка как у пани Смеликовой, скорлупкой и в мелких хрусталиках по краям, а с обеих сторон чтобы шлепали, держась за руки, не то дети, не то внуки… Она подумала, что под серое пальто и под внуков хорошо бы выкрасить волосы в нежный липовый цвет, а лучше в цвет меда…

И шарфик обязательно. Легкий, тонкий. Шею ведь нельзя будет показывать, когда внуки…

Нет. Это потом. После, когда уже завершит карьеру. Когда сцена опротивеет. Когда публика… Вон она, публика. Где? Вена? Прага? Будапешт! Все в лакированном, темном дереве, багровые тона, тяжелые, с золотыми кистями, шторы, свечи на круглых одноногих столиках, бесконечные шкафы с книгами, а книги все с золотым обрезом, кожаный переплет; и легкий гул мужских баритонов; и запах фернета, табака и какого-то мужского одеколона, крепкого и пьянящего…

Она читает. Она напишет потрясающий венок сонетов, может быть, даже поэму. И будет читать. Пианист, седой и стройный, в очках, перебирает клавиши… скажем, пусть будет Шуман… нет, этот… В общем, чего-нибудь томное и таинственное, и негромко. Она читает, и гул мужских баритонов смят и скомкан. Тишина. У нее скатывается слеза. Она шепчет последнюю фразу…

Аплодисменты.

Жизнь как-то сразу вновь наполнилась до краев радостью чуда.

Пан Ружичка и весь этот кошмар показались просто вчерашним кухонным скандалом. Вот как давеча с пани Смеликовой: зашла занять десять флоринов и кориандру, а еще за корицу должна, а говорит, уже отдала…

Пани Ружичкова впорхнула к себе, быстро вынула и раскинула альбом, мгновенно, каракулями, сломав карандаш, записала видение, не рифмуя, прозой. Перечла. Нет, надо кому-то это все рассказать. Про вдохновение, про коридор и Стара Лоука, про детишек и пианиста, про венок сонетов… Кому?

И вдруг поняла, что не Ковальскому. Точно не ему. Нет. А вот Ружичке — теперь уже да, непременно. Ему. Одному. Только после театра. Наедине, когда в горле еще будет першить от крика…

Замуж, скажет она ему, я вышла так, будто мне папа на день рождения купил дорогую дамскую шубу. Какую покупают на всю жизнь. Чтобы висела в шкафу, переложенная нафталиновыми шариками, а одевать на выход. И только если выезд в Прагу. Под Рождество. В конце декабря. Главное, я и сама именно так и хотела — чтобы шуба была дорогая и на всю жизнь. На самом деле. Всегда хотела на всю жизнь. И эта самая жизнь сейчас напугала ее так, что если бы пан Ружичка побил ее, она бы и это сочла за подарок и награду судьбы. Потому что если быть с поэтом, а не дай Бог, выйти, в итоге, за него…

Ей представился пахнувший сыростью и перегаром Гремлинка с повадками и выражением лица Ковальского… Если это случится, то что ж? Придется стареть. Неотвратимо. Мгновенно. Будто вышел живодер и пристрелил бездомную кошку. Корпеть над сбереженьями. Экономить. Руки покроются желтыми пятнами, вены вспухнут, вдоль носа лягут дряблые канавки…

И шубы не будет. Никогда. Поэт сопьется, будет ночевать у буфетчицы: она ему стихов по ночам читать не будет, а накормит баварскими кнедлами…

Да. Одно дело — прочесть под гул мужских баритонов про то, что вот пустилась я наядою, нагая, по морю жизни, оставив прошлого одежды на острых скалах. А другое — взять да и поплыть. По бурному-то морю. Мокрому, грязному, там медузы и чайки. Будущее всегда казалось ей разинутым клювом голодной чайки. Напугала однажды в детстве — кормила уток в Тепле, а она налетела, огромная, с красными глазами, вырвала лепешку прямо из пальцев… Вот и сейчас этот клюв стукнул в окно, клацнул, еще раз, еще, и спрятался в облако. А облако над Теплой, и облако ползет, ползет, напирает на стекло…

Пани Ружичкова перевела дух. Поправила волосы за ушком. Сняла перчатку. Размотала бинт на пальце. Поднесла к свету, потом проделала все в обратном порядке. Открыла створки гардероба, улыбнулась и положила себе перед объяснением с мужем надеть черные подвязки. А Ковальскому она все скажет на спектакле. Не в антракте, а… Ну, где-нибудь ближе к концу первого акта. Он человек чести, в конце-то концов.

6

...Даже у совсем молоденьких женщин Юлий Адамович подчас обнаруживал натренированное выражение глаз — как у второго секретаря райкома комсомола, которую звали, кажется, Зиной. Выражение готовности любить исключительно силою мысли. Причем мысли предельно простой, понятной и сжатой в пружину. Как лозунг: «А что ты сделал для коллектива?» Губы ее при этом навевали совсем противоположные идеи, а грудь словно была выдана под роспись пайком в майские праздники.

Одним словом, театр был полон дамами такого рода. В их повадках сквозил европейский менталитет и мечта угоститься коньяком в крошечном буфете под бронзовыми амурами за его, Юлия Адамовича, счет. При этом он, Юлий Адамович, должен ясно сознавать, что рассчитывать не на что...

Марина Ефимовна — Юлий Адамович оценил — еще по пути, поскользнувшись на брусчатке и явив (разумеется, невзначай) змеистое бедро, — заметила, что сапожки у нее — ну, вот только что купила со скидкой, а ноги уже промокли, и после театра надо бегом в отель, а там: «Вы глинтвейн готовить умеете?»

У театра сфотографировались. Пахло мокрой каштановой корой, горячим вином и карамелью. В вестибюле играли что-то австрийское фрачные скрипки. Под потолком мерцала тонкая пыль. Юлий Адамович вдруг не поверил, что вокруг самые настоящие паны и пани: вон тот, высокий, с костистым лицом и в круглых очках в стальной оправе, в сером пиджаке, с шарфом вдоль лацканов, или вон та, слева, вся — декольте с гранатовым колье на загорелой веснушчатой груди, а на плечах что-то соболиное... Переобувались там, в гардеробе... А у него на рантах песок с солью. И под джемпером рубашка сбилась.

— Вы меня еще пирожным в антракте должны угостить. Миндальным, — Марина Ефимовна тоже была пани, и глаза у нее, Юлий Адамович похолодел, вдруг стали совершенно зелеными. — Потому что я жду овеществления.

— Чего?

— Страсти. Овеществления страсти. Явления ее, так сказать, ин корпо. Туфли на высоком каблуке вы мне не купите, в ресторан на «феррари» не повезете... пиццу кушать из печки дровяной. Но... У нас же с вами должна как-то случиться страсть или не должна? Совсем на голодный желудок она, обыкновенно, не возникает. А на сытый как-то не до нее. Доницетти вот эту вещь, между прочим, написал вообще впроголодь и всухомятку.

Марина Ефимовна взялась рассказывать про Доницетти и «Эликсир», а Юлий Адамович между тем аккуратно водил очами по игрушечному, в золотистых завитушках, красном бархате и с роскошной люстрой на расписном плафоне овалу, следя за тем, чтобы голова вращалась прилично, и был горд собой. Нет, не случайно помстилось ему там, в пещере, что она клюнет на скрипки и дирижерскую палочку. Нос, подбородок, шея... и спина такая, будто подмышками держит учебники. Главное, два раза читала афиши у Третьих

Лазней. Один раз нагнулась: чего-то там по-немецки мелким шрифтом... Ах, как она нагнулась...

Юлий Адамович выбрал самую пышную афишу — с рагаццо в красных подштанниках и с бубном — прочел «театр», немедленно купил в кассе этих самых Лазней, быстро обежал здание вокруг и с растерянным видом двинулся прямо к предмету, который оказался Мариной Ефимовной: «Простите, но я заметил, вы афишу читали, а тут вот какая проблема. Дело в том, что у меня случайно два билета, опера, а я насчет оперы...», ну и так далее...

— Да? А я подозревала, что подойдете вчера, но у вас вчера лицо было опухшее. Хотя лицом к лицу... ну и так далее. А тем более, когда лицо на воде.

— Да. Лица тут у всех...

Она протянула ему свою кисть в замшевой перчатке, обыкновенную, надо сказать, кисть...

Раздался шелест задов по ворсу сидений. Кто-то дважды наступил Юлию Адамовичу на ногу, хотя это было невозможно. Он почувствовал, что надобно включить слух: по опыту, женщины теряют градус закипания, если не уважать их интеллект, что бы это ни значило.

— ...кажется, тридцатая. А может, сороковая, не важно, он вообще их пачками сочинял. А эту написал за неделю или две. Вы программку взяли?

— Я? Нет. А надо?

— Там все равно по-чешски. А петь будут на итальянском. А субтитры все равно по-чешски. Вы понимаете чешский?

— Вряд ли.

— А как с итальянским?

— Мольто белло аморе мио прего.

— Прямо вот так сразу?

— А что не так?

И опять в зрачках у нее слева направо просеменил зеленый старикашка, погрозил пальчиком и высморкался.

...Юлий Адамович ощущал прекрасное состояние идиотизма. Он с увлечением наблюдал за живыми картинками на сцене: вот девица с книжкой, паренек в подштанниках, потом толпа развеселых теток и мужичков в шляпах и колпаках, толстяк с тележкой, а в тележке куча всякой дряни. Очень он оживился, даже ботинком притопнул, когда толстяк и девчушка заголосили вдвоем, повторяя приятные уху «йо сон рикк э ту сей белла!». Потом ни с того ни с сего грянул хор, а перед этим на сцену вылез какой-то военный, наконец, печальный парнишка в подштанниках спел, и толстяк с тележкой грянул басом: мол, давай, налетай... Парнишка купил у него бутылку вина, хлебнул чуток из горлышка, его развезло...

В антракте Юлий Адамович с достоинством пил красное вино, очень сладкое и за 900 крон, она съела четыре пирожных и тоже пила вино.

— Поняли что-нибудь?

— Ну так, в общих чертах.

— В очень общих?

— Поют изумительно.

— Обыкновенно поют. Неморино тут у них совсем не заика.

— Кто?

— А парень, который купил любовный напиток. Он же заика. А этот толстый его развел: впарил ему бутылку бормотухи за последние деньги. Ну, тот все за чистую монету, а Амина…

— Девица?

— Да. Такая.. девочка-припевочка, книжку читала про Тристана и Изольду…

— Ах да, Изольду…

— Ну вот, она его отшила, тут этот вояка, она за него замуж собралась, а Неморино, с горя, в армию: там денежку сразу дают. Вот он на эти деньги сейчас еще этого эликсира прикупит.

— У толстого?

— У толстого.

Но когда придурок в подштанниках в начале второго действия разинул рот, Юлий Адамович потерял почву. Если оперы пишутся ради одной такой песни — пусть будут оперы.

Юлий Адамович оглянулся: справа топорщился рыжий ус пана Ружички.

7

…Пан Ковальский глянул в зеркало и отпрянул: прямо на него выцелился рыжий ус пана Ружички. Сморгнул наваждение — а просто несвежее, в мушиных какашках стекло, в глубине которого отражение кривого оленьего рога. А может, козьего… Досталось от матушки. От нее же — вон то продавленное кресло в кожаной обивке, зеркало, бюро с отломанной ножкою, а вместо нее два тома Артура Шницлера, и огромный плетенный из соломки сундук, на котором Мечислав Ковальский иной раз любил, как в детстве, полежать. Свернувшись калачиком. И погоревать: горевать он тоже очень любил, потому что где-то прочитал, что горевать поэтам полезно.

— Сволочь. Желудок. Мать твою…

Ковальский царапнул воздух ледяными пальцами и стал душить его, душить, душить… чтобы из этой рыжей волосатой пасти выпер язык, вылезла вся та гадость, которая у него там, там, внутри…

Вот ведь сейчас он, верно, открыл шкафы там, у себя, выбирает сюртук, пиджаки небрежно так перебрасывает, сорочки, галстуков у него целый ворох… «Дорогуша, а как тебе вот этот, в горошек?» А она ему — она, Боже ты мой! — «Тебе больше идет вон тот, в рыжую искорку, мой генерал, милый!» И поправит ему воротничок…

Милый… Ковальский вдруг набросился с кулаками на выкрашенную облупившейся синей краской стену, заколошматил, словно ему пять лет, а его пос-

тавили в угол за то, что соврал насчет съеденной оплатки… Потом резко сел на сундук. Выпрямился. Зачем-то вспомнил, что да Винчи похоронен в Амбуазе, и сразу после этого понял: он, наконец, совершит. Настоящее. Равное любому подвигу или злодеянию, но не меньшее. Потому что жить после Ружички, собственно, незачем. Великие вещи всегда случаются вдруг и по прихоти неких ветров, которые налетают откуда-то, где не верят в существование нашего мира…

Он открыл сундук и достал оттуда литровую бутыль чистейшего спирта. Это был последний предмет из наследства пани Ковальской, в девичестве Доры Фельцман.

* * *

— …Дамы и господа, небольшое изменение в программе! Дебют! Сегодня роль Адины впервые вместо пани Виолетты Хорачковой будет исполнять всем вам давно и хорошо известная пани Сторачкова…

Зал с легким изумлением шумнул, шевельнулся, заерзал, заулыбался, припоминая крохотную фигуристую блондиночку Хелену Сторачкову: она по вечерам пела в ресторации, в Императорских Лазнях, и имела любовника-венгра из Хеба, который обещал ей купить в Карлсбаде таверну и назвать в ее честь: Хелена. И ведь и купил, и назвал.

На первой фразе — «Куанто э белла, куанто э…» — прямо перед «кара» пан Ружичка вспомнил, где в гримерке у Виолетты лежит его крконош. В коробке для перчаток, куда она обычно кидала фантики, фольгу от шоколада и визитные карточки.

В этой гримерке, потушив свет, он грубо взял ее первый раз. Ударил по щеке. Поставил на колени, задрал юбки… Потом она, там же, спустя полгода, прилично выпив («Я, когда выпью, мне этого самого, ну… мужчину… много надо…»), рассказала про Вену. Веной она бредила. Списалась с императорской труппой. Ружичка дал ей денег. По возвращении прямо на диванчике, раскинувшись, голая, жаркая, пьяная, со спутанным колтуном волос на затылке, она сначала назвала его Тони, а потом горстью, по-деревенски, отерла рот: «Я тебе сейчас расскажу, что там со мной произошло…»

А произошло, что она там, в какой-то гостинице на Кёртнерштрассе, не дождавшись обещанного вызова от импресарио Вейнер Штаатсопер, вышла в расстроенных чувствах и почти уж без единого гульдена. Какая-то улочка с лотками, а на них виноград, яблоки, фисташки, поздние груши, миндаль… И тут к ней, будто только ее и ждал, сразу подошел коренастый, невысокого росту, с виду трансильванец. Но не цыган это точно. Затылок у него был сплошь в кудряшках и кожа цвета замши. «…Столько всяких языков знает! Сначала по-немецки мне, потом: парле ву франсэ, и сразу по-чешски: «Откуда, говорит, такое совершенство в этой казарме?» И вот они уже в кофейне, он взял ей тарелку сосисок с капустой и пива, потом повел в лавку обувщика, где-то рядом с

Петерскирхе, купил там серо-голубые, с ремешками, высокие ботики на длиннющем каблуке, отвел в гостиницу и там: «Понимаешь, он такой искусник... он мне вот сюда подложил подушку... и чтобы я в туфлях, а мне в этих каблуках неудобно... потом за волосы меня вот так вот взял... и, представляешь, спрашивает так жалобно: Виола, а можно мне... Ну, я говорю: можно...»

Потом засмеялась, стала рассказывать, как лет с пяти ее ставили перед гостями со стихами, а еще она пела и показывала балет. Ей нравилось... И еще она как-то раздевалась перед зеркалом, лет, кажется, в двенадцать, и вдруг поняла, что влюблена в ту, которая перед ней. Так любит, что хочет ее трогать, ласкать, целовать. «И потом, знаешь, мужчины... Мне четырнадцать, что ли, а может, пятнадцать... Грудь уже была, мальчишки однажды налетели, измяли всю... Там, в Императорских Лазнях... Разучивали танец снежинок на Рождество, и вот этот Франческо. Итальянец. Совсем не такой, как Тони, Тони с юга, а этот из Лекко, северянин. Глаза такие, оловянные... Не помнишь разве? Ну, был на извозе, днем, здесь, у театра, а вообще на скрипке здорово играл, и в театре, и в костеле... его еще в филармонии на бис вызывали. Когда из Вены оркестр приезжал, а первая скрипка сломал ногу на мосту через Огрже... Ну, вот Франческо. Такой... У него виски седые и вот здесь, понимаешь, волосы такие жесткие... Кожа тугая, как перчатки, а цвет, как сахар пережженный... Я вот всегда мечтала, ну, когда там у Отелло с Дездемоной... И вот, помню, на мне платье длинное, красное, я там очаг олицетворяла, который в пещере... Подошел. А от него ванилью пахнет, табаком и сливовицей... Я в кулисе стояла, там темно, только со сцены слегка таким желтым свечным отливает... Подходит он и, понимаешь, в упор на меня смотрит, и платье мне медленно так начал задирать. А у меня ноги подкосились, внутри все трясется, а делать, ну, там визжать или убежать, — в общем, делать, наоборот, ничего не хочется. Наоборот. И, знаешь, так любопытно... Я мокренькой тогда по-настоящему в первый раз стала... Платье поднял, и рукой сначала, там, везде... а после меня вот так приподнял, и прямо стоя... хорошо, что платье красное было...» ...Потом опять засмеялась, будто рядом и не было никого: «...Тони... Тони меня до моей гостиницы проводил, ти амо, аморе мио гранде... Да, и еще мне муфточку купил, из куницы, ну, вон ту... И тут записка от Карла...»

Карл Вайнер, высокий, седой, с щетинистыми висками и лицом, на котором было написано: «не рассчитывай», назначил ей встречу перед оперой. Сразу, коротко поклонившись и справившись, извиняет ли она его за неувязку со встречей (дела: срочно вызывали в Лондон), повел ужинать во «Фрауэнхубер»: шницель, картоффельнсалат, «бирен шнапс», от которого вкусно пахло сушеной грушей, яблочный штрудель, потом на коляске с откидным верхом повез ее в Шенбрунн, там в Нижнем Бельведере они спустились в какой-то погребок, с крошечным зеленым веночком над дверью, сначала пили «хойриге», перешли на «блауфранкиш»; он задавал ей всякие вопросы насчет репертуара, пристрастий, как она относится к Ирене Абендрот, «Тоске» и вообще к Пуччини,

и есть ли у нее дети... Совсем не удивился, что жить ей не на что, даже не посочувствовал. А после, в гостинице на Альбертина, вежливо попросил, чтобы она сначала ему себя показала... ну, в общем, отказать было неприлично, собственно, оно и подразумевалось с самого начала, к тому все и шло, но, слава Богу, в ее возрасте беременность почти не грозит...

В итоге этот Карл дал клятву купить ей все. Вот просто дал клятву купить ей судьбу. «Он все мои родинки целовал и массаж мне делал... Все только для тебя, Виола, только тебе...» А недавно написал письмо — вот оно! — спрашивает, как посмотрят родители на то, что ему уже 54 года...

Конечно, когда она все это выкладывала Ружичке, — изумляясь, почему он ее сейчас же не прибьет, не вышвырнет в чем мать родила, начиная уже и презирать его за то, что даже не замахнулся, оправдывая хорошую половину своей натуры тем, что искренне призналась в одном случайном, а в другом необходимом грехе, а плохую — воздаянием за отношение к себе не как к актрисе, обладать которой само по себе большая честь, а как к буфетчице, — конечно, она уже по ходу дела придумывала новые сюжетные линии, подробности, детали, плела изящное кружево, которым задрапирует всю эту историю.

В этой истории, конечно, не будет никаких сосисок с капустой, пива, шницеля и картофельного салата. Не будет грушевого шнапса и дешевого «хойриге». Тони из румына превратится в страстного певучего неаполитанца с волосатым затылком и невероятным достоинством, пролетка — в шикарный черный «даймлер»; вино они будут пить в беседке над Дунаем, а любовь у них случится... Точно. В Хофбурге. В королевских конюшнях. Карл водил ее смотреть на танцующих белых лошадей, и вот, будто бы прямо там... Она уже видела, как пронзает новенькими ботиками сонный тротуар Седлице (а на шее — колье с черным и белым жемчугом), представляла лицо Каролинки, с которой вместе пели в костеле и у которой теперь две взрослые дочери, одна, кажется, уже замужем; уже чувствовала, как стелется над крышами Седлице: «Говорят, то ли немца богатого, то ли итальянца в Вене подцепила... Там такая любовь... Скоро, видать, туда и переедет...» А она будет идти по улице, спина прямая, взгляд твердый, куда-нибудь по делу, на почту, что ли... А еще лучше, если бы как-нибудь заманить в Седлице Карла. И вместе с ним, опираясь на его локоть... Нет. Она договорится с ксендзом, чтобы в костеле прошел ее творческий вечер. И чтоб от народу все аж трещало. И Карл ей после выступления букет белых роз...

В театре об этой истории, в подробностях, конечно, ни в коем случае: во-первых, репутация хоть и того, но как бы не сглазить, во-вторых, Карл запросто может навести справки... Возможности у него есть... Еще какие... Или уже навел?..

Она спросила об этом Ружичку.

Тот решил, что самое лучшее — решил, как папаша, которому исповедуется любимая дочь, хотя и потаскуха, — пожать плечами. Мол, кто его знает,

но, если человек деловой, то уж наверняка попробует проверить, потому что вложился. И, ввязываясь в игру, дал ей совет брать этого Карла немедленно за жабры.

То есть надо ему писать, но редко, не длинно и по основательным поводам, а для мужчины это что-нибудь дельное. И не связанное с невозвратными деньгами. Если, допустим, напишет, что он ей по ночам снится, а вырваться к нему в объятья — денег хватит только до Вены доехать, то, скорее всего, на один раз он ей все устроит и на том прикроет лавочку. В Вене, только без обид, такого добра, как бюсты, ноги и наивные взгляды — даже из дома выходить не надо: привезут. А вот, например, если она попросит выслать ноты первой редакции «Любовного напитка»... Это вообще повод ввязаться в переписку; он постепенно дорастет до того, что станет она ему казаться бриллиантом в короне высокого искусства, только пока еще не пристроенным, в силу дикости нравов и удаленности от мест цивилизации. Ну, и прямо-таки ринется в благодетели. Мужчины, особенно малость перезрелые или у которых рыльце в пушку и есть делишки (из кассы, допустим, украл немножко...), а надо поэтому вести публичную жизнь и мелькать в газетах, обожают быть благодетелями. Им сдается, что после того, как выведут они в люди, приоденут, обучат манерам — в общем, пристроят какую-нибудь лирическую шалаву, она перестанет быть шалавой. И у них на нее появляются неотъемлемые права. Как на недвижимость.

И тут только два железных варианта. Пан Ружичка настаивал на первом — признать эти права, терпеть и держаться ради главной цели: венчания в Аугустинеркирхе. А там видно будет — но не сразу, а через год-другой.

Второй вариант тоже приемлем, но все-таки намного хуже, потому что имеет размытые границы и сопряжен с опасностью для здоровья: стать официальной любовницей, которую выводят в свет, и, стало быть, усиленно делать карьеру. К любовницам же, однако, когда в них следуют серьезные инвестиции, мужчины под и за пятьдесят (ему ведь 54?) относятся жестче, чем к женам. Поэтому тут надо, если на кону именно вариант номер два, безотлагательно и тайно подыскивать будущую замену. Партию. То есть подбираться к более могущественному покровителю, может быть, придется пофлиртовать с директором оперы или даже министром, а может, и переспать, что скорее всего. И если Карл это почует, он может запросто стереть ее в порошок: вышлет обратно в Рудные горы, либо обвинит в какой-нибудь краже, либо просто изобьет до полусмерти, а потом уж обвинит, опозорит и посадит в поезд до Праги.

Редко, но бывает, что мужчина в этаких случаях размазывает сопли, впадает в истерику, стучится пьяным в дверь, устраивает сцены на улице. А потом берет за горло — и едет на каторгу.

Звонить? В принципе, тоже можно, но это ведь только с почтамта, а там публика, жандармы, служащие — значит, тут придумать какое-нибудь такое обстоятельство, чтобы было нужно вмешательство лично Карла. Например, директор нашего театра, дескать, давно мечтает вывезти труппу в Зальцбург,

а на кого выходить в столице, не знает, а через Прагу побаивается: там опять взялись возрождать все чешское. Главное, нужно пану директору эту мысль в голову как-то аккуратненько так поместить. Он любит сам до всего своим умом добираться и открывать новые горизонты. Ну а в конце разговора с Карлом-то промурлыкать, что, мол, вот, милый, кругом одна посредственность. Ни Рождество, ни Пасху встретить не с кем...

Обыкновенно мужчины в таких случаях любят распускать хвост. На бирюльки жмутся, а это ради Бога: дело такое, что и кушать оно не просит, и шанс провернуть культурное мероприятие, о котором непременно будет в газетах, именно с точки зрения политической, ну и, в случае чего, алиби на предмет того, на чьи деньги любовницу себе из деревни выписал.

Ну а с тем Тони, если такой искусник в кудряшках, хотя и трансильванец, можно изредка безумствовать. Изредка! Без фанатизма, потому что, во-первых, Вена хоть и большой город, да во всяком городе у каждого человека свой круг, а круги эти друг с другом сообщаются, как колесики и шестеренки в часах, в итоге через пятое на десятое все друг друга знают. Во-вторых, несмотря на широту воззрений и отеческое понимание, однако ж и он, пан Ружичка, тоже кое-чего заслуживает...

Тут она спохватилась: «Ну что ты, Алоиз! Ты лучше всех... В мире! Вот правду говорю!» ...Месяц Ружичка потратил на то, чтобы навести справки насчет Тони и что за импресарио этот самый Карл. Про первого выяснил, что из Надьварада, но румын, а не венгр, отставной фельдфебель, и лавка москательная у него. А Вайнер оказался заместителем директора труппы. В итоге он пришел к выводу, что Виолетта вовсе не поставила его перед выбором, а дала понять: счет закрыт. Ружичка свое и получил, и отработал. Это во-первых. Не зря же хочется ей «вещественных доказательств»... Понять можно: у нее такой возраст, что каждый день нужно стараться окупить то, что осталось. Груди давно — две промокашки, на животе складки, под глазами мешки, лодыжки опухают, а в прошлый раз вдруг почки прихватило, говорит, камни, и помочилась с кровью...

Но это ладно. В дело нужно вкладываться. А у нее всех капиталов только голос да вот эта чертова особенность впадать в ступор даже от шепота на ушко. Это все, что у нее есть, и она дерется за жизнь из последних своих бабских сил. Это вызывает некоторое уважение. Но еще раз, напоследок, окупить за его, Ружички, счет свою изношенную, затасканную, до сих пор не утоленную плоть — ошибка. Однако самая большая ошибка — нет, преступление — она дала понять, что он более не пан Ружичка. Не пастырь, не Вергилий, не козлоногий сатир. А вот она теперь в цене: в Вене спрос на одиноких провинциалок с прошлым.

Хотя цена, прямо сказать, приемлемая: сосиски с капустой и башмаки, это если считать за двоих, у одного плюс расходы на пролетку, шницель и литр вина, а также на номера, у другого... Однажды в Праге пану Ружичке такого

рода удовольствие обошлось ровно в сорок шесть флоринов. С обедом (шункофлеки, копченые кнедлики, гермелин, чесненка и вроде бы еще брамборачки под говядину с брусникой, ну и за каким-то чертом опостылевшая «бехеревка» ...), с ужином, завтраком, с коляской до Вацлавской площади, глинтвейном из моравского мушката «У Фердинанда», потом еще раз глинтвейн где-то На Мустку и, в конце концов, с «Милосердием Тита» в Сословном театре.

Самое паскудное, что все именно так на самом деле и было. Она на самом деле ела сосиски, запивала их пивом, на губах были усы из пены, и она их слизывала язычком, перебирала пальцами завитки на цыганском затылке, закидывала за голову вот эти свои длинные, ровные, тщательно выскобленные, совсем еще молодые ноги, которые пан режиссер запрещал выставлять напоказ...

Стало быть, он, Ружичка, теперь неопровержимо не самец, не средство и не цель, а... Нет, даже не подружка. Выеденная раковина. В которую не хочется, да просто противно заглядывать.

Ксендз из Анны-в-Седлице на прошлой неделе, перебрав сливовицы в погребке у Томаша и будучи в том беззлобно укорен, выразился в том духе, что жемчужина остается чистой и непорочной, даже когда устрица уже сгнила.

За это стоило наказать. Именно за это. За устрицу. За ее жертвенность. Ружичка всегда полагал, что в старости положено думать большими мыслями.

А казнь — очень большая идея. А большая идея требует к себе большого уважения. Идею следует приманивать издалека, обожать платонически, как Петрарка Лауру. Декламировать про себя. Как терцеты и катрены шестого сонета, который пани Ружичкова всегда читала при гостях, перед тем как, переодевшись в длинное узкое черное, помузицировать и «спеть свое». В сонете главное — алгебра и гармония. На этом пан Ружичка похвалил себя, как математически точно в антракте он повернул разговор с эликсира и Дулькамары на Крконоша.

— Но, господа, музыка музыкой, тут спорить не стану, а сюжет, как говорится, увы. Пошловат.

Ковальский взглянул на него с изумлением, раскрошив миндальное пирожное, пани Ружичкова уткнулась в бокал с красным, и кончик носа у нее слегка зарумянился.

— И чем же, по вашему мнению, он пошлый?

— Извольте: вот Дулькамара. Это, если хотите, итальянский вариант нашего Крконоша. Человек, который торгует на ярмарках всякой всячиной. Дрянью всякой. Мошенник? Ну да. Безобидный добрячок, толстячок, бабник, выпить не дурак, свой в доску, но... мошенник. Всякий мошенник обыкновенно внешне просто лапушка. Или возьмите женщин. Нет, не известного поведения, там все по закону, по-честному, там справки, медицинское обследование, сделка на законных основаниях и никаких иллюзий. А вот таких, которые с томиком Петрарки в Мельничной колоннаде гулять любят, глазами своими лучистыми

хлопают, лепечут про амуров и принцев, а раз в неделю — или чаще — ездят в Хеб на пару часиков к золотарю, от которого возвращаются будто их поезд переехал... Или вот неверные жены: они ведь не потому не верны, что им мужа мало, а просто им мало, чтобы один кто-то обожал. И разве вы с первого взгляда скажете, что женщина, у которой положение в обществе и всякие приличные знакомства, способна на адюльтер? Конечно, нет. Но — такова природа наших, господа, заблуждений. Так уж устроено, что самые непорочные глаза бывают, обыкновенно, у ненасытных блондинок-гимназисток. И еще у гимназисток, которым пора делаться бабушками.

— Да что ж это вы, в самом деле... Петрарка, адюльтер, бабушки, и Крконош мошенник! Одно к другому касательства не имеет. Все ж таки это фольклор...

— А при том, полагаю, пан Гавелка, что Дулькамара так же точно чист в своем мошенничестве и великодушии, как и наш Крконош в своем бескорыстии и чувстве справедливости. Они ровня. Одного, по сути, поля ягоды. Чего не скажешь о тех, кто ломает из себя недотрогу с одной только целью: поймать дрозда на фук. Кстати, господа, я недавно закончил своего лучшего крконоша, из пльзеньской липы, воеводской. Запах, господа, м-м-м! Вот, подарил давеча, правда, пану Ковальскому, не дожидаясь, когда же он, наконец, доведет до ума мою хижину.

— Мне?..

— Ну, скажу вам, и память у вас, пан архитектор. Стоит ли удивляться, что у вас иной раз с расчетами полная, господа, ну просто полная неразбериха.

— Но...

— Впрочем, подарки такого рода стоят гораздо меньше, чем любовный эликсир, господа! Кстати, не об этом ли вы вчера шептались с пани Виолеттой, господин зодчий?

— Да, но я... но мы...

— Пан Гавелка, не отпирайтесь! Вы же сами сказали, что вот здесь, прямо на ступенях... Ну, припомните!

— Я?

— Ну, вы еще говорили, что хорошо посидели «У тетерева», а как вышли, так и... Говорят, карпы там хороши: он их в печке запекает, а до того на пиве выдерживает чуть что не двое суток... — Точно! И пан Поспишил не сравнится. Вот как бочку, значит, с ними к нему подкатят мужики из Седлице, а карп оттуда чмокает так, сволочь, морду вверх. Ворочается. Все жирные, кабанчики такие... Вот так сразу их и в пиво, а уж потом два раза в сметану. И берет грушевые ветки, чурки липовые.

— Липовые?

— Липовые. Шишек еще ольховых туда. Оттого, знаете, дух лесной и корочка такая, будто бы медь сверху...

— Ну, вот видите... Карп — это наш любовный эликсир. И все желания исполняет. Вы, верно, уж загадали, пан Ковальский, нет? Однако пора. Сей-

час там Неморино... Макаронники, жена говорит, приходят всегда ко второму действию...

...Виолетту пан Ружичка убил из чувства долга.

Назначил ей третьего дня у Змеиного источника, за каварней, в девятом часу. («Возьми фотокарточку, которую сделала на позапрошлое Рождество, где вся в черном да в шляпке с вуалью, и коротко биографию изложи, только коротко! Сюрприз».)

И просто сломал ей шею.

Потому что как-то враз, словно из него выпустили душу, скучно стало.

Рисовал себе, как в ужасе она прохрипит сквозь вздутые, будто ватой набитые губы: «Я этого не делала...», как вцепится ногтями ему в рукава, засучит ногами, и еще, правда ли говорят, что когда человек кончается, то непременно обгадится напоследок...

И вдруг обрыдло. В лицо бы ему, что ли, вцепилась или там ухмыльнулась, обозвала, заголосила..

Ничего. Подбежала, встала как столб. Вытаращилась. А руки уж сами собой, как в мастерской над крконошем. И еще, будто бы и не он это вовсе, а вот как в балагане детям кукол показывают, про турок. Ты в первом ряду, сто раз видел, душно, домой хочется... Но уж коли денежку отдал...

А может, и не убивал он ее вовсе. Может, никогда никакой Виолетты и не было. Ни в городе, ни в театре. Вообще на свете. А просто выдумал, воплотил, насмотревшись на афишу. Долго висела. Прямо против кассы. Варьете из Будапешта. Мессалина Жуэ: в красном цилиндре, белой жилетке, с черной «бабочкой» на голой шее, и толстые ляжки в чулках с подвязками... Где-то дома, кажется, еще и открытка такая валяется...

А если б и была. Он, Ружичка, ну что ж — да, прожил микроскопическую, можно сказать, жизнь. Но у него хотя бы — дом, вафли, вальдшнепы, жена... У него крконоши... А у нее? Зачем она? Для чего?

А ни для чего. Просто так. Вот как примулы вылезают. Ни пользы, ни запаху...

Оттащил под космы корявой старой ивы, задрал выше колен, до большой черной родинки на правой ляжке, тяжелые юбки, в складки бережно, чтоб не сломать вишневую трубку, вложил последнего крконоша, над которым провел почти неделю, а в рукав, поглубже, неотправленную записку ее к Карлу, которую нашел там же, в коробке, под крконошем: «...и если ты не станешь моим, я найду способ сделать твою жизнь невыносимой».

8

«Уна фуртива лакрима нельи окки...» Скоро, скоро...

— ...Суои спунто, — одними губами пропел Ружичка, выжидая Неморино — ...инвидиа-а-р сембро...

Скоро этот придурочный заика опять купит у толстого прощелыги бутылку красной кислятины, потом на него свалится наследство, Адина «прозреет»...

Они всегда прозревают, когда наследство. И хорошо, что женился он, уже имея за душой три счета в разных банках. В Праге, Остраве и в Брно. А в Карлсбаде всего один, притом довольно скромный. И хорошо, что тестя он тогда припер к стенке с пекарней. И с мельницей в Локете. Капиталы соединяются к пользе взаимного удовлетворения. К тому же он, Ружичка, довольно много времени потратил на то, чтобы постепенно, включая всю свою мужицкую силу воли, отучить себя от юной жены.

Влюбляться и пылать страстью, бредить от похоти, следственно, вводить себя в расходы было невозможно. Нельзя. Потому что прожить он планировал долго. Во-первых, для того, чтобы оставить по себе наследие и какую-нибудь память. И потом... Да просто чтобы посмотреть, что из этого всего выйдет. Сколько там ему бы ни осталось, как бы ни был он крепок как мужчина, а и мореный дуб не вечен... Не вечен, зато годится для изготовления дорогого комода: в Вене видел, на аукционе, цена невероятная.

Убил? Ну убил. А что делать? Потом, что с ней делать? Жить с ней нельзя. Как ездила, так и будет мотаться в эту свою Вену к этому Карлу, пока тот либо не женится, либо не иссякнет. Одевать, кормить, поить, давать денег, посадить себе на шею? Расходы, кривотолки, коммерция... Жить на два дома? А жена, а Ковальский? Это вообще себя в грош ломаный не ставить... Нет.

Нет, нет, все не то, не так... А как? Как же это... Она была свободной, да. Свободной. Но... Она была моей свободной. Моей, мать ее, моей свободной женщиной. Она была — моё. Моё. А моё, это когда ясность, порядок. Логика. Приход, расход, остаток. И ничего плохого в этом нет, потому что... Потому что аккуратно... Потому что порядок! Уважение. Порядочность. Порядочность — это от «порядок». А когда порядок — доверие. А доверие, это когда доступ ко всем счетам. Это когда все счета открыты, вот что оно такое, моя женщина. За которой ухаживают, как за породистой кобылой. Которую защищают. Которой гордятся и даже, как говорит этот поп из Анны-в-Седлице, «боготворят»; которым потакают, из-за которых разоряются и снова копят. Которых жалеют. От которых дуреет сердце...

А тебя нельзя было... боготворить. Ты шагала по чувствам, как корова по ковру. И не испытывала ничего, кроме злости, обиды, зависти оттого, что на ковер-то тебя и не пускают.

Тебя можно затащить в постель. Это — да. И за это заплатить. А кто этого не понял, сам виноват.

Сам виноват. Сам.

А ошибки надо исправлять. Вот я и исправил.

Когда моё, в которое вложился, перестает быть моим... Его или воруют, или оно было ненастоящим. Как брошка из олова... А я не позволял! Не давал я разрешения не уважать. И контракт не подписывал. И крест на себе не ставил.

...А ведь было. Было. Еще чуть-чуть и...

Однажды — по сцене носилась Джанетта, Дулькамара заголосил: «Ио сон рикко э ту сей белла!..» — однажды, выйдя из спальни жены, где оставил ее с остекленевшими глазами и покусанной грудью, сел за стол в чем мать родила и сочинил отношение по поводу отписи ей двух третей в театральной кофейне... И полез в сейф, и отсчитал пачку флоринов на колье из черного жемчуга («Я такое во сне видела, и будто бы ты меня там целуешь...»)... Руки тряслись. Он подошел к окну, ночь была лунная, свет включать не хотелось, а когда увидел свои короткие, волосатые, желтые от табака пальцы, коричневые пятна на тыльной стороне ладони, взъерошенные банкноты, когда, опустив глаза, взглянул на обвитые нездоровыми венами ноги, на толстый седой длинный волос, торчавший прямо над пупком...

— Матерь... как там.... умоли Твоего... тьфу ты... этого... сына...

К сейфу он вернулся, тщательно запахнув халат. Потом долго мылся. Съел половину копченой утки. Проснулся на следующий день ровно в половине седьмого утра. И с тех пор посещал пани Ружичкову один раз в две недели ровно на сорок пять минут в половине девятого вечера, и обязательно после пани Поспишиловой или Виолетты, но никак не до.

«Удите, удите, о рустичи...»

Ну да. Слушайте, мужичье.

Сейчас я всем дам хлебнуть счастья.

...Неморино не успел разразиться слезами.

Вместо него на сцену вывалился Дулькамара:

— Господа! Пани, панове! Спектакль больше играться не может. Только что...

Тут он медленно, аккуратно, опираясь на руки, опустился на колени и громко икнул, выставив вперед, по-гусиному, жирный волосатый подбородок. Из горла полилась кровь. Его быстро оттащили в кулису.

На сцену степенно, прямо, придерживая полусаблю, выступил, обойдя пятно крови, штаб-вахмистр пан Урбанек, снял пикельхауб, снова надел, снял с правой руки перчатку, коротко рубанул ею вдруг ставший плотным, как кисель, воздух:

— Дамы и господа! Внимание! Сидеть! Спокойствие! Убита пани Виолетта. Спокойно! По одному в фойе и по одному в вестибюль. Дамы вперед. Правый первый ряд, партер, пошел! Остальным сидеть... Дамы вперед! Балконы, ложи, все на месте! Второй ряд...

В фойе за огромными окнами буфета полыхало оранжевое зарево. Такое, какое обыкновенно рисуют цветными карандашами дети. Ненастоящее.

— Так ведь это же... где же это...

Мужчины старались не смотреть на Ружичку.

Он медленно, соблюдая очередь, спустился по лестнице в вестибюль, долго оправлялся перед зеркалом, перед дверью достал из портсигара «голуаз», прикурил:

— А вы знаете, пан Глинка, — хотя никакого пана Глинки рядом не было, — а вы знаете, пан Глинка, в Милане итальяшки в 48-м все разом бросили курить именно сигары, вот такие, да... И случилась ре-во-лю-ци-я. Надо бы на трубку перейти, как Крконош...

На ступенях, натянув на брови шляпу, прищурившись, долго смотрел, не двигаясь с места, как там, на холме, за Мельничной колоннадой, в небо уходят тяжелые локоны черного дыма.

— А ведь ее, пан Глинка, — хотя никакого пана рядом уже не было, — ведь ее сюда, на прослушивание, ну, тогда, давно... Ее всей деревней собирали. Кто беретик ей, кто сумочку, кто пальтишко... И вот они приезжают, приезжают... Сначала им хочется в Прагу, потом в Будапешт, в Вену, а потом, как Моцарт, через Альпы... Потому что все, что у них есть, это... А еще она говорила, что ей нравилась какая-то Каролинка, у нее такие груди... Вот и выходит, что...

Ему вдруг очень жалко стало крконоша, которого оставил Виолетте. Вишневая трубка. Он резал ее из цельного корня, каждое коленце отдельно, отшлифовал, обжег, покрыл лаком, а лак выменял у краснодеревщика, пана Седлака, на литровую бутыль фернета...

Крконоша, конечно, обнаружили на трупе сразу же. Жандарм сунул его в подсумок, потом вместе со всеми побежал на пожар, да там его и забыл на парапете, ринувшись в дом, а подобрала пани Гремлинкова, та, что дверью в дверь напротив и у которой цветочная лавка на Старом лугу. Хотела было тут же заявить, но уж вещь больно понравилась: кожаная, вместительная, блестит... До поры решила спрятать, а куда — то ли за комод, то ли в старый диван в сарае — из головы, конечно, не вылетело, а вот представила, что вылетело...

Пана Ружичку для порядка опросили, найдя его совершенно трезвым и в черных шелковых нарукавниках «У Томаша», хотя обстоятельства дела были для следствия совершенно очевидны.

Перед ним лежали толстые учетные книги, на тарелке — недоеденные утопленцы, а перед ним ерзал на стуле вспотевший пан Гавелка:

— ...Но если по сорок гульденов, пан Ружичка! Сорок гульденов, да кто их даст? И если я вам сейчас уступаю, так это ввиду вашего бедственного, не сочтите за оскорбление, бедственного положения. А у Седлака так оно не получится, Седлак в прошлом сезоне...

— Бедственного положения?

— Но...

— Вы сказали, бедственного. И где же вы обнаружили беду? Дом сгорел? Ну так стены-то остались. Месяц, ну два-три, и домишко будет лучшим в городе. Хотите пари, нет? Не банк же сгорел, пан Гавелка, не банк, и даже не филармония и не ресторация. А даже если бы и ресторация сгорела, так и на такой случай у меня бумаги в полном порядке. Мельница у меня при стороже, серба нанял, граничара из Воеводины. Да и мельница водяная. Вот из Пра-

ги пан Френкель обещал электрическое новшество... Так что сорок гульденов — на это еще молиться надо... Или вы на другое намекаете?

— Я не имел в виду... Пан Поспишил того мнения держался, к примеру, что...

— Какого? Какого такого мнения пан Поспишил? Что вообще такое пан Поспишил? Не я, заметьте, не я написал ту статью в «Новинах», где его уличили — и разве не справедливо? — в присвоении средств общества, а также в мошенничестве с пани... э-э... впрочем, завещание было составлено по всем правилам, но моральный, моральный и прочее, состав! И эти махинации с газетой, с книгами, опять же танцы эти, с несовершеннолетними... Если смотреть прямо, я ему помог. Да, выручил. Купил долю по бросовой цене — и это еще только из личной привязанности, и в память, так сказать... Так что сорок гульденов, кому как, а все-таки это сорок гульденов. «Бедственное положение»... Это у пана Поспишила оно было бедственное, да и сейчас... Где он, кстати?

— Я полагал, вы в курсе...

— Ну, то, что подался в социалисты, этого следовало ожидать... Говорят, перебрался в Будеевице...

— Это сначала. А сейчас в Велке Лосины, под Оломоуцем.

— На бумажной фабрике, полагаю.

— Ну, вроде пробовал там, на курорте, дело начать, однако...

— Бог шельму метит... Теперь сам себе инквизитор.

— Говорят, и живет прямо там, в замке. Где ведьм сожгли.

— Ну, он всегда был либерал...

— А сам вроде не то приказчика, не то сторожа... Какой-то манифест написал, так его даже побили. Теперь сочиняет насчет животного мира Грубого Есеника... И желудком страдает: давеча «У Томаша» был разговор, совсем плох стал... А может, придуряется... Про наши дела ни-ни. Помалкивает...

— Да что вы говорите! В Праге уже теперь на каждом углу только и разговоров, что про пана Ружичку из Карлсбада, от которого сбежала жена с любовником, а любовник прикончил знаменитую певицу, которая, как оказалось, его шантажировала, а напоследок они дом подожгли. Молчит он... Гляди, и в венские газетки уж успел накатать, просветитель... Ну, для дела такого рода события полезны. А то кто бы знал, что вот есть в Рудных горах некоторым образом пан Ружичка, а у него дом-красавец, оплатки с шоколадным кремом лучшие в крае, а при театре — такая каварня, что и Вена позавидует, и все покрыто мраком страшной тайны!

Он не спеша расписался в протоколе, услужливо поднесенном ему на планшете паном Урбанеком, перечитал, пожал пану Урбанеку руку и обещал вечером быть на открытии нового здания завода Бехера: будет петь пани Хелена, а потом банкет. Запеченный барашек, супчик с печеночными фрикаделькамии, гуляш под шпиковые кнедлики, велкопоповицкое пивко, форель, ну и тому подобное...

9

...Пан Ружичка не любил форель. Он ковырял остывшую поджаристую спинку, прихлебывал велкопоповицкое, которое тоже не любил, беззвучно хлопал пани Хелене и с удивлением обнаружил, что в доме когда-то пахло вот точно так же, как и сейчас: липовой стружкой и табаком. Он вроде бы стоял тогда... Да, у окна, застегивал манжеты, потом расстегивал, застегивал опять, тянул время, разглядывая зябкую фигурку жены. Зачем-то вспомнил (и эта мысль оказалась неожиданно глубокой), что Виолетта перед смертью была как новенький, не вполне законченный крконош: еще чуть-чуть и цапнет, зубками-то... Зубами.

Пани Ружичкова потом написала ему (обратного адреса не было, но письмо пришло из Турина), что в тот вечер она решила просить его о прощении, потому что как-то сразу повзрослела, а без него ей даже и теперь нехорошо, но все оказались подлецы, а он — первый подлец, и все такое... Да. Она стояла у крыльца, вот сдвинула шляпку, поправила прическу. Она всегда очень красиво поправляла прическу. И знала, что у нее это выходит красиво. Подкатил бледный Ковальский на экипаже. Со своим дурацким саквояжем. Она взошла. Ждали молча Ружичку. Молча доехали.

Ружичка припомнил, что ему больших трудов стоило, не обращая на них никакого внимания, не спеша скинуть в фойе пальто на руки человеку и холодно предложить Адине Ружичковой подниматься по лестнице первой. Он придержал Ковальского, вдвоем они медленно дошли до бронзовых мавров с чашами, где была крошечная площадка перед поворотом:

— Знаете что, пан... Мечислав... Уезжайте. Экипаж до Хеба я оплатил. Стоит у входа, напротив. Там саквояж, такой синий, вроде вашего, там ваш гонорар и билеты до Мюнхена... Уезжайте. На ее имя в Аугсбурге номер в гостинице. «Альтштадт», кажется, рядом с Мариендомом...

Ковальский не стал ждать антракта, а просто, словно выставляя счет за услуги, шепотом выложил пани Ружичковой весь разговор с ее супругом. Она выслушала, не отрывая глаз от монокля, молча встала, пригнулась, извинилась и, опершись на руку архитектора, скользнула к бархатной шторе, которая прикрывала двери в зал...

Потом кто-то пустил сплетню, что человек пять видели, как она сама поджигала дом, и будто бы слышали дикий хохот Ковальского. Почтмейстер уверял, что они пронеслись прямо у него перед носом в экипаже, запряженном гнедыми кобылами, нездешними, венгерскими, не иначе как в Хеб, а может быть, на вокзал. Наконец, было неопровержимо установлено, что сейчас наверняка они, по всему судя, где-то в Штирии или даже в Южном Тироле...

Ночью, выпив фернета, пан Ружичка поднялся на чердак (выгорело только левое крыло, со спальней и гардеробом). Втиснул в станок почти уже готового крконоша. Пристально, минуты три, поднося время от времени к физионо-

мии куклы ярко-оранжевый, жаркий набалдашник сигары, отчего кукла как-то странно молодела, всматривался в пустые, без пуговиц, глазницы. Потом оскалил усатый рот, вытаращился, присел на корточки, замахал согнутыми в локтях, будто враз сделавшимися полыми, руками:

— Старого для совета, молодого для удовольствия! Старенького — для совета, для совета, для совета, чтоб тебя гусь лягнул... А жена мужу потакает, пока деньги добывает! Крк, крк, крк... Крк...

Сигарная вспышка выхватила из полутьмы мастерскую. На мгновенье вспыхнула шляпка гвоздя, вколоченного в угол колченогой этажерки, одним боком прислоненной к станку. Оттуда с дорогой открытки улыбалась она. С каким-то высоким, тонкогубым, с седыми ершистыми висками и прищуренными в полуулыбке глазками синьором в наглухо застегнутом пиджаке, который держал ее за плечи. Понизу шла легким золотым переливом надпись: «Torino. Le giungano le mie calde e cordiali felicitazioni!».

Года два спустя, на Пасху, кажется, поминая баснословное преступление, равного которому эти горы не знали со времен гренадеров Петра Великого, в «Склепике» приговорили, что Ковальский, точно, ушел на войну с турками. Хотя с турками в тот год не воевали. Потом кто-то предположил, что он переплыл Ла-Манш и сделался англичанином, потому что всегда хотел в Бретань. А ксендз из Анны-в-Седлице уверял, что лично видел его на страстной седмице в Праге на Староместской площади в стельку пьяным, с какой-то крашеной, помятой лярвой. И даже подал ему гульден...

10

Юлий Адамович ощутил легкий толчок в левый бок: она уже успела встать и рукоплескала. Перед Юлием Адамовичем высился лес всевозможных спин — две были обнажены, в глаза бросилась оттопыренная черная родинка под лопаткой.

Он тоже встал и, рукоплеща, сделал несколько незаметных телодвижений, разминая затекшие ноги. В голове стояло: «Альтштадт», а усы у Дулькамара, который, смахивая с полного лица пот, раскланивался, придерживая пальцы Адины, так и целились прямо ему, Юлию Адамовичу, в глаза. Рыжие усы. Жесткие. В глазах запершило, Юлий Адамович полез было за носовым платком, но, не донеся руку до кармана, еле успел зажать ею лицо, подавив готовый вырваться наружу несусветный чих.

В профиль Марина Ефимовна была испанка: именно правая сторона у нее имела едва приметную горбинку, она это знала и старалась носить голову несколько набок, словно у нее к вам назрел интерес.

— Вы похожи на испанку.

— Как вы сказали?

Публика бочком засеменила на выход, оправляя сморщенные на задах складки, все друг другу принялись уступать, Юлию Адамовичу больно отдавила

большой палец спина с родинкой, впрочем, мило улыбнувшись и мяукнув что-то на каком-то неопределенном языке (лица Юлий Адамович не запомнил).

— Испанка.

— Неужели до такой степени? Ужас. Хотя... На моей совести тоже есть парочка трупов!

— В каком... э-э... значении?

Она взглянула на него тепло и нежно, как на дитятко, взяла под локоть и кивнула на торс мавра, который держал бронзовый подсвечник у первого лестничного пролета:

— В большом.

До ресторана шли молча, почти бегом — с неба повалил теплый творог случайного снега — от фонарей деревья и брусчатка казались написанными акварелью.

Он проследил за ее взглядом, когда она вчитывалась в меню, пытаясь определить, куда она целится насчет напитков.

— Ну... Рыбки, нешто? Очень хочется. Форельки.

— Кряхтун.

— Что?

— Вальдшнеп. Бекасик такой, лесной. Красивый. С носом... Вот, на этой странице. Брусника... Под брусничным... э-э... омачка. Соус. Ну, собственно, вальдшнеп, значит.

— Опять фазаны? А почему кряхтун?

— Ну... Он, когда весной свои дела семейные решает, вроде как покряхтывает, хурк-хурк... А потом вот так: цык-цык!.. цык-цык!... На него охота всего дней десять. Сегодня какое число? Как у нас с вами... Вот утречком, как эдак слегка, что ли, светать начнет, или там, вечерком, вечерком — оно, знаете, лучше, — он так фыррр... Сейчас самое то. На Урале его, знаете, как называют? Шабашка. А сейчас, да, самое то... Сезон по перу. Значит, свеженький. Может, вообще последний. С дробью... Живучие. В него когда попадешь, так он еще летит, летит...

— Какой ужас.

— Дичь... Бекасы, знаете, они вообще... Хотя не то чтобы... Но, с другой стороны, особенно если под брусничным соусом... А еще бывают дупеля...

— Сами вы дупель... Вот яблочный штрудель... Нет, ликера не надо... Глинтвейну. И, пожалуй, все.

Юлий Адамович заказал того же, хотя не понимал, в чем же состоит приличие есть выпечку вилкой.

— Скажите... Кстати, мы уже довольно долго на «вы»... Не против? Ну, тогда скажи... У тебя в кармане оружие?

— Почему? А, ну это... вот. Не знаю, может быть, внучке...

Она смахнула со лба на нос круглые, модные, ленноновские очки:

— Крконош... У него нос как у тебя.

— Да, я когда купил, потом заметил… Нос сучком.

— Это правильно.

— Что? Нос?

— Что Крконош, а не Пьеро. Девочкам это важно.

— Девочкам? А, ну да, там у него еще история такая, с мешком по горам ходит… Не холодно ль тебе, девица…

— А я своей Щелкунчика везу. На экскурсию ездила, в Аугсбург. Опылиться.

— Кого? В смысле…

— Ты не поймешь.

— Ну, я только в Праге… Нас человек десять, что ли, набралось. Всего. Я-то хотел, вообще, посмотреть, где там у них Голема сделали. Ну, тот райончик. И еще в собор обещали, но… А так — Карлов мост, площадь эта… Миленько. Только ветер. А, ну еще пиво пили там, где театр. Вот, куртку себе купил… А Щелкунчик — это здорово.

— Девочка же. А девочка, особенно если отличница, она ведь ждет либо Крконоша, либо Щелкунчика. То есть или героя, или волшебника. Потому что не важно, кем быть. Важно — кем стать. Иногда получается.

— У вас… у тебя получалось?

— Раза три… н-нет, почти четыре. Показалось. А может, и не показалось. Иной раз, понимаешь, смотришь: ну вот он, флибустьер. Корсар. По улице идет, и все бабы его. В танкистской форме, при погонах. А тут вдруг раз, а вон тот вообще Фрэнсис Дрейк, и уже полковник… А этот капитан… Но женатый… И капитан-то как бы не совсем он и капитан, потому что — участковый. А этот и не женат, но жадный, и когда выпьет, сядет на кухне и давай вилки гнуть: травма у него такая, психологическая… Потом вдруг бац — и волшебник откуда-то. Такой высокий, кудрявый, с депутатским значком, мэр, вдовец, по-английски понимает… Руль в тачке из моржового уса, ресторан «Вдали от тещи», сауна с джакузи в ботаническом саду, а в саду павлины… Что ни встреча, он тебе то перстенек, то бусы, то туфельки… А потом вдруг говорит: а давай втроем. Ну, а чего, мол, тут такого — вся Европа свингует… А мы люди не молодые, скоро, так сказать, уж и закат, надо попробовать… Н-да. Ну, а ты? Крконош или Щелкунчик?

— Я? — Юлий Адамович вдруг почувствовал себя в портах, босым и в барских сенях. — Ну, я! Я… Хм. У Крконоша ведь еще одна история есть… То есть, ну, будет. Может быть.

— Твоя, что ли?

— Ну, не история. Так, либретто…

— Ясно. А дочка с кем?

— С ней, где-то под Лиссабоном. Я город забыл. На «к» какой-то. А сейчас у мамы, дочка, в смысле. Гостит. У моей.

— Почему не у тебя? Женщина?

— Н-нет... То есть... Ну, иногда бывают, но... Так как-то. У меня работы много. Долго не могу.

— И долго не можешь, и с деньгами не очень...

— Заметно?

— Ну, так... Проприоцепция у тебя хромает.

— Что хромает?

— Ничего. Пошли?

— Пошли.

— К тебе? Ко мне?

— До меня ближе. К тебе же в гору...

— Ну, значит, пойдем под гору... с сомнительными намерениями...

— Я тебе дом покажу.

— Какой дом?

— Да, понимаешь, такой венецианский. Откуда взялся, черт его знает. Ненастоящий какой-то... Как будто, понимаешь, не ты на него, а он на всех смотрит. Наблюдает... За мной, за рекой, за горами... и вроде как ухмыляется...

— Фамилия у тебя... У нас в Питере «Выборгская» травертином отделана. Настоящим. А сейчас какой-то искусственный придумали. Не то!.. Был в Памуккале?

— Где?

— В Турции. Там вода минеральная с горы хлещет, и травертины, травертины... Затоптано все, засалено, залапано, ухрюкано, а там город мертвых... представляешь, римляне и римлянки в тогах, в театре, воду им розовую подают... Эсхил... а сейчас народ в сланцах и плавках. И турки. Зато травертины настоящие. Ты — настоящий, Травертинов?

— Что?

— Говорю, на завтрак обычно что любишь?

— Ну... по овсянке вот скучаю. Привык. С медом. В ней кальция много.

В номере они наскоро выпили коньяку. Она долго не выходила из душа, попросила не гасить свет и задернуть шторы. Он, сам не зная, чего ради, повесил крконоша на бра, прямо над головою. И потом долго смотрел, как он покачивается, уже после того, как перестала скрипеть и посвистывать странным, как у глиняной свистульки, переливчатым стоном двуспальная постель.

11

Он проснулся около пяти утра: сквозь колоссальную штору сквозил белесый туман, сразу сделалось холодно в пальцах. Тихо пробрался в душевую, выпил, как доктор прописал, полный стакан воды. Долго, стараясь не шуметь, мочился — сидя. Очень сдержанно пустил газы, включил тончайшую струйку горячей воды, смочил волосы, пригладил пепельный вихор над правым ухом. Ножницами срезал два чересчур длинных седых волоса с груди. С сожалением

посмотрел на левую икру, всю в зеленовато-голубых узлах вен. Вспомнил, что сигареты в куртке, во внутреннем кармане.

Тихо одеться не получилось:

— Ты куда?

— Покурить. Я крконоша сниму... Марина Ефимовна?

И услышал спиной, как в ответ шевельнулись тени от включенного бра, прорисовав частокол морщинок над ее верхней губой. Он уносил с собой будущее воспоминание крошечной плоской груди с кофейными зернами сосков, выстеленной на слишком белой, в черных родинках, нездоровой коже. Ему послышался даже запах из ее рта...

* * *

...Он вполз на Елений скок, по пути задев носком ботинка какой-то зубастый камень, нарочно вылезший из асфальта поглазеть, шлепнется Юлий Адамович плашмя или успеет выставить руку. Дом выглядел усталым. Изможденным долгой, невнятной весной, одиночеством, собственным блеском, которого, как ни старайся, а показать некому. Пережитое читалось в ухмылках сатиров и самодовольстве наяд. На крошечном, в чугунной перевязи, балконе сидел, взъерошив перья на шее, пожилой голубь, и кончик клюва у него, казалось, был покрыт слюдой не оттаявшего утреннего инея.

Юлий Адамович подпалил плотную, как вязаный носок, вонючую «петру». Выплюнул. Выудил из кармана крконоша. Поднес к лицу:

— Файфай ф поввовы...

Размахнулся...

Крконош вцепился в горуйль. Налетевший вдруг, будто только того и ждал, ветер мгновенно двинул ему в бок. Затем сгреб с черепицы самосад прошлогодних буковых листьев, невероятным образом сухих и хрустких, швырнул их наотмашь в изумленные пуговицы.

Травертинов оперся на правую ногу, откинулся, сощурив левый глаз, прицелился кукле в живот указательными пальцами:

— Бф-бф!..

Сворачивая с улочки на спуск, Юлий Адамович, кажется, расслышал, как стучит, стучит, стучит, стучит посох по черепице...

Федор Самарин, 2015, апрель
(В повести использованы стихи
Н. Зыковой и В. Сережкиной, г. Пенза)

Лариса БОНЦЕВИЧ

ОТЕЦ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Рассказ

У подъезда на лавочке сидел старик. Когда он заметил меня, суетливо вскочил и засеменил навстречу.

— Извините-простите... Я это... Зовут вас как — Светланой?

— И что?

— Ничего... Извините-простите... У вашей мамы девичья фамилия была Еремеева, да?

— Допустим. Что вам нужно-то?

— Ничего... Погодите, не уходите! Я, знаете, с вашей мамой учился в одном техникуме, да... Случайно узнал, что она умерла в позапрошлом году, извините-простите... Адресок подсказали... Вот, пришёл...

Старикан стоял на одном месте, но мне казалось, что он бегает вокруг меня, по-собачьи заглядывая в глаза.

— И зачем пришли?

— Так, поговорить... Извините-простите... Мы дружили с вашей мамой, сильно дружили. А я даже на похоронах не был, и на поминках тоже...

Я уже успела рассмотреть дедка. Неухоженность — визитная карточка одинокого мужчины любого возраста и достатка. Даже если на нём новый костюм и дорогие туфли, я нутром чую что-то не то и без ошибки угадываю, сам мужик за собой следит или близкая ему женщина. В данном случае женской рукой и не пахло. Пахло вчерашней водкой, секонд-хэндом, неровно подстриженными волосами и плохо простиранной рубашкой. Ещё не бомж, но на пути. Мне стало понятно, зачем пришёл к нашему подъезду «старый друг» моей матери. Я вытащила из кошелька горсть мелочи.

— На пирожки хватит. На водку не подаю.

К моему удивлению, старик растерялся, когда я высыпала деньги в его карман.

— Спасибо, конечно, да-да… Извините-простите, но я не за этим… Ну да, вы подумали… Да, я выпил вчера немножко… С пенсии…

— Мне всё равно, с чего вы пили. Прощайте.

Тяжёлая металлическая дверь отсекла от меня старого попрошайку.

Дома я, ставя на плиту чайник и кастрюльку с сосисками, думала о старике. Нет, каков нахал! Ну, допускаю, что он был знаком с моей матерью. И что, это даёт ему право теперь, когда мамы уже нет, беспардонно клянчить у её дочери на водку?

После ужина я подключила скайп и стала ждать звонка.

В прошлом году наша младшенькая собралась ехать на учёбу в Москву. Я не находила себе места от тоски и ужаса оттого, что скоро домашний ребёнок окажется один в чужом и опасном, как крокодил, мегаполисе. Выручил муж — он быстренько нашёл в Москве подходящую «вахту» и теперь один месяц жил вместе с дочкой в съёмной квартире, а следующий — со мной, в нашем городе. Сейчас как раз шёл «московский месяц», и семейное общение шло через Интернет.

Я не стала рассказывать своим о престарелом алкаше. Зачем?

А он следующим вечером снова подкараулил меня у подъезда. Не дожидаясь его преданий о дружбе с моей мамой, я начала первой.

— Ко мне больше не подбирайтесь — не получите ни копейки. Ищите детей других ваших сокурсниц. Тех, что «адресок подсказали».

— Извините-простите… Вчера не так всё вышло… Я не то хотел… Вы уж уделите мне времечка немножко, не уходите… Ради памяти Галочки, мамы вашей покойной, это, послушайте… Только послушайте… Я старый, больной, у меня никого, кроме вас, в жизни не осталось…

— Да ну?

— Вы, это… Может, и не стоило мне, но…

— У вас тридцать секунд!

Старик сглотнул слюну, шумно втянул носом воздух и выдохнул:

— Я твой настоящий отец, доченька…

Тут меня, как говорит наш сын, расхохотало. Правда, не весело, а нервно.

— Ну ты, папаня! Вали отсюда навсегда, слышишь? А на прощание скажу: отец лейтенанта Шмидта, ты продешевил! Мог бы подобрать себе дочурку и побогаче, и пораскрученней. Показали бы по телику!

Я сплюнула и пошла. Старик что-то вякал вслед про то, что моя мама выходила замуж беременной от него, но я не хотела и не слушала.

Насчёт законности своего рождения у меня никогда не возникало сомнений, даже детских, какие возникают иногда у наказанных родителями обормотов. Вроде «мне не купили мороженого, наверное, я им не родной». Сомнений просто не могло быть. Во-первых, я родилась день в день через год после свадьбы родителей, и, покуда они были живы, дома всегда отмечали девятое октября как двойной семейный праздник. Во-вторых, мои глаза, точно ско-

пированные с отцовских, никому не позволяли усомниться в нашем кровном родстве.

Старикашка в моём понятии перешёл в новую категорию — из неприятного в отвратительные. И если он ещё раз покажется в нашем дворе, то… Но больше он не приходил.

В воскресенье к обеду должен был приехать из Москвы муж, обещал быть и сын с семьёй, и я с ночи затеяла их любимые беляши. Заполнив беляшами две большие кастрюли и собственный желудок, я подумала, что неплохо бы сейчас выйти на улицу и растрястись. Звенело птицами майское утро, сверкали на солнце ещё не высохшие лужи от поливальных машин, куда-то, распахнув глазищи, мчался мальчишка с игрушечным вертолётом в руках. И так хорошо стало у меня на душе, аж слёзы выступили. Но тут же на голубенькое поле моего счастья пала серая тень — со стороны автобусной остановки на меня медленно надвигался самозванец-папаша.

— Если вы опять ко мне, то меня, как видите, нет дома. Неужели вы не понимаете, что ваши визиты бесполезны? Я не дам ни спиртного, ни денег, назовитесь вы хоть моим отцом, хоть епископом Кентерберрийским.

— Да я, ну это… здравствуйте… Куда же мне, если не к вам?..

— Я могу подсказать, куда. Только вслух неудобно. Сами догадаетесь. Знаете, такая большая-пребольшая, белая и толстая. Вот в неё и идите!

Я часто слышала, что многие мужчины не выносят женских слёз. В данный миг я открыла, что, по крайней мере, одна женщина не выносит слёз мужских. Старик заплакал неожиданно, навзрыд, шаркая ладонью по ноздрям.

— Я, это… извините-простите… Я просто хочу есть!

Самозванец попал в точку. Не накормить голодного, пусть даже неприятного человека, было не в моих правилах.

— Пойдёмте. Я дам вам поесть. Только на большее не рассчитывайте.

Старикашка затрусил следом. Я обернулась к нему.

— А где же ваша пенсия? Вроде как недавно получили?

— Кончилась…

В прихожей старик долго и старательно разувался. Я бросила перед ним потрёпанные тапки мужа — всё равно выкидывать! Старикашка, не решаясь войти в гостиную, стоял в дверях, вытянув шею, точно гусь.

— Хорошо как у вас, это… богато. Камин вон даже есть!

— Не завидуйте — не настоящий. Электрический.

— Всё равно, это… красиво… Да… Ведь и я мог в такой квартире жить…

— Не надейтесь — в этой квартире вы не будете жить никогда. Проходите наконец и садитесь за стол.

Я вынесла из кухни тарелку ещё тёплых беляшей, фаянсовую кружку с чаем и клубничное варенье в пластмассовой розетке. Хватит с него!

Старик отхлебнул из кружки и зажмурился.

— Господи, как хорошо… Чай настоящий… Давно такого не пил, извините…

— Вы разбираетесь в чае?

— Я, это, в Индии два года работал. Давно было... В прошлой жизни... Ещё с Тамаркой жил... Которая, это, меня у вашей мамы отбила, ох, извините-простите...

Он осёкся. Ещё по дороге я предупредила старика, чтобы он не смел даже заикнуться о моей маме. Личная жизнь родителей всегда была для меня табу, запретной территорией. Меня этому не учили, это просто сидело внутри. Да, отец и мать были мужчиной и женщиной. И я родилась не от святого духа. Но если бы мама вдруг начала мне рассказывать о каких-то своих интимных делах, меня бы стошнило. И истерика бы случилась, это точно. Интересно, а моя Машка — такая же?

Старик съел только один беляш, а для остальных попросил пакет.

— Вы уж извините-простите, я с собой... Райку угощу, соседку, это, по общежитию... Она мне вчера тарелки щей пожалела, а я ей сегодня, вот, на, бери... А то она, когда ругается, пустоцветом меня зовёт... Что баб менял, а семьи не нажил... Своими детьми хвалится... На дачу к ним, это, ездит... Да... А я ей вот — угощайся, Райка! Пускай знает, что обо мне тоже заботятся... Уж вы извините-простите, что я так... Да-а, хорошо у вас... Повезло вашему мужу. Муж-то у вас, извините-простите, кто?

— Подполковник запаса. Был военный инженер, а сейчас просто слесарь.

— Вон как... Ну, пора мне... Счастья вам! Хотя вы и так счастливая... Да-а, что Бог пошлёт, то и терпим...

— Что ж, по-вашему, счастье нужно терпеть?

— А как же? Счастье, оно, это, требует особого терпенья, другого, чем горе. Горе потерять не жалко, а счастье? Большое терпенье нужно, чтоб его возле себя удержать, да... Чтоб перед дурным соблазном устоять и разом не порушить. Это я так думаю, да... И ещё думаю, что счастье на испытание даётся — впадёт человек в грех гордыни или не впадёт? Да... Извините-простите, разошёлся не к месту... Пойду...

Покуда старик зашнуровывал свои растоптанные кроссовки, я собрала ему пакет с прошлогодними макаронами, крупой и тушёнкой. Уже в дверях протянула визитку.

— Это телефон моей подруги. Она работает в соцзащите. Обратитесь к ней, и вам подберут хорошего социального работника.

— Спасибо, спасибо вам... Обязательно позвоню... Хорошо-то как, да...

После ухода старика я без сожаления побросала в мусорный мешок посуду, из которой он ел и пил, распахнула настежь окна и вымыла пол. Прибираясь, обнаружила, что с каминной полки исчез новогодний семейный снимок, сделанный нашей снохой. У ёлки стояли мы с мужем, дочка, сын и наряженный пиратом внук. Таки спёр! Когда только успел? Я внимательно осмотрелась. Вроде больше ничего не украл, всё на своих местах...

Через несколько дней я вынула из почтового ящика конверт без обратного адреса. Никакого письма, только старая чёрно-белая фотокарточка с едва

заметной трещинкой по центру. Такой карточки в маминых альбомах не было. На снимке, соприкасаясь головами, сидели двое — юная девушка с подведёнными глазами и высоким начёсом на макушке и безусловно красивый парень с аккуратными бачками. На оборотной стороне была фиолетовая чернильная надпись маминым почерком: «Идут года, сменяются веками, от прошлого останется лишь след. Но в доказательство, что были мы друзьями, пусть вам напомнит этот документ. Коля Антипов и Галя Еремеева, н-ский химический техникум. 1961 год». Мама, совсем девочка... Где-то рядом летал Гагарин, пел Элвис, тряс кукурузным початком Никита Сергеевич и писала безграмотные чувствительные стишки молоденькая студентка. Исчезнувший мир... Мои родители ушли неожиданно и нелепо. Сначала отец, от банального гриппа. И почти следом за ним — мама. Сидела за столом и вдруг упала. Тромб оторвался...

Рассматривая карточку, я, к своему удивлению, вовсе не испытывала гадливого чувства от того, что мама сидит чуть ли не в обнимку с красавчиком Колей. Может, потому, что она не была тогда моей мамой? Я ещё раз глянула на снимок, вздохнула, и мелко-мелко изорвала его. Пусть мамина тайна так и останется тайной...

Старик перестал приходить к нашему дому, и я о нём забыла. Были дела и поважнее.

Где-то через год ко мне в квартиру позвонил почтальон и передал заказное письмо с казённым штампом на конверте. Из письма следовало, что гражданин Антипов Николай Фёдорович, скончавшийся тогда-то, завещал адресату принадлежавшую ему на правах собственности комнату площадью двенадцать квадратных метров в бывшем общежитии фармзавода, и что по вопросам вступления в наследство мне следует обратиться туда-то и туда-то, с девяти до шестнадцати....

Господи, за что?!

Сергей БУДАРИН

Я БРОЖУ В КРАЯХ РОДНЫХ

Стихи

* * *

Подхожу я знакомой тропою
К свету синих цветов луговых.
Вдалеке из лесов вековых
Мне берёзонька машет рукою.

И струится из озера хлеба
Вниз по склону овсяная медь.
И рассвет, словно бурый медведь,
Медовуху лакает из неба.

Заалели зарёю залесья.
Засияли вдали облака.
И светла мне о прошлом тоска,
Как льняных колокольчиков песня.

Потому-то, в тоске утопая,
Я пришёл под сиянье лугов
Расплескать синеву лепестков,
В буйство вешних цветов наступая,

Где близки под напевами ветра
Сердцу быстрые волны овса.
И сочится мне счастьем в глаза
Зорька нежною алостью света.

* * *

Я уйду в ночные степи
Под гуденье звёзд златых,

Ощущая дивный трепет
Босоногих дней былых.

Там, в степях, гуляет осень,
Золотит заря стога
И в звенящих кронах сосен
Проплывают облака.

И сегодня помню ясно,
Как бежал мальчишкой в бор,
Чтоб сквозь облачные прясла
Привести рассвет в наш двор.

Я бежал в родные степи
Под гуденье звёзд златых,
Да сдувало ветром кепи
У меня с волос ржаных.

Там, в степях, гуляла осень,
Золотя зарёй стога,
А в лучистых кронах сосен
Проплывали облака.

Я уйду в ночные степи
Босоногих детских лет
И, забросив в небо кепи,
Встречу юности рассвет.

* * *

Не забыть под звон капели
Мне свой ветхий дом родной,
Где играет на свирели
На крыльце апрель шальной.

Где на днях под звёздной кущей
Залепечет милый плёс,
Наливаясь соком в пуще,
Зазвенят стволы берёз.

То ли звёзды шепчут в уши,
То ли вижу в снах чудных,

Что мальцом босым по лужам
Я бреду в краях родных.

И, вскормлённый слёзным соком,
Я иду тропой сырой,
Где стоит в лесу высоком
Неизбывный дом родной.

Колесом вселенским солнца
Золотой раскручен день.
А у милого оконца
Золотых лучей плетень.

Чтоб я был всегда везучий,
Чтоб мне жизнь была светла,
Нить из пламя грозной тучи
Для рубахи мать спряла.

Возмужал в рубахе красной,
С волосами цвета медь…
И пошёл тропой ненастной
По Руси в свирель дудеть.

* * *

Полночь сыра и душиста.
Кони стоят у плетня.
Хрипнет гармонь гармониста.
Тлеет костёр без огня.

Сосны глухими рядами
Стонут на диком юру,
Хвойными держат руками
Месяц в гудящем бору.

С грустью кукует кукушка,
Сидя на ветке сухой.
И покосилась избушка
Под невесёлой ольхой.

О, ты, сосна дорогая,
Полночь и месяц седой!..

Пусть меня тройка гнедая
К жизни несёт молодой.

Пусть распоётся гармошка,
Пляшет огонь над костром
И загрустит у окошка
Мать обо мне, дорогом.

Будет гадалкой кукушка
Врать мне о жизни иной.
Каждая рядом избушка
Будет казаться родной.

* * *

Ныне луной запоздалой
Мрак озарился ночной.
Осень кобылою алой
Скачет в долине лесной.

Грустно по речке свинцовой
Вдаль уплывает заря.
Где-то под кущей кедровой
Слышится плач глухаря.

Свищет во мраке уныло
Ветер над тихой рекой,
Алую холку кобылы
Треплет холодной рукой.

Ох, не свищи ты, мой присный!..
Завтра зима к нам придёт,
Вьюжной метлою капризной
Грусть о былом наметёт.

* * *

Дни за поводья зари
Чёрную лошадь ведут.
В тихом бору глухари
Небо жемчужное пьют.

Светит лампада в избе,
Словно на небе звезда.

Слёзно о русской судьбе
Шепчет в полях резеда.

Чёрная лошадь заржёт.
Вскинет поводья зари.
Слёзы с небесных высот
Выпьют в бору глухари.

Гаснет лампада в избе.
Тает на небе звезда.
Горько о русской судьбе
Плачет в полях резеда.

* * *

Сердце вспорхнуло в груди,
Память услышав родную.
Как на параде, дожди
Дробь отбивают шальную.

Плащ лучезарных небес
Утро оденет на кроны.
И всем деревьям окрест
Звёзды слетят на погоны.

Яркой зарёй в облаках
Лес заалеет широкий.
Тополь в туманных лугах
Держит дозор одинокий.

Словно солдат начеку,
Старшего видя по званью,
Руку приложит к виску,
Честь отдавая сиянью.

Сердце с природой в ладу,
Крылья в груди расправляет,
В звонкую мчит высоту,
Отчий простор прославляет.

* * *

Зорька машет в небе
Розовым платком.

А в медяной степи
Мчусь я босиком.

И луна сорокой
Вьётся надо мной.
Я степной дорогой
Доберусь домой.

...Рада мне осока,
Клонится ольха.
И висят высоко
Уши лопуха.

Поле ржи зареет
Звонким ручейком.
Пусть душа светлеет
В песнях ни о ком.

Может, встречу счастье,
Раздавлю вино...
Чьё ласкать запястье —
Сердцу всё равно.

Утону я с милой
В золотой волне.
Загорят рябиной
Звёзды при луне.

* * *

Широко над пшеницы полями
Разгорелся огонь заревой.
А колосья златыми струями
Плещут счастьем в душе молодой.

Так во мне принимало участье
И шуршанье подолов берёз...
А ветвей непорочных запястье
Был готов целовать я до слёз.

Соловей напоил меня трелью...
Соловей, ты мне голос родной!

Ночь провёл под его я свирелью
С одинокой красивой луной.

Я хочу золотою душою
Для себя и людей опростеть,
Чтобы день предрассветной метлою
Выметал с неба звёздную медь.

А полей золотое сиянье,
Что в своих сберегу я глазах,
Обещает когда-то свиданье
И горенье цветов на межах.

* * *

Молнии грозно сверкали.
Вились узором в ночи.
Бездну, звеня, рассекали
Горнего света мечи.

Сила небес проливалась
На золотые поля.
Как на дрожжах волновалась
И разбухала земля.

...Утро засветит лампаду
В горнице русских полей.
Буду гулять до упаду
В куще родных тополей!

Прямо к ногам головою,
Словно поверженный враг,
Тенью падёт вековою
Ночи разрубленный мрак.

* * *

Русь, я спою для тебя колыбель —
Ту, что мне мать напевала,
Если визгливо скулила метель
Или во мгле завывала.

Ныне коварно метёт за окном —
Тьма непроглядная волчья.

Стужа терзает родимый наш дом,
Солнце растерзано в клочья.

Русь, я спою для тебя колыбель
Светом небесным и млечным,
Как напевала мне мама в метель
Светом незримым сердечным.

И содрогнётся родимый наш дом
С волчьим метельным оконцем.
И засияет небесный проём
Русским заплаканным солнцем.

* * *

Берёзы сквозят во дворе,
Сливаясь со светом отвесным.
Их кровь запеклась на коре,
Взывая к воротам небесным.

Она по стволам растеклась,
Цепляясь корнями за землю.
Но с небом я чувствую связь,
И сердцем я родине внемлю.

А чёрная кровь на коре —
Святая расплата пред небом.
Берёзы сквозят во дворе
Божественным внутренним светом.

* * *

Осень на лето ступила.
Воздух, промытый дождём,
Встрепан, как мокрая псина,
Лужи сверкают огнём.

Пальцы ветвей растопырив,
Древо спугнуло листву.
Ветер, добычу завидев,
С лаем пластает траву.

Красным и жёлтым расписан
Солнечный день поутру.

Звон колокольный услышан
Даже не в нашем миру.

Рдея, пылает рябина,
Русскому веря холму.
Это родная картина —
Писана под хохлому.

К свету родимому падкий,
Волен душой горевать,
Чтобы, хотя бы украдкой,
Родину поцеловать...

* * *

Помню я детские годы:
Каждое лето — в село.
Бурные помню я воды,
Помню, как солнце пекло.

Бабка тогда поручала:
«Ходь-ка за хлебом, внучок!..»
Бедную мелочь вручала —
Медь, к пятачку пятачок.

Шёл, обходя стороною
Местных собак да телят.
Знал, что они тут порою
Тронуть чужих норовят.

Помню: однажды втихую
Бабкины деньги ссадил,
Жвачку купил я крутую —
Хлеба тогда не купил.

Грозно сердилася бабка,
Долго бранила меня.
Стала кроватью мне лавка
Возле хмурного плетня.

* * *

Дорогая, пойми меня верно:
Тебя за руку я не держу.

Да и дереву осенью скверно,
Если шепчет листва: «Ухожу».

Ты уйдёшь — запрокинется крона,
Онемеет небес синева.
И застонет протяжно ворона
Ненароком прощанья слова.

Даже дереву ведомы чувства:
Без листвы и ветвям холодней!
Мне знакомо хмельное искусство —
Пить отраву остуженных дней.

Дорогая, пойму тебя верно:
Кто листвою сорвался с ветвей,
Отлетает от дерева нервно,
Ощущая утрату больней.

Александр КРАМЕР

ИЛЛЮЗИЯ

Рассказы

ГОЛОС

Ольге Тотровой, чей голос я, надеюсь, еще услышу.

Однажды поздней осенью я приехал в довольно большой среднерусский город, где через несколько дней должна была состояться какая-то конференция, только косвенно связанная с моей ежедневной работой; и так как я был для устроителей этого мероприятия не слишком важной персоной, то меня поселили не в гостиницу, а в так называемый «домик приезжих», что-то вроде четверосортных гостиничных комнатушек, но я не роптал, потому что был ко всяким превратностям быта привычен и безразличен отчасти. Но чему я был искренне рад, так это тому, что дом действительно оказался небольшим, одноэтажным и стоял на окраине города, почти у самого леса. Здесь было красиво, тихо, спокойно, а краткосрочные неудобства с лихвой окупались чудесной природой.

Мое временное жилище было устроено следующим образом: сразу за входной дверью был холл, оформленный в зеленых тонах, тут же, в глухом торце, находилось бюро регистрации; из холла лучами отходило пять коридорчиков, и в каждом из них находились две комнаты — по одной справа и слева. В крошечной моей комнатке стояла узкая деревянная койка, покрытая светло-зеленым покрывалом, в изголовье которой висело зеленое двухрожковое бра; напротив кровати стояло крошечное неудобное кресло с грязно-зеленой обивкой и рядом — торшер с большим, и зеленым опять же, плафоном; за окном моим виден был бор, и цвет моего жилища таким образом замечательно с ним гармонировал. На этом описание можно закончить, так как все остальные, то есть гигиенические, удобства этого дома были общими, но уж пять-то дней точно можно было с этим мириться.

Конференция начиналась еще только завтра, и у меня впереди был день целый свободного времени. Поэтому я пробыл в своем «номере» ровно столько, сколько нужно, чтоб слегка привести себя в божеский вид после дальней дороги, и тут же отправился в город.

Весь день я гулял по старому центру — любовался нарядной средневековой архитектурой и помпезными купеческими особняками позапрошлого века, побыл недолго в крошечной уютной церквушке — наедине со своею душою, далекой, впрочем, от Бога, побродил по старинному парку, погруженному в осень, подышал незнакомым воздухом, попил незнакомой воды…

Душа моя отдыхала после долгого времени постоянных нелепостей, неудач, неурядиц; я был рад наконец оказаться вдали ото всех, кто мог меня знать, о чем-то расспрашивать, выражать какие-то чувства, соотнесенные с моим настоящим, прошлым и будущим… Я именно ради этой возможности и оказался за тридевять земель на этом *мероприятии*, совершенно для меня бесполезном в действительности.

Уже перед самым вечером, проголодавшись до дрожи, я зашел в случайный невзрачный ресторанчик, неожиданно вкусно поужинал, выпил вина и теперь был если не счастлив, то, по крайней мере, не в разладе с собою, а впереди ведь меня еще ждали целых четыре таких же замечательных дня, и лес, и покой… это было прекрасно, как сказка, и я не собирался упустить ни единой минуты этого праздника.

Когда я возвратился в свой «дом», на улице было уже довольно темно и начинал понемногу накрапывать дождик. В центральном холле горел аварийный свет, сонная регистраторша на меня взглянула вполглаза и вновь задремала, а лучи коридоров были темны — свет из холла едва достигал их начала. Я, видимо, был немножечко навеселе, ну самую капельку, и пребывал в состоянии упоительной меланхолической эйфории… Наверно, поэтому, почему-то не доставая ключа, я потянул за ручку двери своей комнаты… и дверь отворилась… Я шагнул в совершенную темноту, затворил за собою дверь и не успел сделать и двух шагов, как вдруг услышал:

— Скажите, вы всегда без стука входите в чужую комнату?

Я аж вздрогнул от неожиданности, а ироническое контральто продолжило:

— Надеюсь, вы не преступник?

— Нет, я Резник, — поспешно ответил я, и мой глупый ответ заставил голос негромко и язвительно рассмеяться, и я тоже почему-то рассмеялся в ответ.

— Тогда оставайтесь, Резник, стоять возле двери и представьтесь мне дальше, если это не будет так же страшно, — непререкаемым и насмешливо-чопорным тоном приказал невидимый ментор.

Я повиновался, представился, после чего наступила вдруг долгая пауза; казалось, моя собеседница задремала, но я не решался ни уйти, ни

приблизиться к ней, ждал безропотно, что будет дальше… когда голос вдруг ожил и продолжил беседу так, как будто мы очень давно и коротко очень знакомы:

— Знаешь, у меня сегодня с утра и весь день болит голова. А теперь ты пришел, и вдруг голова у меня болеть перестала. Побудь немного со мной, хорошо? Только, пожалуйста, не подходи, стой там; мне кажется, что я плохо выгляжу, и я не хочу, чтобы ты меня видел. Пожалуйста.

Голос был нежный, низкий, с теплыми обертонами, серебристыми модуляциями… Это был колдовской, удивительный, неописуемый голос, голос гурии и прокурора, королевы и ментора… Голос все время менялся, переливался многочисленными оттенками, он был глубоким, как осень, помпезным, как купеческий особняк, колким, как холодные капли дождя, уютным, как старый заброшенный сад… Это был голос настоящей сирены, и я мгновенно попал в его прочные сети, в его нежную власть, я стал пленником этого голоса, я влюбился безумно с первого звука, чего со мной никогда в жизни не было, не было никогда даже с первого взгляда…

В маленькой комнатке витал тонкий запах каких-то чудесных духов, а в моей голове витал легкий винный туман; все это вместе дразнило воображение, рисовало какие-то странные образы — бесплотные, неосязаемые, описанию не поддающиеся… А сирена вдруг стихла и с нежной доверчивостью ребенка еле слышно сказала:

— Мне бы хотелось на тебя посмотреть. Ты такой легкий весь, праздничный… Наверное, мы бы друг другу понравились… Я не знаю… Мне так странно и тихо оттого, что ты рядом… Так странно и тихо… Но только видеться нам сегодня нельзя… Я чувствую, что сегодня нельзя, невозможно…

— Мне тоже, — сказал я, искренне и с надеждой, когда она смолкла, — хотелось бы вас увидеть. Может быть, вы разрешите мне все-таки сесть рядом в кресло?

— Нет, оставайся у двери. Мне почему-то кажется, что этого тоже делать не надо, что это тоже нельзя, а я доверяю всегда своей интуиции. Только не обижайся. Мы увидимся завтра. Наверное… Знаешь, я сегодня весь день чего-то ждала. А теперь ты пришел, такой близкий, нежный, умиротворенный… Наверное, от ожидания голова и болела, оттого теперь и прошла…

После всей этой мистики, несмотря на решительный и непреклонный запрет, мне еще больше хотелось ее рассмотреть; я вытягивал шею, старался наклониться как можно дальше, но все было тщетно, я видел только смутное очертание женщины, лежащей одетой поверх одеяла, густую копну волос, разметанную по подушке, блеск темных глаз иногда, когда она слегка приподнимала голову, я мог видеть еще невнятный абрис лица в темноте, — только все это не давало ни малейшей возможности представить что-либо конкретно…

А моя собеседница вновь затихла и неподвижно лежала, ни слова не произнося, и слышен был только дождь, неожиданно быстро набравший полную силу, да ветер, гудящий в ветвях и остервенело швыряющий в окна струи дождя.

Внезапно она поднялась на кровати, низко наклонив к груди голову, так что густая копна волос упала на одеяло, и, не повышая голоса, приказала отрешенно и властно:

— А сейчас уходи. Мы увидимся завтра. Я очень устала и теперь хочу быть одна. Это не вычура, извини, мне отчего-то снова становится не по себе. Уходи... — и застыла, как в сомнамбулическом трансе...

Я потом еще долго лежал без сна в своей комнате и слово за словом, интонацию за интонацией перебирал в своей памяти все, что произошло, ощущая с безумным восторгом, как жжет меня изнутри ожидание утра...

Назавтра с утра сложилось все суматошно, неправильно, непоправимо... За ночь во мне родился непонятный какой-то страх, какая-то робость, и я смалодушничал, решил, что успею, что не стану искать ее утром, поехал зачем-то в зал заседаний, но не досидел и вернулся, и не раздеваясь кинулся во вчерашнюю комнату, ведь вчера я вошел во второй коридорчик не справа, а слева и теперь совершенно точно знал, куда мне надо идти...

В ее номере прибиралась пожилая толстая горничная, и он выглядел абсолютно пустым, не жилым. Я как-то сразу и бесповоротно все понял, но все же, на всякий случай, стал расспрашивать про вчерашнюю гостью: где она или где может быть. Я нервничал очень сильно и, должно быть, расспрашивал с излишним напором, потому что горничная вдруг презрительно уставилась на меня и отвечала с тупым и преувеличенным равнодушием, что жилица с утра еще съехала, а куда, так это ей не доложили, может, в какой из гостиниц получше номер нашелся, почем она знает, — и стала с угрюмым усердием прибирать себе дальше, ко мне повернувшись спиною.

Я решил, что моя вчерашняя собеседница, как и я, приехала на конференцию, и тщетно искал ее в залах, и не смог узнать ее имя в бюро регистрации, и прислушивался ко всем голосам всех женщин подряд, и в городе тоже, и в транспорте, и на вокзале... старался все время оказаться поближе к любому скоплению болтающих дам. На меня даже стали коситься, но мне было на все и на всех наплевать, мне так нужно было ее отыскать, продолжить это внезапное ночное знакомство, услышать, увидеть!..

Я хорошо понимаю, что все это было случайно, как город, как ливень... как сон... и закончилось так потому, что иначе ничем и закончиться не могло... Но я все никак не забуду удивительный голос и внезапное чувство влюбленности, и восторга, и необъяснимого счастья...

Теперь уже редко совсем, только когда до безумия долго мучит бессонница, а за окнами, как и в тот вечер, остервенело воет ветер и бьется насмерть с дождем, я вдруг совершенно отчетливо слышу в глухой темноте волшебное это, серебряное контральто, слышу каждое слово, произнесенное ею в тот вечер, и так холодно мне потом, и так... безнадежно.

ИЛЛЮЗИЯ

— Ну сколько ты, в конце концов, хочешь?

— Немного накинь?..

— Накину.

— А по времени?

— Не знаю пока. Надоест, за несколько дней скажи, другого найду кого-нибудь.

— Прикольно! Давай, ладно, попробуем. Дурная капуста на земле не валяется.

1

Первый раз увидел в трамвае. Не раздумывая ни секунды, вышел следом и проводил до самого дома. Долго, вплоть до ночи, ждал у подъезда: думал, она здесь в гостях.

Назавтра снова примчался, совсем рано утром, еще затемно. Обрадовался ужасно, когда увидел, как появилась в дверях и пошла к остановке.

С этого дня стал приходить часто, как только мог: встречал после работы, провожал до дома или наоборот. Постепенно узнал, где, что и когда. Со знакомыми и друзьями тоже (визуально, конечно) ознакомился понемногу.

Она была смуглой, черноволосой, слегка угловатой. Одевалась всегда броско, ярко. И всегда на ней было что-то лимонное, абрикосовое, янтарное, золотое или какого-нибудь другого желтого цвета оттенка... Так привык к этой милой, чудесной странности, что через какое-то время уже мог идти за ней следом автоматически, держа в поле зрения один только этот солнечный притягательный цвет.

Особенно нравилось, когда пышную темную гриву волос прикрывала изящная золотистая шапочка. Изредка она в этой шапочке ехала в центр города. Тогда мчать за ней даже в толпе было совсем-совсем просто, доставляло чудесное удовольствие.

Почему-то она всегда торопилась. Двигалась резко, порывисто, неудержимо — будто летела.

Всегда специально чуть-чуть отставал, чтоб издали видеть, как мелькает стремительно в ленивой инертной толпе ослепительный солнечный зайчик. И такая радость тогда душу охватывала, такой восторг — непередаваемые.

Кажется, она ничего никогда не замечала. По крайней мере, старался, чтоб не заметила. И за короткое время ужасно к ней привязался, просто невыразимо... Если долго не видел, тоска нападала — черная, безысходная!.. Поэтому и боялся хоть какой-нибудь неосторожностью себя выдать, случайно разрушить возможность быть хоть так с нею рядом.

Что говорить, конечно, хотел познакомиться, но никак не решался. Представить не мог, что будет, если вдруг не удастся — оттолкнет, рассмеется... Ведь после этого видеть станет невозможно, немыслимо. Как представить, что больше нельзя будет видеть?! Лучше птица-синица, чем бездонная пустота запрета. Старомодная сентиментальность? Неважно. Пусть будет как есть.

2

А потом ее вдруг не стало. Испарилась! Исчезла! Думал сначала, что в отпуске, заболела... Весь извелся, издергался. Все ходил и ходил по всем известным местам. Даже когда уже понял, что ждать и искать бесполезно, потому что ни дома, ни у друзей... нигде больше не появлялась, продолжал приходить к подъезду, надеялся неизвестно на что...

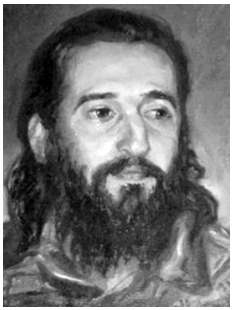
Так привык к ней — невообразимо! Когда исчезла, задыхался все время, как в безвоздушном пространстве. Невозможно было представить жизнь без счастья нестись за нею вдогонку. Тогда и отыскался однажды эксцентрический выход. Тогда и нашелся нелепый заменитель отблеска солнца. Для этого раз в неделю устраивал себе маленький суррогатный праздник-«иллюзион».

Приходил, как всегда, еще затемно. Становился совсем далеко от подъезда — и ждал. Отчего-то, как и при ней, волновался все время, нервничал... Пока внезапно — далеко-далеко — не выходила... ОНА — подвижная, броская, в золотистой изящной шапочке на темной пушистой гриве.

3

Доезжал, как и прежде, следом за ней до центра и, как привык, отставал немного, чтоб видеть отчетливо летящий в безликой ленивой толпе ослепительно яркий, стремительный, неудержимый солнечный зайчик... и печально направлялся домой — жить эфемерной надеждой, ждать следующей, неотменяемой, иллюзорной встречи.

Сергей СКОРЛЯКОВ



СЛЁЗЫ ИВ

Стихи

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМНОГО ОСКВЕРНЕНИЯ

Последствие земного осквернения
Открыло тенью двери в никуда.
Течёт вода. Возносятся растения,
Их поедает смертная еда.

Опустошение моё меня ласкало,
По скалам мысли горькие опять
Оно размазало, и зарыдали скалы.
Я так устал меж скал один стоять.

Уменье ждать, не дожидаясь сути,
Решило всё, как прежде, за меня.
Оно решило, что меня не будет
Когда-нибудь, и путь не поменять.

Скорбь опустила руки на колени.
Из тени мы не вынем без труда
Своих скорбей, с чьей помощью болела
В телах и душах вечность как среда,

Среда, что в нас с тобою благотворно
Живёт и дышит, верит и зовёт,
Но запрещает, как цензура порно,
Узнать о том, что будет наперёд.

Мы вновь в исподнем лезем в преисподнюю,
На сотни лет планируя с утра.

Что будет завтра — сделано сегодня,
А что сегодня — сделано вчера.

Но ведь никто не хочет верить в завтра,
Никто не хочет дряхнуть и стареть.
Но все при этом верят во внезапность,
Как неизбежность принимая смерть.

Я в эту смерть не верю вместе с теми,
Кто не по теме думают о дне,
В котором мир, что был вокруг всё время,
Лишится мира, что всегда во мне.

СЛЁЗЫ ИВ

Как себя хорошо понимаешь в пути.
Только всё потеряв, можно всё обрести.

И присев отдохнуть возле девственных вод,
Ивы плачут, и в каждой слезе Бог живёт.

Я корнями врастаю вот в эту траву,
Только так я живой, только так я живу.

Всё, что надо, вместимо в четыре строки,
Умереть не в больнице, а здесь, у реки.

Мы по жизни куда-то бежим и бежим.
Лишь пройдя через смерть, можно чувствовать жизнь.

Всё, конечно, не так, это гнусная ложь,
Только жизнь ощутив, даже в смерти живёшь…

НЕРВ

Я нерв, я запал, я заряд!
На сопли я ставлю, без мер, печать.
«Не нервничай», — мне говорят,
А я не способен не нервничать.

Как струны, все нервы звенят,
Ни в правду, ни в совесть не веруя.

Не нервничать просят меня —
«Не восстановить клетки нервные».

«Создать попытайся уют
Внутри и снаружи, как ауру».
А я на советы плюю,
Ножом себе нервы повспаровав.

Как сонной не может стать прыть,
Так нерв, словно шнур, оголяется,
Ведь нерв неспособен не быть,
Чем сам по себе не является.

БОГОНОСЦЫ

Мы в своей стране, а не в долговой яме!
Ну кому мы должны за рождение и душу?
Стали все почему-то теперь россияне.
Кто сказал, что русским называться не нужно?

Вера в свой народ, как курок на спуске,
Не зависит от правил «гуманных» империй.
Атеистом не может быть ни один русский:
Русский, чисто физически, не может не верить.

Сколько стоит душа наша, совесть и мать?
И кто верит, что это всего лишь вопрос цен?
По законам Божьим, не нам решать,
Кому бесом быть, а кому Богоносцем.

Бог в народе! Они навеки связаны.
Народ — это я, вернее, часть я его,
Но все вечно путают душу с разумом,
Как Библию с Христом, в представлении Бердяева.

А дорога лишь в ад открыта большая,
Мы грешны с рождения, как Иуда с Каином.
И если не верить в то, что нам внушают,
Где грань атеизма и Богоискания?

Стой на ногах и не свалишься вниз ты!
Русь никогда не была на коленях!

На коленях стоят только лишь атеисты,
Которые себя называют ею.

Вера снова смотрит в глаза и лица им,
Вот только Бог им совсем не нужен,
Но наша святая инквизиция
Придёт и по их грешные души!

Вера в свой народ — и есть вера в Бога,
А единство её называется раем.
Пусть порою трудна Русской веры дорога,
Только веру, как Родину, не выбирают!

ПОЭТЫ

Мы все выбираем свой путь,
Мы все перелётные птицы.
Становятся все кем-нибудь,
Поэтом лишь можно родиться.

Их путь, состоящий из бед,
Порой не приводит их к раю.
Когда умирает поэт,
То многое все понимают.

Все поняли, что смысла нет
Поэтам от славы и лоска,
Когда одержал пистолет
Победу над Маяковским.

Все поняли: гениев мало,
Божественность их бесполезна,
Когда сердце Бродского встало
От человечьей болезни.

Все поняли, что не дано
Поэтам писание речёвок,
Когда одержало окно
Победу над Башлачёвым.

Нужна их поэзия для
Раскаяния над прегрешением,

Уж раз одержала петля
Триумф над есенинской шеей.

Понятно всем, что жизнь вела
От сцены к разрытой могиле,
Поскольку стакан и игла
Высоцкого в ящик забили.

Их жизней короткая нить —
Как лишняя строчка абзаца.
Но если поэту поэтом не быть,
То незачем вовсе рождаться.

Ольга ОБЛОМОВА

ПЛАТЬЕ ДЛЯ НИНЫ

Рассказы

«ДОРОГАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА!»

Вчера Ирина Васильевна с мужем отметили 15-летний юбилей совместной и почти счастливой семейной жизни. У них было всё, кроме детей. Точнее даже, детей не было у нее — мужу было и так хорошо. Собственно, из-за этого и разгорелся скандал после того, как отзвучали многочисленные поздравления и разошлись посторонние.

Одинаково начинавшиеся со слов «дорогая наша Ирочка» поздравления подружек и слегка выделявшаяся официозом «дорогая Ирина Васильевна» речь приятельницы из районо предсказуемо закончились пожеланием счастья, любви и всего, чего еще не хватает для полного счастья. Не хватало только детей и, хотя прямо никто из гостей об этом не сказал, но мысль все равно витала в воздухе и не то чтобы портила настроение, но делала юбилей семейной жизни каким-то не соответствующим сути торжества.

Тем не менее посидели в их просторной квартире хорошо, повеселились от души, и, если бы не дурацкая шутка подвыпившего мужа, юбилей бы удался «на все сто». Вообще-то муж и раньше шутил на тему: зачем тебе дети — у тебя их вон сколько! 14 лет тому назад классный руководитель 5 «Б» Соловьева Ирина Васильевна смеялась над шуткой вместе с мужем. Действительно, 30 детей в классе — воспитывай, сколько хочешь! Спустя два года Ирина любила свой подросший 7 «Б» по-прежнему, однако шутка мужа уже не вызывала столь бурного восторга, а в душе поселилось беспокойство по поводу столь длительного отсутствия собственных детей. Врачи посчитали беспокойство преждевременным. На какое-то время успокоилась и Ирина.

Ей пришла в голову идея организовать в школе литературный кружок, которую молодая энергичная учительница вскоре реализовала. Десяток учеников, точнее учениц, «пробовали перо» под руководством чуткой преподавательницы, а муж Ирины получил

возможность модернизировать юмор: зачем тебе свои дети — у тебя их и так 40 человек! Да, 30 человек в ее 8 «Б» и 10 участников литературного кружка — итого 40. Правда, трое как раз из ее класса, но это не суть важно. Усилия фонтанирующего идеями и пышущего энергией для их реализации молодого педагога были замечены наверху. Вскоре Ирина Васильевна стала завучем, а спустя какое-то время — директором школы. «1350 детей — чего еще нужно», — от души веселился муж. Но то были чужие дети, а Ирине хотелось своих.

* * *

Нельзя сказать, что за годы семейной жизни она не пыталась донести эту мысль до мужа. Пыталась даже уговорить его сходить к врачу: а вдруг проблема у него? Но проблема, похоже, была только у нее: ему дети были не нужны, и их не было. То есть, по сути, у него никакой проблемы не существовало в принципе. Идти к врачу муж отказывался, ссылаясь то на самочувствие, то на занятость. Ирина понимающе вздыхала: действительно, сложно вырваться куда-либо при графике работы с 9 до 18 часов. Правда, кое-какие сомнения Ирину посещали: почему-то отпроситься на рыбалку среди рабочей недели муж мог, а в поликлинику — нет? Но еще 10 лет тому назад Ирина относилась к этому сочувственно: действительно, то ж рыбалка, а что за удовольствие ходить по врачам? В какой момент сочувствие переросло в раздражение, Ирина не знала…

В общем-то, чужими детьми она тоже занималась с удовольствием: нашла возможность отремонтировать в школе еще два помещения под классы, надеясь «разгрузить» вторую смену. «Разгрузить» вторую смену ей не дали, зато разрешили после набирать три десятых класса, а не два, как раньше. Такое себе могли позволить далеко не все не то что школы, а даже лицеи и гимназии: из четырех параллельных классов, окончивших неполную среднюю школу, формировали три старших класса, получив возможность «сманить» хорошистов из соседних школ, где возможностей продолжить учебу было меньше.

Супруг в очередной раз модернизировал свою уже бородатую шутку про теперь уже 1400 детей, которые должны полностью удовлетворить все потребности и инстинкты Ирины. Гости к этому времени уже разошлись, поэтому муж услышал всё, чего не слышал за все 15 лет семейной жизни. Юбилей закончился скандалом, а муж собрался и ушел к маме. Впервые за 15 лет.

* * *

Впервые за 15 лет Ирина проснулась утром без мужа. То есть муж, конечно, и раньше уезжал в командировки или к друзьям на пару дней в другой город, но то было другое. Муж отсутствовал дома, но он был, а сейчас мужа не было дома и как будто не было вовсе. Что делать с этим незнакомым ощущением и ситуацией в целом, Ирина не знала. Поэтому просто собралась, как обычно, на работу, надеясь там отвлечься от путаных мыслей.

Полностью отвлечься не получилось, но то, что понедельник в этот раз выдался в школе спокойным и не мешал возвращаться мыслями к домашним делам, почему-то порадовало. Действительно, а что с этим всем делать?! Муж Александр был любимым и единственным всю ее жизнь. Надежда стать мамой и обрести наконец-таки полноценную семью еще не угасла. Других мужчин у Ирины никогда не было: сначала «девчоночий» вуз, потом женский коллектив и всегда рядом — веселый жизнерадостный Александр, брат одной из подруг. Если бы у подруг не было братьев, то Ирине было вообще непонятно, как бы она вышла замуж.

Хотя до Александра она дружила со своим одноклассником, тоже Сашей. Вместе ходили в школу, из школы, в кино после школы и на дискотеку по субботам. Обсуждали фильмы и книги, общих знакомых и погоду, пока за пару месяцев до выпускного Саша со свойственным юности максимализмом не затребовал «всё или ничего». Ирина не была ни ханжой, ни консерватором, но, как человек здравомыслящий, хотела сначала закончить школу и поступить в институт, а потом уже строить серьезные отношения. Да и вообще, они даже ни разу не поцеловались — с чего вдруг?! Александр, в полном соответствии со своим ультиматумом, не получил ничего и на какое-то время перестал оказывать Ирине знаки внимания. Потом они помирились, еще пару-тройку лет время от времени общались, а потом пути разошлись.

То есть получается, что он был как бы Александр-первый. Но с ним ничего не было, поэтому он теперь не в счет. А муж был Александр-второй, но он был на самом деле первым и на сегодняшний день единственным. Невзирая на отсутствие детей и странноватое нежелание супруга иметь наследников, Ирина никогда не обдумывала идею переустроить личную жизнь. Да если бы и задумала: где, как, каким образом искать замену такому веселому и привычному Александру II?

Правда, в последний год она частенько возвращалась мыслями к своему Александру I: интересно, 20 лет тому назад она могла иметь детей или нет? Эта неспособность была врожденной или обретенной? В какой момент произошел сбой? Быть может, если бы она тогда не отказала, а, скажем так, отложила эту тему до второго-третьего курса, то сейчас было бы всё иначе?

Считается, что если о человеке начать думать, то он обязательно появится в твоей жизни вновь. А может, люди начинают думать о ком-то потому, что этот кто-то уже появился где-то рядом.

— Ира, привет, — услышала Ирина, возвращаясь пешком домой после школы по теплым весенним улицам города. До выпускного оставалась буквально пара месяцев. А по тротуару быстрым шагом ее догонял Александр I.

— Как жизнь? — спросил Александр I так, как будто они не виделись пару дней, а не 17 лет.

— Саша не хочет детей, — почему-то ответила Ирина так, как будто не видела Александра I всего несколько дней и он был в курсе всех ее дел. Озвучила то, что ее беспокоило в данный момент более всего. Александр I повел левой бровью и слегка пожал левым плечом. Он всегда так делал, когда не знал, как реагировать.

— Саша — это муж, — на всякий случай уточнила Ирина. На самом деле она даже не знала, в курсе ли Александр I того, что 15 лет тому назад она вышла замуж. К этому времени они уже не общались, но, как знать, ведь есть общие знакомые. Хотя от кого она могла хотеть детей, если не от мужа? Мысли клубились, как змеи в брачный период, и зафиксировать внутренний диалог не получалось. Видимо, вовлекать в него Александра I было тем более глупостью, которую Ирина уже успела осознать, поэтому перевела разговор на общих знакомых.

Они гуляли до позднего вечера, а потом Александр I вызвался проводить ее домой. Обычно до дома ее провожал муж. Точнее, по ее звонку выходил к автобусной остановке, расположенной на залитом электрическим светом проспекте, и сопровождал через два темных квартала и подъезд с разбитыми лампочками. Сейчас мужа не было, поэтому до квартиры ее довел Александр I. А может, муж вернулся и уже ждет ее дома? Ирина открыла дверь. Дома было темно, и почему-то уже от порога понятно, что пусто.

— Чаем угостишь? — спросил Александр I. «Такой же наглый, как в школе, — подумала Ирина, но вслух сказала: — Конечно!»

— Саша, у нас гости, — на всякий случай окликнула Ирина. Ей никто не ответил, Александр I прошел на кухню, а Ирина прошлась по комнатам, включив везде свет и убедившись, что мужа нет. Хорошо это или плохо, она сейчас не знала. Электрический чайник закипел очень быстро.

— Может, ты хочешь есть? — спросила Ирина своего гостя. Вообще-то ужин предназначался мужу, но его не было, а был Александр I, который отказываться не стал. Вместе поужинали, продолжая болтать о книгах, фильмах и погоде и перемывать кости общим знакомым. Потом весело в четыре руки перемыли всю посуду. Ирина взяла крем для рук. Муж тоже иногда пользовался ее кремом после мытья посуды. Иногда пользовался, иногда нет. Ирина задумалась, нужно ли предлагать свой крем гостю.

— Ира, — позвал Александр I и взял ее руку в свою. Почти как 20 лет назад перед тем, как предъявить ультиматум. Сейчас он ничего предъявлять не стал, а просто поцеловал Ирину. Поцелуй был коротким и решительным. Почти как печать на документах в районо. «Только печать мокрая, а поцелуй сухой и горячий», — почему-то подумала Ирина. Больше в этот день она не думала ни о чем.

* * *

С Александром I они обменялись телефонами и договорились иногда созваниваться, что время от времени и делали. С мужем они помирились, и все пошло по накатанному пути. Учебный год подходил к концу, дети с нетерпением ждали каникул, выпускники готовились к поступлению, а школа — к последнему звонку и выпускному. Все было хорошо, только Ирина как-то неважно себя чувствовала. На традиционную для конца учебного года усталость это было не похоже. Иногда подташнивало, но как-то не так, как при отравлении или перепадах атмосферного давления. Все время хотелось что-нибудь

съесть, но что — непонятно. Если бы Ирина могла иметь детей, то решила бы, что она в положении. Если бы…

Заняться своим здоровьем Ирина запланировала сразу после выпускного. Так и сделала: отправилась к врачу, когда отзвучали все поздравления и напутствия, слова благодарности выпускников и родителей, одинаково начинавшиеся со слов «дорогая Ирина Васильевна» и предсказуемо заканчивавшиеся огромным спасибо за все, что сделала для них школа и лично Ирина Васильевна.

Ликованию доктора не было предела: еще бы, столько лет усилий и неопределенности закончились результатом! Определить пол будущего ребенка врач пока не взялся, но сообщил Ирине, что плод развивается нормально. Ирина на новость не отреагировала никак, чем слегка удивила доктора. «Вот и пойми этих женщин», — подумал доктор. Доктор был мужчина. Посвящать его в подробности своей личной жизни Ирина, естественно, не стала.

Как реагировать, она тоже не знала. Разговаривать с мужем не хотелось, тем более на тему детей. После ссоры и последующего примирения стало както очевидно, что для дальнейшего мира и покоя в семье эту тему нужно закрыть окончательно. Вот так очевидное совпало с невозможным. Оповещать Александра I не хотелось тоже. В ее состоянии не хотелось ничего, даже в отпуск, хотя врач и сказал, что анализы практически в норме и в ее положении ухудшение самочувствия — это нормально.

Хотелось быстрее приступить к ремонту в школе и подготовке к новому учебному году. Как ни странно, на работе Ирина себя чувствовала лучше, хотя считается, что вдыхать строительную пыль не полезно для будущих мам, а звук работающего перфоратора — совсем не то, что должен слышать ребенок в утробе матери. «Вырастет — станет строителем», — подумала Ирина, в очередной раз контролируя ход строительных работ. К концу лета она уже знала, что будет мальчик.

Ремонт успели закончить даже раньше намеченного срока, еще до общегородской конференции педагогов в августе. Новый учебный год школа под руководством Ирины встретила в полной боевой готовности. В планах на ближайшее будущее — добиться для школы статуса гимназии. Проанализировав все «за» и «против», Ирина решила, что гимназия перспективнее, чем лицей.

Дома тем временем очевидное стало понятным. Разговор с мужем был сухим и коротким, как отживший черенок растения, который так и не смог вырасти и дать плоды. Как выяснилось, муж распрекрасно знал о своей неспособности иметь детей. Таки проверился где-то втихаря, но не захотел рушить удобный для себя быт с Ириной. Может, думал, что Ирина когда-нибудь смирится. Может, вообще ни о ком не думал, кроме как о себе.

Разговор состоялся почти через месяц после Дня знаний 1 сентября и никак не помешал решению неизбежных для начала учебного года школьных проблем, за что Ирина была мысленно благодарна супругу. Александр II собрался и уехал жить к маме, теперь уже насовсем, о чем Ирина и рассказала Александру I при

очередном созвоне. Александр I, казалось, даже не очень удивился. Об интересном во всех смыслах положении Ирины он уже знал, однако не до конца проясненная ситуация с отцовством заставляла сдержанно реагировать на ситуацию.

Буквально на следующий день он перезвонил сам и предложил, так сказать, воссоединиться. Через неделю после отъезда Александра II он уже переехал к Ирине. Официальный брак они оформили тоже через неделю после развода с Александром II — справка из консультации ускорила процесс. В школе о перипетиях своей семейной жизни она не рассказывала, поэтому, когда бдительные старшеклассницы заметили новое обручальное кольцо у нее на руке, сказала, что просто купили с мужем более модные и современные. О смене мужа Ирина промолчала — разговаривать на эту тему с посторонними не хотелось.

* * *

Мальчик родился сразу после Нового года. Таким образом, Ирина успешно завершила первое учебное полугодие, отправила учеников на каникулы и со спокойной душой отправилась в роддом. Все прошло относительно благополучно, насколько это возможно в случае, когда первый ребенок появляется в 37 лет. Мальчика назвали Коля. Николай Александрович смотрел серьезным вдумчивым взглядом и даже почти не плакал, как подобает настоящему мужчине. А может, просто пока не хватало силенок для бурного выражения эмоций — все-таки 3 килограмма 100 граммов по нынешним временам считается как-то маловато.

Друзья и знакомые с энтузиазмом поздравляли Ирину. Подружки желали «дорогой нашей Иришке» и ребенку здоровья и счастья. Все, кто был в курсе, поздравляли молодоженов. Приятельница из районо тоже заглянула поздравить «дорогую Ирину Васильевну» с важным событием в ее жизни и заодно пообещала помочь со статусом гимназии на будущий учебный год.

Александр I выглядел счастливым и довольным своей семейной жизнью. К слову, он с удивлением узнал, что Ирина — директор школы и несет на себе такой огромный груз забот и ответственности. Раньше ее жизнью за пределами их отношений он не интересовался. Правда, Ирина тоже, только расписавшись с Александром I, выяснила, что тот уже успел однажды жениться, развестись и теперь платил алименты на двух детей. Его жизнь за пределами их отношений ее никогда не интересовала. Хорошо это или плохо, она пока не знала. Но как минимум одно ее большое желание в этой жизни он уже исполнил!

ПЛАТЬЕ ДЛЯ НИНЫ

«Утро и кофе — просто созданы друг для друга!» Да уж, мерзкое утро и поганый кофе сочетались как нельзя кстати. «Из какой же это рекламы?» — пыталась вспомнить Нина, но название заполонившей всё вокруг торговой марки почему-то выскользнуло из сознания. Ну и ладно — быть может, понедельничное утро и растворимый кофе вообще ни при чем. Быть может, дело в том, что

последние несколько лет каждое утро одинаково мерзкое и похоже на утро понедельника в любой из дней недели.

Нина сделала еще глоток и приступила к своим обязанностям офис-менеджера. На самом деле еще несколько лет назад всё было хорошо, но как-то не ценилось. Зарплаты офис-менеджера крупной компании вполне хватало на жизнь, а знакомство с Николаем изрядно скрасило кризис среднего возраста. Они даже вроде как собирались пожениться. Вроде как — потому что Нина после двух разводов наслаждалась отсутствием обязательств, неизбежных в семейной жизни, а Николай после трех браков рьяно охранял свою свободу.

Так и продолжалось, пока Николай не слег с болезнью и инвалидностью. То есть Нина по-прежнему приезжала к нему после работы почти каждый день, но уже не для романтических посиделок и утреннего кофе в постель, а затем, чтобы сделать уборку, постирать и приготовить Николаю ужин. Себе Нина почти ничего не готовила — бутерброды и кофе, который все чаще напоминал не о романтике, а о собственном повышенном давлении.

* * *

— Здравствуйте! Наши документы готовы? — размышления Нины прервал требовательный голос. Обладательница юного требовательного голоса красовалась в шикарном платье насыщенного красного цвета, который никак не вписывался ни в интерьер офиса серьезной компании, ни в настроение мрачного утра понедельника. Такое впечатление, что юная леди пришла сюда прямо с воскресной вечеринки, не переодевшись. А может, так оно и было.

— Какая компания? — уточнила Нина.

— «RekFly-525», — нетерпеливо ответила девушка. Такое впечатление, что Нина обязана помнить наизусть представителей всех обслуживавшихся здесь пяти тысяч компаний, большинство из которых появлялись живьем раз в полгода.

— Пожалуйста! — Нина протянула файл с бумагами.

— Спасибо! — девушка проследовала к выходу, демонстрируя в полный рост не только шикарное платье, но и еще более шикарную фигуру.

Когда-то Николай сказал, что готов исполнить ее мечту — купить Нине шикарное платье, как для аргентинского танго. Именно в этот день на работе сообщили, что традиционной премии ни за год, ни за квартал не будет — кризис. Взбудораженный мозг Нины лихорадочно соображал, на какие шиши готовить новогодний стол. Поэтому идея покупки платья показалась неуместной, о чем Нина так прямо и сказала Николаю.

Николай обиделся — предложил же от чистого сердца! Они поссорились и не разговаривали, а через месяц он попал в больницу с инфарктом. Деньги, отложенные на платье, благополучно ушли на лечение, и тема больше не возникала. О женитьбе тоже больше не вспоминали — не до этого.

* * *

— Простите, а где здесь акт выполненных работ с «мокрой» печатью? — это вернулась леди в красном. Второй раз Нина рассмотрела платье поподробнее. Декольте было глубокое, но не слишком вызывающее — такое подошло бы даже Нине. И, как знать, согласись тогда она на платье, то и ссоры не было бы, и Коля в своем почтенном предпенсионном возрасте не нервничал и не слег бы с инфарктом.

— Разрешите! — Нина взяла файл и вытащила листы. — Вот! — искомый акт был подколот вторым сверху. Больше с Ниной разговаривать было о не о чем, и счастливая носительница красного платья, попрощавшись второй раз, убыла. Интересно, что Нина в юности занималась бальными танцами, но никогда не позволяла себе носить яркие экстравагантные наряды в повседневной жизни. Почему? Быть может, потому что считала их неуместными для окружающей действительности.

Первый муж был военным, и сразу после педагогического института она отправилась к его месту службы в одну из республик тогда еще единого СССР. Через пару лет начались первые всплески национального самосознания, затем проблемы посерьезнее, развал Союза и армии. Взбунтовавшимся нацокраинам оказались не нужны учителя русского языка и литературы, а Нине оказались неинтересны бесконечные жалобы мужа на отношение государства к армии. Отсутствие денег дополнило картину, и они расстались.

Второй муж удачно вписался в «лихие 90-е», держал свой ресторан и стриптиз-бар. С ним Нина познакомилась, когда вернулась домой после развода и неожиданно легко устроилась инспектором СЭС. Сама она не очень оценила свой успех и очень удивилась, когда на встрече выпускников филологического факультета пединститута ее работа была признана лучшим трудоустройством года.

Бизнес процветал, отсутствие проблем с санэпидстанцией экономило заметную для заведений общественного питания часть бюджета. Все было бы хорошо, если бы не бесконечные пьянки мужа и многочисленные проститутки, весьма результативно атаковавшие морально нестойкого супруга. Попытки поговорить заканчивались лекцией мужа о мужской полигамности и естественности измен как таковых.

Страдания моральные вскоре дополнились проблемами материальными — почти всю прибыль муж спускал «на девочек» и прочие атрибуты «красивой жизни», а потом и вовсе был вынужден отдать бизнес за долги. Нина развелась, а вскоре потеряла и хлебное место инспектора СЭС — так же легко, как и нашла. У нового начальника оказалась большая семья: дочь, которая заканчивала институт, две безработные племянницы и любовница, попавшая под сокращение штатов в районной экологической инспекции. Всем нужна была работа, и Нина в компании еще трех сотрудниц, не имевших профильного образования, отправилась «на кислород».

* * *

— Нина Васильевна! Я принес копию диплома! — Нина даже не слышала, как подошел новый сотрудник из отдела техобслуживания. Нина задумчиво посмотрела на новенького. «Я принес» в его исполнении прозвучало столь же торжественно, как «Кушать подано!» в провинциальном театре. Действо сопровождалось голливудской улыбкой в 32 зуба.

— Вы просили копию диплома — я сделал! — как-то по-своему истолковал молчание Нины новоиспеченный выпускник местного политеха, уже успевший заинтересовать многих сотрудниц и клиенток. В его понимании, он, видимо, очень льстил Нине своим вниманием.

— Да, спасибо! — Нина взяла копию.

— И еще звонил «RekFly-525» — хотят продлить контракт и просят принять их в пятницу. Запишите, чтобы меня в пятницу не ставили на выездные встречи, — уже менее пафосно затараторил новенький, обрадованный хоть какой-то реакцией Нины. Однако голливудскую улыбку держал прочно. Почти так же улыбался и Николай в тот день, когда они познакомились.

Новый виток личной жизни у Нины опять совпал с изменениями в профессиональной. Одной компании нужен был специалист не столько посвященный в нюансы бизнеса, сколько умеющий грамотно писать и править многочисленные деловые письма, которые директор, неспособный письменно связать двух слов и делающий по 15 ошибок на странице, обожал строчить к месту и не к месту, причем второе — чаще. Обязательное условие — умение держать язык за зубами, что для Нины не проблема.

Правила корпорации требовали от сотрудников регулярного посещения тренингов личностного роста. На одном из таких, где дети с дипломами, ни дня не работавшие в реальном секторе экономики, учили общаться с клиентами и повышать продажи, Нина познакомилась с Николаем. Под комментарии обаятельного соседа Нина срисовала таблицы с флипчарта, мысленно исправив 4 ошибки на первой странице и еще 5 — на второй, а в перерыве, во время кофе-брейка, уже по-настоящему оценила очаровательную улыбку и галантность нового знакомого.

Это было почти 10 лет назад, когда были деньги и не было кризиса, все были здоровы и свободны от обязательств. Сейчас не было ни денег, ни здоровья, ни даже тренингов личностного роста. Было только моральное обязательство поддержать Николая, который в борьбе за свою свободу оказался никому, кроме Нины, не нужен.

* * *

Нина вряд ли когда-то сможет объяснить, как она поняла, что Николая больше нет. Просто проснулась утром и подумала, что вот, собственно, и всё. Заехать решила прямо по дороге на работу — нехорошо как-то, чтобы усопший лежал до вечера. Ключи у Нины были свои — после инфаркта и инсульта Николаю было тяжело лишний раз вставать с кровати.

По дороге Нину посетили сомнения: а вдруг показалось? И Коля очень удивится, увидев ее с утра пораньше. Тогда нужно, как минимум, придумать причину столь раннего визита — ну не называть же настоящую! Причину Нина так и не придумала, да она и не понадобилась — любящее, даже когда-то любившее сердце ошибается редко. Следующие три дня Нина была занята похоронами, так как больше некому, а в пятницу с каким-то непонятным облегчением вышла на работу.

В середине дня появилась записавшаяся на прием девушка из «RekFly-525» — опять в том же красном платье. Красное платье никак не гармонировало с пасмурной погодой и рабочей обстановкой пусть даже последнего рабочего дня на этой неделе. Такое впечатление, что юная леди собиралась куда-то пойти вечером, но не имела времени заехать домой переодеться, поэтому навела марафет прямо с утра. А может, так оно и было…

— Здравствуйте! Вы успеете сделать наши документы до понедельника? — требовательным голосом спросила леди в красном.

— «RekFly-525»? — на всякий случай уточнила Нина.

— Да! — нетерпеливо ответила девушка. Конечно, ведь Нина обязана знать их всех наизусть.

— Оставьте, в понедельник будет бухгалтер, все сделает, и вы заберете, когда вам удобно, — посоветовала Нина. В пятницу оборки на красном платье посетительницы смотрелись как-то иначе, чем в начале недели, — более празднично, что ли.

— Так вы успеете? — не унималась девушка.

— Да! — ответила Нина, хотя на тренинге совершенствования личных компетенций им рассказывали, что не следует брать на себя ответственность, если случай не относится к перечню собственных должностных обязанностей.

Нина почти физически ощутила, как ей надоело действовать по надуманным правилам и входить в чье-то положение. Вникать в постоянное недовольство первого мужа и терпеть пьянство второго. Экономить деньги, потому что кризис, и слушать разговоры про чью-то свободу, которая оказалась даром никому не нужна. Просить пошевелиться бухгалтерию, хотя оперативно готовить документы — их прямая обязанность.

Да! — повторила Нина то ли девушке, то ли себе. Но леди в красном уже ушла. «Когда зайдет снова — спрошу, где покупала платье», — подумала Нина. Однако мысленно уже припоминала, где видела почти такое же, только более сдержанного цвета и более подходящее ей по возрасту. Да, следующие выходные она впервые за четверть века проведет так, как хочет сама — выбирая шикарное платье и не думая, куда в нем можно пойти. Она пойдет в нем по жизни.

«А все-таки нужно спросить, где она покупала это платье, — решила Нина. — Если что, то возьму еще одно!»

Маргарита РАЗОРЁНОВА

СВЕТЛА ЛЮБОВЬ…

Стихи

* * *

Светла любовь к тебе, Отчизна.
Есть среди всех твоих широт
Любимый город, где небыстро
Сура привольная течёт.

На берегах её холмистых,
Как в детстве, яблони цветут.
В их кронах ало-серебристых,
Как музыка, пчелиный гуд.

Мне всё дороже с каждым годом
Пора, когда расцвет садов
И город белым пароходом
Плывёт средь вешних облаков…

ВО ВСЕХ ВЕКАХ

Во всех веках есть свет морской судьбы.
В нём виден облик гордых жизнью предков.
Отчизны славной храбрые сыны,
Вас уважаем, ценим, любим крепко.

А служба трудная, в глубинах иль средь волн,
Полна всегда и воли, и отваги.
И мужество для моряков — закон,
И флотская душа в бессмертном стяге.

Морское братство пусть любовь хранит.
Дыханье волн в сердцах неугасимо.
А честь морская — твёрже, чем гранит,
Кто дух её познал — достоин быть счастливым.

СОЛОВЬИНЫЕ РАССВЕТЫ

Памяти мужа
Вячеслава Власова

Стёжки-тропки к Семиключью.
Дом в сирени над Узою.
Пело небо,
пели кручи
Соловьиною порою.

Светоносной птахи пенье
Согревало нам надежды,
Воскрешало откровенье,
Пробуждало в сердце нежность.

Звёзды хоровод водили,
Росы кланялись рассвету.
До зари в лугах бродили…
Как-то кануло всё в Лету.

И не стало больше света
Семиключенских просторов…
Соловьиные рассветы,
Ваш напев навеки дорог.

* * *

Жасмин расцвёл.
Пушистый, нежный,
Он дышит светлой тайной грёз,
Мечтой, что жизнь ещё безбрежна
И что коснуться можно звёзд.

Восходит радость — радость лета!
В саду малиновка поёт

И верить в звёздные рассветы
Нас песней ласковой зовёт...

* * *

На пензенских холмах опять ликует май,
Дыхание весны в бушующей сирени...
Звени, звени, ручей,
мне песню напевай,
Напев твой звонкий слышу с колыбели.

Под гром пришедших гроз и пенье соловья
Моя душа невольно оживает...
К тебе, мой край,
любовь моя сильна,
Благословеннее любви
душа не знает!..

* * *

Утренний трепет берёзы,
Долгая трель соловья,
Трав соковитых укосы,
Лепет лесного ручья...

С детства мне дорог и мил он,
Русский родной уголок —
Ключик и веры, и силы,
Песни заветной исток...

ЗЕМЛЯ

Дарует всё земля,
Чтоб мы под солнцем были.
Любовь дана не зря,
С ней обретаем крылья.

Небес лучистый взор
Роднит нас с высотою,
Чтоб ощутить простор
И глазом, и душою.

Нам надо величать
Судьбы своей истоки,
И землю привечать,
И кланяться ей в ноги.

Она любовь растит,
И роду нет забвенья,
Любовь же всё вершит,
В ней вечность возрожденья.

МАМИН ЛИК

Снова вьюга злая закружила,
Ветром юную весну тесня.
В вешний день, наверное, решила
Холодами испугать меня.

Где грачонок?
С ветки заоконной
Он глядел с утра ещё в окно,
И весны улыбкой просветлённой
С ним я любовалась заодно.

Но от вьюги день так взбудоражен —
Даже кот игривый мой притих.
Жду, что кто-то доброе мне скажет.
Вдруг возник он — мамин светлый лик.

— Что ты, дочка, так разволновалась?
Опускать не надо головы!
Что с того, что вьюга разгулялась,
Что не видно неба синевы?

Будет час и радостен, и звонок!..
Ветер стих, и вьюга улеглась.
А в окошко заглянул грачонок,
И весна в душе моей зажглась.

В РОДИМЫХ РОДНИКАХ

В родимых родниках
Бессмертна Руси речь,

И свет её в очах
Бог просит нас сберечь.

России не любить —
Душою умереть!
Душа России — жизнь!
Она благая весть.

Не верю счастью я
На той, чужой, земле.
Ты, Русь, — любовь моя.
Я кланяюсь тебе.

Как небеса глядят!
От них светлеет взор,
И родники звенят —
Небес в них разговор.

И разговор лесов,
И ширь лугов и рек,
И звёздный свет снегов —
Для счастья, человек!

Николай ПЕРЕЯСЛОВ

В ЛИТЕРАТУРЕ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ

К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова

Помнится, при первом прочтении романа Булгакова «Мастер и Маргарита» я искренне хохотал над сценкой, описывающей, как Бегемот и Коровьев пытались попасть в ресторан Дома Грибоедова, у входа в который сидела «гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком», потребовавшая у неразлучной парочки писательские удостоверения.

«— Прелесть моя… — начал нежно Коровьев.

— Я не прелесть, — перебила его гражданка.

— О, как это жалко, — разочарованно сказал Коровьев и продолжал: — Ну, что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею…»

Потом, много позже, читая уже не булгаковское «*евангелие от Воланда*», а настоящее — от Матфея и других апостолов, — я понял, что гражданка в белых носках является практически *единственным* персонажем романа, *не подпавшим под власть нечистой силы.* Ведь по Священному Писанию «прелесть» — это, во-первых, «самопрельщение» (1 Сол., 2, 3), а во-вторых, «обманывание и обольщение других» (Мтф., 27, 64; 4, 14), поэтому, заявив представителю свиты Воланда (Дьявола) своё твердое «я *не прелесть*», гражданка в *белых* носках и *белом* берете (а белый цвет — это символ *чистоты* и *святости*) выказала именно православное отношение к слову «прелесть», вызвав тем нескрываемую досаду Коровьева («О, как жалко…»), бесовская роль которого как раз и опирается на склонность людей к самообольщениям и соблазнам.

* * *

Думая как-то об умершем писателе Петре Проскурине, я полез в первый номер журнала «Слово» за 2001 год и перечитал опубликованный там его рассказ «Мужчины белых ночей», в котором главный

герой мучительно размышляет над тем, что произошло за последние годы с Россией и что можно в этой ситуации сделать для её спасения. «Я больше ничему не верю, — говорит он, ведя мысленный разговор со своим погибшим другом, — ни в народ, ни в совесть, ни в Бога. Русский человек оскотинился до маразма. Слепой кутёнок, тычется из стороны в сторону, и ни шага вперёд. Сам себе выбирает палачей, сам подставляет горло... души, режь, володей телом, я — тварь бессловесная, плесень на земле. Появилась и бесследно исчезла...»

Я много думаю над тем, что же можно противопоставить наблюдаемому ныне в стране нашествию цинизма и безнравственности, чем остановить разгул криминала и беззакония. Я понимаю, что причиной всего этого и вправду является наше собственное бездействие, однако, когда я перечитал в рассказе Проскурина то место, где его герой взрывает лесной дом отдыха вместе с «оттягивающимся» там губернатором и громадным числом обслуги в виде поваров, слуг и девочек для сауны, то я почувствовал в душе определённое сопротивление. Да, мне хочется, чтобы русский народ наконец-то очнулся от духовной спячки и сказал «нет» торжеству беззакония, но только не таким способом. Ведь на эту тему уже написано множество романов Анатолием Афанасьевым, но когда его герои начинают бороться с бандитами *ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ*, которыми те терроризируют облюбованные ими городки, то они фактически тут же превращаются в *ИХ ЖЕ ПОДОБИЯ*. Иными словами — ни в коем случае нельзя уподобляться тому, против кого ты воюешь, ведь дьявол-то как раз и любит менять всё и всех местами и запутывать. Не случайно же в финальной сцене рассказа появляются интонации, очень сильно напоминающие интонации булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — в том месте, где Воланд допрашивает **кота** Бегемота и Коровьева о причинах пожара в Доме Грибоедова:

«Оба, и Коровьев, и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:

— Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...

— И вдруг — трах, трах! — подхватил Коровьев, — выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!

— Но чувство долга, — вступил Бегемот, — побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!

— Ах, вы вернулись? — сказал Воланд. — Ну, конечно, тогда здание сгорело ***дотла****.*

*— **Дотла**! — горестно подтвердил Коровьев. — То есть буквально, мессир,* ***дотла****, как вы изволили метко выразиться. Одни* ***головешки****! <…> Ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас сёмгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, я сделал всё, что мог…*

— Ах, если так, то, конечно, придётся строить новое здание.

— Оно будет построено, мессир, — отозвался Коровьев…»

А вот, для сравнения, разговор главного героя рассказа Проскурина — капитана Никонова (как раз и устроившего взрыв и пожар лесного притона) — со своим шефом:

«— …Что там у вас происходит? Ты, Никонов, не тяни ***кота*** *за хвост!*

— Не хотел тревожить вас среди ночи, шеф, пожар, — сказал Никонов. — Большой дом уже догорает, чудеса… Словно языком слизнуло. Озеро из белого, молочного окрасилось розовым…

— К чёрту! — откровенно теряя контроль над собой, сорвался Валериан Денисович. — Ты пьян, что ли? Ах, негодяй…

— Шеф, мое дело охрана, а что там внутри случилось, никто не знает, — сказал Никонов. — Но дом действительно догорает. Какой-то чудовищно мгновенный пожар…

— Ты думаешь, сгорит всё ***дотла****? — опечалился Валериан Денисович и даже вздохнул.*

— Абсолютно всё, такой огонь ничего не помилует, может, только какую ***черепушку****…»*

Я думаю, в литературе не бывает случайных совпадений, и даже если сам Проскурин никаких постмодернистских перемигиваний между двумя этими текстами и не устраивал, то существуют некие тайные законы искусства, по которым темы (или даже сцены), имеющие между собой, так сказать, *перекличку внутреннего характера*, непременно окажутся близкими друг другу и по своей стилистике, и по использованным образам, и по задействованным в этой сцене деталям. Отсюда, помимо общего сходства двух этих эпизодов между собой, и там, и там имеет место образ *КОТА* (в фразе «не тяни кота за хвост» — у Проскурина, и в образе кота Бегемота — у Булгакова); упоминание *НЕЧИСТИ* (в выражении «к чёрту!» — в тексте у Проскурина, и в образах беса Коровьева и князя тьмы Воланда — у Булгакова), а также сгорающие в обоих случаях **дотла** здания, от которых не остаётся ничего, кроме «головешек» (у Булгакова) да «черепушек» (у Проскурина), а также ряд других сходных моментов. Думаю, что всё это не может не подтолкнуть нас к мысли о том, что за обеими этими сценами стоит одна и та же сила — помните? — «что хочет зла, но вечно совершает благо». И в этом — таится ключ к пониманию заблуждений обоих авторов. Я говорю «заблуждений», потому что не может сила, жаждущая творить *ЗЛО*,

принести людям хотя бы какое-нибудь минимальное *ДОБРО*. А потому и путь, указанный Петром Проскуриным в рассказе «Мужчины белых ночей», не в состоянии принести с собой ничего, кроме новой крови и горя, тогда как Россию сегодня если что и спасёт, то только — любовь и молитва...

* * *

Несколько лет тому назад в правлении Союза писателей России состоялось обсуждение новой повести (ещё живого тогда) Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», опубликованной в одном из номеров журнала «Наш современник». Патриотические литературные и читательские круги давно ждали слово Валентина Григорьевича, выступавшего последнее время и редко, и какими-то небольшими произведениями — публицистическими статьями или рассказиками. И вот наконец-то — полновесная художественная повесть.

Первое, чего нельзя не заметить в новом произведении Распутина, — это откровенная сюжетная перекличка с нашумевшим не так давно фильмом Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», в котором трое отморозков насилуют чистую и невинную школьницу, а затем преспокойно откупаются от суда и продолжают на глазах у всего городка свои циничные пиршества. Видя бездействие и бессилие нашего правосудия, дед оскорбленной девушки покупает на черном рынке снайперскую винтовку и сам выносит приговор подонкам.

Примерно то же происходит и в повести Валентина Распутина, только здесь за поруганную честь дочери мстит мать, которая изготавливает из ружья обрез и, видя, как суд собирается отпустить насильника на свободу, осуществляет над ним заслуженную кару. Однако, как это всегда и бывает у Распутина, повесть его растекается гораздо шире обозначенного сюжета и заставляет думать не только о сути произошедшего с героиней, но и о том, что происходит со всем русским народом. Ведь если в фильме Говорухина всё чётко поделено на «чёрное» и «белое», то в повести Распутина всё уже далеко не так просто и однозначно. Да, его Светка подверглась грубому насилию со стороны азербайджанского торговца, но ведь незадолго до этого она сама бросила школу и, окончив какие-то курсы, пыталась устроиться работать на рынок. Она ведь и со своим насильником поехала с той целью, чтобы он её устроил на работу к своему брату. И что, она или её мать не понимали, что рано или поздно ей придется лечь под кого-нибудь из кавказцев, как это делают чуть ли не все работающие на наших рынках женщины, боящиеся потерять своё место на лотке или в палатке? Ведь практически все российские рынки уже давно и прочно принадлежат «лицам кавказской национальности», которые осознают себя на нашей земле *ХОЗЯЕВАМИ*, однако до тех пор, пока беда не коснётся кого-нибудь из нас *ЛИЧНО*, никто их не стреляет... В том-то и заключается принципиальная разница между фильмом Говорухина и повестью Распутина, что насилие в «Ворошиловском стрелке» носит, так сказать, *РАЗОВЫЙ* характер — обладание девушкой необходимо пьяным подонкам только сейчас, *В ДАННЫЙ МОМЕНТ*, и после удовлетворения своих

животных потребностей она им становится абсолютно без надобности, тогда как изнасиловавший Светку азербайджанец в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» и не думает её утром отпускать, требуя, чтобы она родила ему сына, и вообще относясь к ней уже как к *СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ*. Это и есть, наверное, самая характерная черта, которую подметил в сегодняшних «хозяевах жизни» В.Г. Распутин: всё, к чему прикасается грязная лапа торгаша, превращается в его *СОБСТВЕННОСТЬ* — рынок, женщина, власть, Россия...

Надо заметить, что в повести Валентина Григорьевича вообще очень много символики. Символично уже само её название — «Дочь Ивана, мать Ивана», восходящее к тому же принципу, который мы видим и в приводимом евангелистом Матфеем родословии Иисуса Христа: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его», — и так далее. Стремление вписать героев своего повествования в хронологию *БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ* — черта, характерная как для авторов Библии, так и для древнерусских летописцев, и, давая своей повести название «Дочь Ивана, мать Ивана», Валентин Распутин как раз и пытается показать этим неразрывную цепь продолжения человеческого рода, беспрерывный процесс бытия и одновременно с этим — роль своей героини в этом процессе.

Затем: необычайно жаркий весенний день в повести Распутина не может не напомнить нам собой другой необычайно жаркий весенний день, описанный в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — и эта перекличка, подчеркивание этой *НЕОБЫКНОВЕННОЙ* жары, её акцентирование обоими писателями кажется отнюдь не случайностью, так как *ЖАР* — это не что иное, как символ *АДА*, и авторы как бы сразу настраивают нас на то, что впереди нас ожидает встреча с представителями именно этого инфернального места. И действительно — то, что случается далее, ничем иным, как бесовщиной, назвать нельзя, причем это касается не только событий романа Булгакова, но и того, что совершается в повести Распутина. Разве надругательство над *ЧИСТОТОЙ* — это не есть дело рук беса?..

Самое страшное в повести Валентина Распутина — то, что мы должны быть чуть ли не благодарны насильнику Светланы, так как только прямое надругательство над девочкой оказалось способным разбудить в её матери (да и в нас самих) чувство протеста против засилья чужеземцев в России и попрания ими всех основ нашей жизни. Если бы этого не случилось, все так бы и продолжали спать, терпя воцарение кавказцев...

* * *

Прочитал журнал «Наш современник» с поэмой Юрия Кузнецова «Сошествие в ад», многие эпизоды которой подарили мне настоящее эстетическое наслаждение, как, например, строки: *«То не птенец выпадал из гнезда родового, / то не мертвец поднимался из сна гробового — / это разбойник явился — ни ночь и ни день, / пала в долину его теловидная тень. /*

Глянул Господь на него и промолвил сурово: / — Встань и держись Моего обещанья и слова, / да не побойся грядущих судеб и утрат. / Рай недалек. Но дорога пойдет через Ад». Или же такие, как: *«Руки разбойник простёр, как моряк с корабля, / и возгласил первозданное слово: — Земля! / Молвил Сын Божий, как истина ветхая днями: / — Это подобье. Земля у тебя под ногтями. / Глянул разбойник на грязные ногти свои, / и зарыдал, и взалкал чистоты и любви…»*

Однако рядом с чисто поэтической красотой и стройностью поэма Ю. Кузнецова то и дело срывается в самую что ни на есть откровенную *ересь*, выдавая в авторе закоренелого материалиста, не понимающего, что перед Богом находится не сам разбойник, а только его *ДУША*, и, стало быть, откуда же у нематериальной сущности может быть *«земля под ногтями»?..*

Аналогичное недоумение вызывают сцены, в которых Господь ходит по Аду и задаёт всем встречным вопрос: «Где Сатана?», как будто бы с Богом можно играть в прятки, спрятавшись от Него за сундуком или печкой! Здесь в поэте снова говорит материалист, не признающий Господнего *ВСЕВЕДЕНИЯ* и того факта, что Ему не надо никого ни о чём спрашивать, ибо Ему ведомо не только то, кто где находится, но и, как говорится в молитвах, *«и вся несодеянная нами»* открыта.

Весьма пародийно, на мой взгляд, выглядит картина возвращения головы Иоанну Крестителю, напоминающая аналогичную сценку с возвращением оторванной котом Бегемотом головы конферансье Жоржу Бенгальскому, происходящую в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните? *«Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на своё место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови…»* Почти то же самое происходит и в поэме Кузнецова, где Господь встречает идущего с головой под мышкой (!) Иоанна и спрашивает его (опять — спрашивает; опять, *ЗНАЯ ВСЁ*, зачем-то задает ему нелепый да ещё и с явной долей иронии вопрос): *«Иоанн, что случилось с тобой? / Голову ты обронил, как скупец — золотой».* (Как будто бы Он не знает, что Иоанн лишился головы из-за проповеди Его же пришествия! Получается, что Господь просто пытается красоваться перед сопровождающим Его по Аду Юрием Кузнецовым Своим остроумием…) Выслушав ответ Предтечи о том, как его обезглавили по требованию Саломеи (при этом рассказ сопровождается такими подробностями, как сообщение о том, что блудница «обстрекала» голову пророка менструацией, из-за чего теперь та не пристаёт к костяку), Христос делает почти то же, что и кот Бегемот в романе Булгакова, а именно: *«Глянул на голову Бог и во имя Своё / взял и поставил на прежнее место её. / И приросла голова, и, ни мало ни много, / встретились вровень два взора: пророка и Бога…»*

Юрий АГАПОВ

ЛЕСНИЧИЙ ЗАСУРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ФЁДОР РАКУШИН

К 90-летию Ф.Н. Ракушина

Грозой обуглен грубый бок,
пригнулся дуб, угрюм и тяжек,
и к небу поднял, как оброк,
в руке корявой горсть медяшек.
Но небо лепты не берёт.
И вечность обещать не может...
Лишь короед его всё гложет,
а он весну, упрямый, ждёт.
Ф. Ракушин

Фёдор Ракушин — уроженец села Тихменево Кузнецкого района Пензенской области. Помню его слегка окающий говорок, что свойственно некоторым кузнечанам, как, впрочем, и ульяновцам. По окончании Куйбышевского инженерно-мелиоративного института в 1954 году был направлен на работу в Ульяновское управление лесного хозяйства. Все эти годы в нём сидела тяга к родным местам. Наконец в 1963 году он получает должность лесничего Засурья, самого авторитетного лесничества в составе Ахунского лесокомбината.

Ахунские леса для Фёдора стали не только источником заготовки и переработки древесины (на те годы именно это являлось основой производственной деятельности лесокомбината). Творческой, возвышенной душе лесничего они давали вдохновение, словно метки на стволе дерева, оставляли зарубки на память. Смотри, читатель, какими лёгкими, акварельными мазками красит начинающий поэт ахунскую природу.

Люблю в конце зимы осину,
Когда, свинцово-зелена,
Грачиной черноты куртину
Светлее делает она.

Хотя мороз по дебрям бродит
И в бахроме седой сосна,
А от осин уже исходит
Весенняя голубизна.
Тогда я подхожу к осине
И припадаю к ней щекой,
И сам, среди дубравной стыни,
Светлею чуточку душой.

Или вот ещё картинка, от которой пахнет талым снегом и даже становится зябко спине.

Где-то в марте посыпал грачевник —
Мокрый снег вперемешку с дождём,
А на старой ветле грач-кочевник
Озабочен нехитрым жильём.
Неуютно в продутом лесочке,
Грач к стволу притулился бочком,
Где на ветках набухшие почки
Запечатаны, как сургучом.

Вековечные горе и тревоги каждого лесника — лесные пожары. Приходила эта беда и в пензенские леса. Вот как обыгрывает эту ситуацию Ракушин.

...И встаёт предо мною Россия:
И бредут полонянки в слезах...
И проносятся кони Батыя...
И горят под Рязанью леса...
Всё ушло. Поросло повиликой.
И аркан отсвистел, как лоза,
И сквозь затемь татарского ига
Откричали славянки глаза.

Но зарубцуются раны земли. Время лечит. Поэт находит другие краски и расцвечивает по-иному картину:

Там, где горельник старый,
Среди клыкастых пней
Качается пожаром
Лесной цветок — кипрей.
А, кажется, давно ли
Здесь рыскал рыжий пал?
И вот цветок, как воин,
На пепелище встал.
Недаром партизаны,
Когда с врагом дрались,
Прикладывали к ранам
Его живучий лист.

Выступление Ф.Н. Ракушина в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 1986 г.

...И помню я: ночами,
От голода худы,
Заваривали в чай мы
Целебные цветы.
От хвори выручая,
Вошел он в обиход...
Любовно иван-чаем
Зовёт его народ.

Первая встреча с лесничим состоялась в 1968 году. Комиссия, в составе которой я присутствовал, ознакомившись с отчётами лесничества, покинула контору и в натуре, на местности, проверяла качество рубок ухода и лесовосстановительных работ.

Зафиксировали: лесничий не кабинетный работник. Как рыба в воде ориентируется в лесных кварталах. Заслужил похвалу за хорошую приживаемость молодых посадок сосны (саженцы-двухлетки). Вторая встреча через год. В лесничестве — отчётно-выборная профсоюзная конференция.

Обсуждали состояние производства, социальной жизни рабочего коллектива, упор делался в сторону безопасных условий труда. Потом объявили про концерт самодеятельности.

Когда лесничий стал читать стихи (как оказалось, собственного сочинения), восторгом и овацией его встретила публика. Чтецом оказался превосходным. Паузы, жесты, артикуляция — всё подавалось артистически точно и красиво.

И всё-таки уловилась мне тонкая грань ностальгии и неуютности в настроении лесничего. Причина до банальности проста. От лесничего что требовали начальники? Чтоб неукоснительно выполнялся план производственный в гектарах, в кубометрах, в рублях. А тут какие-то стихи... Блажь... Такого же мнения был и директор лесокомбината, «пропесочивая» на совещаниях лесничих, недотянувших нужных процентов до производственного плана. Иному все эти руганья и «снятие стружки» были как горох об стену. Ракушин таким иммунитетом не обладал. Переживал.

Безусловно, его обнажённая душа поэтическая страдала.

И всё же глобальное мироощущение ПОЭТА прорвалось сквозь рогатки неприятия и ушло далеко за горизонт его времени:

Красивая «Ракушинская поляна». Ахуны, 9 мая 1998 г.

Вот так живёшь в глуши до срока,
Не ведая, где даль, где близь,
Но вдруг осенит умом пророка
Всё обнажающая мысль.
И сразу станет страшновато
За долгий путь, что был не прям,
Да! Истиной делиться надо.
Как трудным хлебом — пополам.
Мой хлеб от сердца.
Он словесен,
И совесть мне кричит: «Паши!»
Но как непросто зёрна песен
Посеять в борозды души!

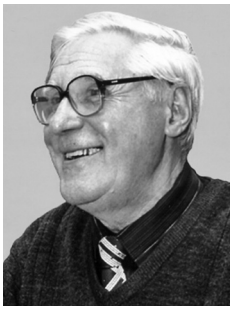
Непоседливая охотничья натура Федора требовала постоянной подпитки у природы. Хождение по Хопру на байдарке, походы в горы Южного Урала — всё это немедленно перетекало в поэтические образы и строки, сплав жизни и литературы.

За достижения в литературе Ракушин стал лауреатом премии администрации Пензенской области в 1977 году, в 2000-м получил Всероссийскую Лермонтовскую премию.

Ахунская природа, леса её давали импульс вдохновению поэта. В этой земле он и упокоился.

Николай КУЛЕНКО

СВЕТ ПАМЯТИ



К 90-летию Егора Исаева

Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.
Н.А. Некрасов

8 июля. 2013 год. Лежу в палате стационара: что-то обнаружили доктора в моём здоровье нездоровое. Таблетки, уколы... Тоскливо, тягостно, как перед непогодой. Под вечер пришёл в палату поэт Виктор Иванов, озабоченный, потерянный.

— Знаешь, Андреич, Егор Исаев умер. Сообщили... На 88-м году жизни...

Когда пришёл в себя, затеплился в моих далях свет Памяти, и потекли его лучи перед глазами, через сердце, от первых неуклюжих стихотворных строк моих, через годы, до жалящего меня сообщения собрата по перу.

...Двадцатый век. Пятидесятые-шестидесятые годы. В поэзию приходят молодые самобытные авторы — Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Бродский... Колошение поэтической нивы! Страшная война отгремела, наступило время не только возводить разрушенные сёла и города, но и возвращаться в мир творчества, в мир сотворения произведений поэзии, прозы, драматургии, живописи... И от земли Калининградской до земли Сахалинской, от морозного севера до жаркого юга пространство, как ночное небо звёздами, усеяно литературными кружками, группами, объединениями... В школах, техникумах, институтах, библиотеках, в армейских клубах и Дворцах культуры стихотворцы всех рангов шлифуют своё поэтическое мастерство. Благословляет на трудный путь творчества и Литературный институт им. А.М. Горького в Москве.

В раздумьях о своих первых шагах в литературном творчестве отмечаю закономерность, невозможность не ступить на тропку сти-

хотворчества. Как говорится, сам Бог велел. Рос под непрерывными излияниями из уст моей тётушки Прасковьи, инвалида от рождения, частушек, стихов, сказок, песен. Легко запоминались строки великого Шевченко:

Тихесенько вітер віє.
Степи, лани мріють;
Між ярами над ставами
Верби зеленіють.

Учась в четвёртом классе хуторской школы, попробовал сочинять сам. В дедовском сундуке нашёл амбарную книгу и излил в неё всё, что успел узнать о белом свете. Наивно, по-детски, думал, что написал повесть.

Егор Исаев

В пятом классе написалось первое стихотворение, которое поместили в школьной стенной газете. С тех пор и ходил я с мыслями писать стихи, как Шевченко, Глибов, Котляревский, позже попробовал подражать Пушкину, Лермонтову, Некрасову, с годами — Блоку, Есенину... Поступив в ремесленное училище металлургов, стал посещать занятия литгруппы «Плавка» при заводском Дворце культуры в Днепропетровске. По-отечески отнёсся ко мне руководитель — русский писатель Александр Иосифович Былинов. Он открыл мне глаза на многое: что есть поэтический ритм, стихотворный размер, рифма, образный язык, изобразительно-выразительные средства в стихотворчестве.

Сочинительство становилось привычкой, и я, уже в армии, в свободное от службы время приходил в клубную библиотеку, где собирались собратья по оружию и перу. Читали стихи, в том числе и свои, обсуждали их, спорили.

Приехав в Пензу, почерпнул я изрядную долю мастерства в литгруппе «Рассвет» при ДК им. Кирова, руководителем которой был глубоко почитаемый нами Кирилл Дмитриевич Вишневский. К тому времени понятия о стихотворческом мастерстве возросли у меня настолько, что я отважился подумать о создании у себя в Заречном, где жил, литературного объединения. С начинающими поэтами Виктором Игошкиным, Виктором Кельхом, Борисом Милавиным мы учредили в городе литературное сообщество, которое назвали «Радугой». Более пятидесяти лет школа с этим названием помогает начинающим сочинителям совершенствовать своё поэтическое мастерство. Из её стен вышли профессиональные поэты, члены Союза писателей России Елена Баринова, Татьяна Кадникова, Виктор Кельх, Виктор Иванов, Михаил Кириллов,

Ольга Коршунова, Вениамин Крутов, Борис Милавин, Светлана Попеева, Ольга Правдина, Вячеслав Филонов, Виктория Хвалова, Владимир Шаповалов.

Это уже потом. А тогда... Воздух был насыщен стихами, как озоном после грозы. Декламировали, декламировали, декламировали...

...Нас водила молодость
В сабельный поход.
Нас бросала молодость
На кронштадтский лёд.
Боевые лошади
Уносили нас...

Багрицкий, Васильев, Коган, Корнилов, Луговской...

...Это сны революции,
Это бессмертье моё...

Строки о сабельной молодости дедов... И вот внезапное, кровное для детей войны:

...Поштучным, пачечным, строчным
С колена бил, с брони, —
Не по фанерным — по живым,
И падали они...

Это уже об отцах, братьях наших, павших на полях сражений. Это были стихи моего поколения. Автор — поэт-фронтовик Егор Исаев. Его книга «Суд памяти» тогда зачитывалась до дыр.

Когда я узнал, что Егор Исаев ведёт творческие семинары в Литинституте, неотступной мыслью моей, душевной жаждой стало поступить в Литературный институт имени А.М. Горького! Правда, мечта была почти на грани фантастики: более пятидесяти человек на место! Со всего Советского Союза... И всё-таки решил торкнуться! Послал стихи в институт на творческий конкурс. Ответа ждал днями и ночами: да или нет?

Письмо из института открывал долго, не решался, да и пальцы не слушались. В конце концов — ДА! «Вы прошли творческий конкурс, приглашаетесь на вступительные экзамены...» Затеплилась, загорелась надежда, потому что сдать экзамены для меня не представляло большой трудности.

И вот я студент Литинститута! Радость большая, но подлинным счастьем моим были мгновения на кафедре творчества, где мне сообщили, что я зачислен в творческий семинар руководителя Егора Исаева!

Егор Исаев... Мужественный взгляд, лёгкое подрагивание головы — может, последствие контузии, голос с хрипотцой... Взглянул на меня:

— Как тебя?

Я назвался.

— Читай стихи, мы слушаем.

Читаю:

Сентябрь сорок третьего года.
Восток, как фугас, полыхнул.

И я, на краю огорода,
Ловлю нарастающий гул...

Прочитал всё стихотворение, жду суда. Егор Александрович помолчал, затем неожиданно спросил:

— Ну как, ребята? — обратился к семинару.

Весь семинар — десяток соискателей литературной славы — дружно набросились на меня: кто-то хвалил, кто-то ругал, некоторые высказались немногословно: «ничего»... Один промолчал. К нему обратился Исаев:

— А ты что молчишь? Как фамилия?

— Я Диков, Валерий.

— Выскажи своё мнение о стихах товарища.

Диков ухмыльнулся:

— А где вы увидели стихи у товарища?

Исаев внутренне вскипел:

— Вот что, Диков Валерий! Если вы ещё раз так, свысока, с «сытостью», отнесётесь к стихам студента моего семинара, я вас отчислю!

И ко мне:

— Николай, концовка твоего стихотворения мне понравилась, как-то неожиданно: сорок третий год, в деревню ворвались наши танки, освободили от немцев, и для сельчан этот день стал Днём Победы. А в сорок пятом, 9 мая, только вдовы тужили в селе...

Так я лично познакомился с легендарным для меня Егором Исаевым.

Егор (Георгий) Александрович Исаев родился 2 мая 1926 года в селе Коршево на земле Воронежской в семье учителя. Пятнадцатилетним пареньком, в сорок первом, рыл окопы, траншеи, противотанковые рвы в районе Смоленска по линии Днепра под непрерывными налётами немецкой авиации. Вернувшись домой, пошёл в военкомат с требованием отправить его на фронт. Отказали: подрасти!

— Вот, ребята, какими мы были, какое было наше поколение! От чистого сердца рвались на помощь отцам, братьям, — признавался нам наш руководитель.

И уже осенью 43-го Егор Исаев был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на подступах к Берлину, за освобождение Чехословакии. Победу встретил в Праге.

После окончания войны младший сержант Исаев в течение 5 лет продолжал службу в Чехословакии, Австрии, Венгрии. И писал стихи. Печатался в дивизионной газете «На разгром врага», затем в газете «За честь Родины».

В 1950 году Егор Исаев демобилизовался и поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, который окончил с отличием в 1955 году. Заведовал отделом поэзии в издательстве «Советский писатель», вёл творческий семинар в Литинституте. Им написаны талантливейшие произведения литературы: поэмы «Над волнами Дуная», «Суд памяти», «Даль памяти», «Двадцать пятый час», «Убил охотник журавля», другие. За поэмы «Суд памяти» и «Даль памяти»

в 1980 году ему присуждена Ленинская премия. В 1986 году Егор Исаев стал Героем Социалистического Труда. Как фронтовик, награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За освобождение Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». За большой вклад в русскую советскую литературу награждён двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», удостоен звания лауреата многих престижных премий за многолетнее служение отечественной литературе. В 1981 году избран секретарём Союза писателей СССР. В период 1984 — 1989 годов Егор Исаев избирался депутатом ВС СССР.

Но это всё потом. А пока что шестьдесят четвёртый год за окнами Литинститута, а в аудитории проводится занятие творческого семинара. Студенты читают свои стихи, обсуждают их, спорят и ждут решающего слова Егора Александровича. Идёт медленное, но уверенное обретение мастерства намечаемой профессии литератора.

О поэте Исаеве известно всё всему миру. Повторяться не стоит. Хотелось бы сказать о нём как о человеке, сказать о том, каким я видел его за годы общения с ним. В первую очередь хотелось бы отметить его простоту общения, открытость, доступность, участливость.

Как-то занятие нашего семинара затянулось допоздна. Егор Александрович как бы спохватился, заторопился, стал складывать бумажки в папку. Мы говорим, мол, не поздно…

— Вы, ребята, голодные. Пойдёмте, продолжим занятие за столом.

Пришли к ресторану «Минск», что у Пушкинской площади. Егор Александрович швейцару:

— Это мои ребята.

Прошли на второй этаж, облюбовали стол, уселись. Салат, котлета, пирожки, чай. И ничегошеньки больше. Занятие семинара продолжилось. Стихи, споры. От соседнего стола к нашему столу подошёл Твардовский. Егор Александрович встал, поздоровался с ним за руку. Встали и мы: Твардовский!

— Твои? — спросил Александр Трифонович.

— Мои. Семинар.

— Гении?

— Перспективные…

И, уже обращаясь к нам, по-простецки сказал:

— Приходите ко мне, со стихами. И ты, Егор, заходи…

В то время Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир». Мы, несколько человек семинара, ходили к нему. У кого были стихи с собой — взял, напечатал в журнале. Не единожды мы заканчивали занятие семинара в «Минске», естественно, по милости руководителя.

Однажды на занятиях зашёл разговор об экспрессивности стиха. Егор Александрович в качестве примера привёл стихотворение Семёна Гудзенко «Перед атакой». Само стихотворение нас потрясло. А как его прочитал Исаев!

— Видите, ребята, вот написал поэт-фронтовик. Мороз по коже! Это экспрессия...

Тогда же кто-то из нас спросил:

— Егор Александрович, вы воевали, скажите, страшно было? Расскажите о самом страшном эпизоде для вас на войне.

И Егор Александрович рассказал:

— Однажды я по делам службы ехал поездом от фронта в сторону тыла. Случилось, отстал от поезда. Поехал «зайцем». На одной станции — военный патруль, а документы мои в ушедшем поезде. Собрали нас, «бездокументников», человек десять, вывели за пакгауз, поставили к стенке. Прозвучала команда конвоирам:

— По дезертирам...

Клацнули затворы... Мама!!! И тут подходит ко мне старик с усами, рыжими, старшина. Поглядел на меня и говорит:

— Слушай, сынок, сейчас подойдёт эшелон, цепляйся и езжай на передовую. Воюй! Беги! Вон поезд...

Я на деревянных ногах не очень резво, но побежал. Сзади грянули выстрелы. На бегу оглянулся — не в меня! У стены никого не было... Встретил эшелон, вцепился в подножку и поехал в сторону фронта. Туда проездных документов не спрашивали... Сначала вроде бы было не страшно, но когда осознал, что могло произойти... До сих пор не по себе... Вот это был самый страшный эпизод в моей фронтовой жизни. Стало страшно и нам: а если бы не старшина?..

Простота, приветливость, уважительность. Студенту нашего семинара Ивану Жилину позвонили из Ленинграда сослуживцы (Жилин — военнослужащий, был в Чехословакии во время кризиса 1968 года) и сообщили, что он повышен в звании. Решили отметить. Кто-то предложил пригласить Егора Александровича.

— Не придёт! Что вы!

— Попробуем...

И вот за столом семинар во главе с руководителем. Пили болгарское вино зелёного цвета. Потом кто-то из соседей с деревенской корчагой «змия» напросился «в гости». Приняли. Читали стихи, свои и любимых поэтов. Конечно же, просили Егора Александровича почитать что-нибудь. Читал он здорово! Боль. Боль. Боль. За человечество:

...А ты — герой! — о долге мне орёшь.
Всё это ложь!
Да как ты не поймёшь,
Что, убивая нами, под фугас
Бросали нас
И убивали нас

На всех фронтах
Всё те же, Хорст, они,
Кому всю жизнь до нищеты должны.
За хлеб должны,
За кружку молока,
За место у патронного станка.
Всю жизнь должны,
Как деды и отцы.
Подвалы — нам,
А им, старик, — дворцы!
Окопы — нам,
А им, старик, — чины.
Платили кровью!
Всё равно должны.
И с ними Бог.
Не с нами.
С нами долг!
Приказ: сжигай!
И я, — он встал, — я жёг.
... Бензином — раз!..
И дети на снегу
На том донецком страшном берегу...

(Суд памяти)

Прозвенели действительно кованые строки, как звенья цепи. Ошеломлённые, мы были там, «на том донецком страшном берегу». Затем боль поэта за судьбу Отчизны:

...А ты, земля, ещё родней сродни
Страну с Москвой,
Москву со всем народом,
Дай, дай упор во глубине веков,
Яви свой гнев —
Скажись набатным сводом
Согласных всех и сродных языков.
Скажись-ударь
Везде и отовсюду
Глагольным боем от лица зари:
Вставай!
Вставай!
Вставай, народ...

(Даль памяти)

А ещё трагическая гордость за солдата Отечества, воплощённого в бронзе:

...Уж скоро вечность будет, как
Сюда пришёл он, в Трептов-парк,
Из тех обугленных равнин,
В одном лице — отец и сын,
В одном лице — жених и муж,
В одном родстве на весь Союз,
Оплакан всюду и любим,
Пришёл и встал, неколебим,
На самый высший в мире пост,
Лицом и подвигом — до звёзд...

(Двадцать пятый час)

Егор Исаев читал всегда наизусть, вдохновенно, предельно выразительно, впечатывая каждое слово в самое сердце слушателя. Он весь был буквально напрессован стихами, они вырывались из него, как из кратера вулкана лава, схватывая всех словом и голосом. И опять боль! Боль за природу:

...Как эхо выстрела — в поля,
За кругом круг:
— Убил охотник журавля! —
Разнёсся слух.
— Убил!.. Убил!.. — весь небосвод
Кричал о том...
...А из тумана, вижу, он,
Мой брат Иван,
Идёт.
В петлицах — кубари
На голубом,
Идёт, касается зари
Высоким лбом,
Как будто с неба, где был сбит,
Из-за Днепра,
И прямо в сердце мне глядит:
«Ты что же, брат,
В своих-то бьёшь. Нехорошо.
Ты что, фашист?»...

(Убил охотник журавля)

Однажды его пригласили на встречу студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Аудитория — почти сплошь африканцы, арабы,

азиаты, то есть контингент, не ахти владеющий русским. Но поэт так читал, что без переводчика было всё понятно. Аплодисменты гремели оглушительные, долгие...

Работая над дипломом, я несколько раз приходил к руководителю проконсультироваться. Однако у него в издательском кабинете всегда густо толпились авторы, и он пригласил меня к себе домой.

— Здесь нам не дадут поработать, ты приходи ко мне, на Ломоносовский... До «Университета», десятая (по-моему) квартира в пятнадцатом доме.

И в ближайшее воскресенье я у дверей нужной квартиры. Открыл сам Егор Александрович. В джинсах, в безрукавке в полоску...

— Заходи! Пойдём в дальнюю комнату. Но тут из боковой двери вышла симпатичная женщина с приятной улыбкой.

— Сначала — чай! Потом дела...

Исаев представил:

— Моя жена, Женя, Евгения Степановна...

— Проходите сюда. Кухня маленькая у нас...

Пили чай.

После чая прошли по коридору в «дальнюю» комнату, в которой был стол и диван, покрытый пледом. Сели работать. Синим карандашом расцвечивалась моя рукопись, до последней страницы. Потом объяснения, примеры:

— Можно сказать: «окна, как глаза, но не наоборот! Окна можно оживить, а глаза «застеклить»... не очень...

— Надо быть реалистичным. Нельзя: «Далеко за лесом рано утром на тын взлетел петух и проорал «кукареку». Это могло быть, но только могло бы. А ты сходи в эту дальнюю деревушку за лесом, усмотри оградку с красногрудым горлопаном да послушай его утреннюю побудку, потом напиши... А так — умозрительность...

— Доработаешь — покажешь. Конечно, дипломная работа почти готова, но надо, чтобы это было более впечатляюще...

Доработал, показал. Одобрил, написал рецензию на дипломную работу мою, в которой поименовал меня «одним из...». Ещё теплее оценили мой диплом Евгений Долматовский, Владимир Туркин, Михаил Лобанов, Владимир Мильков, Сергей Викулов.

Довелось побывать мне ещё раз, уже после института, в гостях у Исаевых. В один из своих приездов в Москву заглянул на Ломоносовский. Открыл хозяин.

— Николай? Позвонил бы, что ли...

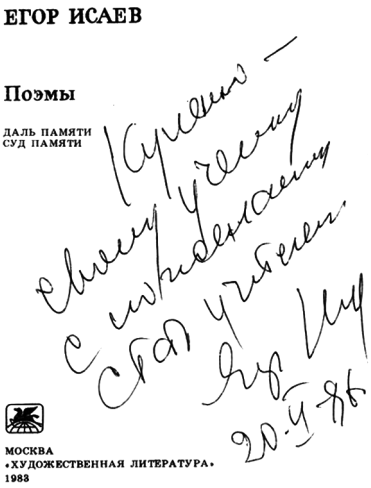
— Да не взял записную книжку, а так — запамятовал номер. А вы, я вижу, собрались идти, я не вовремя...

— Нет-нет, Николай, всё вовремя. Сначала чай, потом поедем покупать костюм Егору Александровичу, — категорически зачастила хозяйка.

Пил кофе из цветастой чашки и чуть было не выронил её из рук, почти на ходу подхватил, удержал. Егор Александрович увидел это, засмеялся и довери-

тельно ко мне полушёпотом: «гудели?». «Не без этого», — ответил. Потом на Ленинском проспекте в универмаге «Москва» подбирали нужный размер костюма, его цвет, фасон... Егор Александрович начал хмуриться. Наконец Евгения Степановна дала «добро»: «Пойдёт!»

Будучи в Москве, кажется, по делам Литфонда на Гоголевском, 6, зашёл к Исаеву. У него были посетители — семинарист недавнего выпуска Юра Дудин и поэт из станицы Семикаракорской Ростовской области, казачий атаман Борис Куликов. Общались. Разговор о поэзии, о поэтах. Меня спросил, как там, на земле Лермонтова... Подарил книгу «Поэмы» с автографом: «Куленко — своему ученику с пожеланием стать учителем». И я все эти годы, более полувека, помогал молодым всем, чем мог.


ЕГОР ИСАЕВ

Поэмы

ДАЛЬ ПАМЯТИ
СУД ПАМЯТИ

Куленко — своему ученику с пожеланием стать учителем. Егор Исаев 20.4.86

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Автограф поэта

Привожу некоторые выдержки из конспектов, которые я вёл на семинарах Егора Исаева. Его слова: «Толстой сказал: «...мастерство — в точности изображения-выражения...». Вы — «технари» пока что. Так вот, стихотворение в идеале — сложнейший «механизм» из ритмов, размеров, рифмовок, метафор, гипербол, эпитетов, сравнений, из сердца вашего, души вашей... Задача автора: закрепить каждую из составляющих в строго определённом для неё месте. Тогда ваш, извините, «агрегат» заработает...»; «Любите других, — сами станете значимыми»; «Будете учителями — как можно бережнее относитесь к молодым авторам. «Сытостью», «снобизмом», пренебрежительностью типа: «Сломай перо, выбрось ручку, забудь навсегда слово «стихотворчество» — не загубите юную душу. Ты помоги начинающему, коль умеешь, дай ему поверить в себя, глядишь — напишет — ахнешь! Будьте опорой молодым, но и о строгости не забывайте»; «Строки ваши должны быть честными, наполненными болью за судьбы народа»; «Всегда помните, что мы — держава великой Поэзии»; «Красота и красивость. Красивость — ничего, красота для красоты не существует, литература для литературы не существует»; «Слово «поэт» не рекомендую использовать в творчестве, тем более — именовать себя поэтом: пусть читатель, народ скажет — кто ты»; «Ребята! Будьте честными в жизни, не обманывайте,

не подличайте... Если вы поступите наоборот, — как бы вы ни старались писать граждански-высоко, — в строках будет угадываться ложь, будете угадываться вы со своей натурой»; «Никогда не позволяйте себе «ломать под себя» другого автора, пусть он будет похож на себя, а не на вас»; «Тут прочитал: «Наши поэты: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин... А Некрасов где? А Маяковский где? Без них нельзя!»; «Не умничайте. Пишите как пишется. Как живёте — так и пишите, не приукрашайте»; «Есть поэты и есть стихотворцы. Поэты рождают строки, стихотворцы — «сочиняют». Стих должен смеяться, плакать, говорить, кричать — стих должен быть живым!»...

Много бесценного услышано мной и записано из уст великого поэта, учителя. Он осознавал, конечно, что как поэт — велик, гениален. И при всём при этом — ни малейшего даже намёка на свою исключительность, «звёздность». К ребятам семинара обращался на «ты», воспринимая нас как братьев своих, только когда видел несправедливость — на «вы».

Егор Исаев! Я, конечно же, восхищаюсь громадным талантом поэта, хорошо знаю все его произведения, кое-что знаю наизусть, но самым потрясающим произведением для меня является его восьмистишие, в котором он весь и как поэт, и как человек с его необъятным сердцем, вместившим в себя и безграничную любовь, и изнуряющее страдание, и память, и преданность — все те чувства, которые присущи только Человеку-исполину. Это его строки, посвящённые памяти жены и друга Евгении Степановны, безвременно ушедшей из жизни.

Тебя уж нет давно, а я всё верю в чудо,
Что ты хоть раз один отпросишься оттуда,
Придёшь как свет из тьмы, с лица откинешь полночь
И вся себя сама живой волной наполнишь,
Предстанешь предо мной, и на краю разлуки
Я в радостных своих твои согрею руки...
И лишь потом, когда ты снова станешь тенью,
Земле тебя отдам, но не отдам забвенью.

В этих пронзительных, схватывающих душу тисками строках, — Егор Исаев с его вселенской болью и любовью к Жизни от первой строки до последней.

Горжусь тем, что моя судьба всеми нитями прочно вплетена в судьбы моих учителей, в эпоху Егора Исаева. Горжусь!

Дмитрий МУРАШОВ

КРАЕВЕДЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ «СУРЫ»

К 25-летию журнала

В своем первом интервью в качестве главного редактора только что появившегося журнала «Сура» писатель Николай Иванович Катков, возглавлявший к тому же — вот поворот истории — редакцию предшествовавшего «Суре» пензенского альманаха «Земля родная» (последний его номер вышел в июле шестьдесят четвертого), сказал: «главный внутренний творческий потенциал журнала — высокий накал нравственности»[1]. И, словно перекидывая мостик от издания бывшего к журналу действующему, Николай Иванович уже в первом номере «Суры» поставил рубрику «Заметки краеведа», такая же была и в последнем номере «Земли родной». «Накал нравственности» включал знание прошлого.

За историю и краеведение в «Суре» отвечал первоначально Олег Михайлович Савин, классик пензенского краеведения. Он возглавлял одноименный отдел журнала до дня своей кончины (сегодня отделом руководит краевед Олег Сиротин). Первоначально в большую тройку краеведов, чьи публикации регулярно появлялись на страницах журнала, кроме Савина входили Владилен Мочалов и Виктор Канин (Кондрашкин), но Савину в журнале принадлежала большая часть публикаций.

Общий тренд краеведческих «штудий» определялся духом времени — первый номер «Суры» отправился в печать 14 августа 1991 года, за три дня до августовского путча. Распад СССР и коммунистического режима сделал возможным обращения к запрещенным именам и темам. «Так уж сложилась наша российская история, что после Октябрьского переворота сотни тысяч русских людей оказались на чужбине, в эмиграции, — писал Олег Савин. — Оттуда, из-за рубежа, отгороженные незримой стеной, железным занавесом, они внимательно наблюдали за тем, что творилось в их многострадальной России, всем сердцем сочувствуя ей и страдая за нее. Имена

многих политических эмигрантов, унесенных жестоким, безжалостным ветром революции и гражданской войны за пределы Отчизны, были связаны с пензенской землей»[2].

Одним из первых возвращенных имен был писатель Роман Борисович Гуль (1896 —1986), редактор «Нового журнала» — самого известного издания русской эмиграции второй половины XX века. В статье «Жизнь прошла с глазами на Россию» Савин представил биографию земляка и опубликовал фрагмент (в комментариях указывая на отдельные фактические неточности) о Михаиле Тухачевском из книги Романа Гуля «Красные маршалы». Олег Михайлович писал: «Особенность биографического очерка, созданного за рубежом, пришедшего к нам два года назад, — не только в особом, неординарном взгляде на жизнь и деяния красного маршала, но и в том, что автор и его герой, начав жизненный путь с Пензы, Первой мужской гимназии, после Октябрьского переворота оказались по разные стороны баррикад. М.Н. Тухачевский, защищая на фронтах Гражданской войны Советскую власть, крепя ее обороноспособность, был во время сталинских репрессий уничтожен от имени той же власти. Р.Б. Гуль, находясь в эмиграции и посвящая все свое творчество борьбе с тоталитаризмом и большевизмом, мечтал увидеть Россию свободной. Время пока еще не рассудило их»[3].

Наряду с Гулем журнал вернул и зарубежные (ранее запрещенные) страницы биографий писателей Александра Куприна и Владимира Ладыженского, познакомил с пензенской частью биографий литературного критика Юрия Айхенвальда и философа Дмитрия Цертелева. Вернулись из забвения и поэты, связанные с пензенским краем: великий князь Константин Константинович Романов и Николай Панов, августейший покровитель и первый библиотекарь Пензенской общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова — в начале XX века главного рассадника просвещения в Пензе.

Разрушенные шлюзы классового подхода вызвали волну воспоминаний пензяков, чьи тексты ранее не публиковались по идеологическим причинам. В «Суре» были напечатаны воспоминания Филиппа Вигеля и мемуары вице-губернатора Ивана Долгорукова, отражавшие жизнь Пензенской губернии конца XVIII — начала XIX века. Публиковались воспоминания о Салтыкове-Щедрине его сына Константина, жившего в Пензе до революции и в первые годы советской власти, мемуары пензенского журналиста Н.А. Орлова о Татьяне Яковлевой, возлюбленной Владимира Маяковского. Виктор Канин в подшивке старых журналов нашел и опубликовал очерк писателя Николая Каразина «Псовая охота», отражавший быт пензенского дворянства конца XIX века, а Олег Савин впервые напечатал мемуары Владимира Ходнева о жизни Пензы середины XIX века. Владилен Мочалов новых текстов в оборот не вводил, но с увлечением рассказывал о героях своих исследований — пензенских дворянах Колокольцовых.

На рубеже XX — XXI веков дореволюционное прошлое края (в именах и событиях) присутствовало на страницах журнала чаще, чем советское, что так же (как и возвращение ранее забытых имен) объяснялось духом времени. Пре-

жний взгляд на советскую историю *уже* перестал быть актуальным, а новый, принятый сегодня, *еще* только формировался.

В воспоминаниях журналиста Лоллия Замойского, сына знаменитого советского писателя, такая растерянность хорошо заметна. «Творчество Петра Замойского связывало художественной и жизненной нитью поколения дореволюционные и последующие, — писал Лоллий Петрович в «Суре». — Ныне цепь времен рвется. Кто и что потеряет от этого? Эти вопросы, видимо, задал бы и Петр Иванович, видя, что происходит вокруг него в дни его столетия». «И вот парадокс, — продолжал Замойский, — большевиков, коммунистов, подобных отцу, называли в свое время «материалистами», хотя они стремились дать людям духовность — знания и образование, ставили в первые годы после революции пьесы, писали поэмы и стихи. А теперь, когда сказали, что нас всех надо приобщать к высшим ценностям Запада, они обернулись чистоганом и нечистоплотностью»[4].

Интерес к советскому прошлому пензенского края (в контексте публикаций) возрождался постепенно. Маяками на этом пути стали воспоминания пензяков Николая Инюшкина (2004) и Кирилла Вишневского (2013). В них знаменитые земляки просто, по-домашнему, рассказывали о страницах своих военных и довоенных биографий. Мотивацию мемуаристов объяснил Николай Инюшкин: «Сперва в голову не приходило, что кусочки, осколки воспоминаний, впечатлений мальчишки из тыловой Пензы могут быть кому-то интересны. Разве сравнить их с маршальскими мемуарами, с тем, что рассказывали настоящие фронтовики и герои тыла? Но годы идут, и постепенно начинаешь понимать глубокий смысл слов мудрого современника: “Без меня народ неполный”»[5]. А Кирилл Вишневский, развивая тему, мудро и веско заметил: «Каждый человек проживает разную жизнь — и хорошие времена, и плохие. В его памяти запечатлевается и то, и другое»[6].

Предложенный персональный подход расколдовал советские страницы истории края. Они вновь зажили, заиграли красками, вырвались из рамок казенных схем и подходов. Живые рассказы об Александре Малышкине, Викторе Агапове, Александре Анисимовой, Дине Злобиной, Георгии Мясникове и других известных земляках советского времени сделали его для читателя ближе и понятней. История пензенского края сшивалась заново и, преодолевая классовые подходы, становилась историей родной земли, малой родины, где на одном корабле плывут и красные, и белые. Они все оказались причастны к *пензенской* истории (так назывался цикл статей о выдающихся земляках, публиковавшийся в журнале, исследователей Александра Тюстина и Кирилла Вишневского, ставших наряду с Николаем Инюшкиным главными «сурскими» краеведами).

И, конечно, тема местной (локальной) истории оказалась немыслима без двух выдающихся земляков — Михаила Лермонтова и Александра Куприна. Они стали главными фигурами, нитями, связавшими (на уровне персоналий и

эпох) дореволюционное и советское прошлое с днем настоящим. Из номера в номер журнал публиковал и продолжает публиковать материалы, которые раскрывают и осмысляют жизненный путь и творчество великих земляков (вплоть до их отражения в сети Интернет). Многое из напечатанного — это диалог времен и поколений, тот самый «накал нравственности», о котором говорил первый главный редактор «Суры».

Татьяна Кайманова об Александре Ивановиче Куприне: «Для Куприна самое страшное в человеке — нравственное обнищание души, которое он называет «охамением», когда разрушаются моральные барьеры и человек перестает ужасаться низкому, приноравливаясь к уродливым условиям, и душа его каменеет»[7].

Олег Пугачев о Михаиле Юрьевиче Лермонтове: «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова еще не одно столетие будут предметом оживленных споров, поскольку наследие, оставленное русским гением, столь же беспокойно, мятежно, сколь тревожна совесть, охваченная поиском смысла бытия и занятая решением больших и малых человеческих проблем»[8].

...Краеведение — это процесс познания малой родины, в котором, как в капле воды, отражается лицо Родины большой — России — и начинается знакомство с мировой историей человечества. Для редколлегии «Суры» сказанное — прописная истина. Рубрика журнала «От культуры края — к культуре мира» — лучшее тому подтверждение. Как верно и то, что «Сура», став преемником литературно-художественного альманаха «Земля родная», не только продолжила его краеведческие традиции, но и сама стала носителем знаний о малой, пензенской, родине: «Прошедшее необходимо знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий»[9].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пензенская правда. 1991. № 171. С. 3.
[2] Савин О. «Жизнь прошла с глазами на Россию» // Сура. Пенза. 1992. № 3. С. 60.
[3] Савин О. Красный Бонапарт // Там же. 1992. № 5 — 6. С. 168.
[4] Замойский Лоллий. Слово об отце // Сура. Пенза. 1996. № 3. С. 136.
[5] Инюшкин Николай. Далеко от войны. Воспоминания // Сура. Пенза. 2004. № 5. С. 181.
[6] Вишневский Кирилл. Пенза и пензяки // Сура. Пенза. 2013. № 4. С. 117.
[7] Кайманова Татьяна. Послесловие // Сура. Пенза. 2004. № 4. С. 123.
[8] Пугачев Олег. Одинокий парус М.Ю. Лермонтова: плавание через века // Сура. Пенза, 2014. № 3. С. 122.
[9] Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: Мысль, 1990. Т. IX. С. 365.

Аля ЧЁРНАЯ

ПОПУТЧИК

Рассказ

Два человека в этот страшный год,
Когда всех занимала смерть одна,
Хранили чувство дружбы. Жизнь их, род,
Незнания хранила тишина.
Толпами гиб отчаянный народ,
Вкруг них валялись трупы — и страна
Веселья — стала гроб — и в эти дни
Без страха обнималися они![1]

— На днях видел, как одна чёрная собачка в ошейнике выгуливает другую чёрную собачку, но только поменьше и без ошейника, — примерно с этих слов начался разговор двух незнакомцев в одном из вагонов плацкарта.

На улице занимался декабрь. В этом году зима встречала народ плаксивой погодой: дождь шёл вперемешку со снегом, под ногами постоянно было глубокие грязные лужи, в которые проваливались кожаные сапоги всех мастей, отчего люди непременно заболевали всяческими неприятными болезнями вроде насморка. Участь эта не миновала и Марицу Лазаревну, которая утирала платком свой красный нос, сидя на нижней полке.

В вагоне, на удивление, было пусто. Поезд не слишком-то поторапливался на своём пути с севера на юг страны, а люди всё выходили и выходили, но редко кто заходил. Марица пропустила момент, когда к ней присоединился сосед. Пропустила она и то, как мужчина возился со своими вещами. Она подумала, что всё это наверняка из-за насморка, и вообще у неё поднялась температура, и голова плохо соображает.

Попутчик начал говорить без всяких приветствий. Он просто глядел себе в окно, а потом вдруг сказал:

[1] Отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Чума»

— На днях видел, как одна чёрная собачка в ошейнике выгуливает другую чёрную собачку, но только поменьше и без ошейника. Натурально, идут одна за другой по улице. Я, главное, огляделся, нет ли хозяина поблизости, но верьте мне — ни единой живой души на километр! Неужели такие разумные собаки бывают? Одна, вся из себя важная, шла впереди, а другая за ней семенила с таким видом, будто оторваться от своего вожатого приравнивается к смерти. И это точно не родственные друг другу собаки. Я в породах ничего не смыслю, но то, что они разные были, могу сказать уверенно.

Голос у этого мужчины был похож на гудок чайника, когда тот вскипает. Марица заподозрила, что сосед ищет себе собеседника и кажется, уже нашёл его, в её же лице, предварительно не уведомив.

— И что же эти собачки? Куда они шли? — Марица интересовалась скорее из вежливости, хотя любопытство здесь тоже, безусловно, было, но не в отношении собачек.

Мужчина отвлёкся от разглядывания мелькающих в окне пейзажей и посмотрел на девушку. Взгляд его был прямым, и в нём что-то было, в этом самом взгляде, — безмерная тяга к тому, чтобы всё знать о душе человеческой.

— У одной собачки — носик, у другой собачки — хвостик...[2] — мужчина заулыбался, показав свои немного кривые зубы, — девочка одна стишок мне рассказала. Я люблю забавные песенки. А вы? — брови поднялись дугой. Эта лёгкая весёлость свойственна людям в эйфории или лёгком алкогольном опьянении. Марица пыталась учуять запах спиртного, но безуспешно. В вагоне пахло прелыми листьями, хоть осень уже прошла.

— Мне по профессии положено, — скромно пролепетала девушка, комкая свой испачканный платок.

Незнакомец сощурил глаза, пытаясь изобразить недоверчивость, но выглядело это комично. Хмыкнув про себя, как бы подбирая варианты и делая выводы, мужчина выдал:

— Вы воспитатель в детском саду? В яслях?

Кашель стал прорываться наружу, потому Марица Лазаревна не сразу смогла ответить:

— Почти. Я учитель.

— И что же вы преподаёте? Математику, наверное, — на слове «математика» незнакомец сделал упор, выделив особенной хитрой интонацией.

— Вовсе не математику. Я преподаю русский язык и литературу в старших классах, — слегка оскорбилась Марица Лазаревна.

Тут мужчина собрал рот в сморщенную горку и слегка выпятил нижнюю губу. Так делают большие обезьяны, если о чём-то начинают крепко думать. Попутчик открыл рот и стал говорить, но уже тихо, что-то себе под нос, самым низким в мире басом:

---

[2] Отрывок из детского стихотворения «Песня о маленькой собачке» Б. Заходера

— Знавал я много художников в мире словесного искусства. Мне нравился один талантливый поэт — Константин Васильевич.[3] Его «Нарспи» — милое создание человеческой натуры, которое я так стремлюсь познать.

О мой бог, мой добрый пюлех,
Ты зачем мне душу дал,
Коль ни в чём бедняжке юной
Счастья-доли не послал?[4]

После этих слов незнакомец посмотрел на Марицу в упор, будто каждая буква у неё на лбу выведена алым. Учительнице даже показалось, что голос прозвучал не из мужчины, а в её голове, и она уже понемногу сходит с ума от жара. Она с трудом открыла окно, но свежий воздух так и не соизволил войти в душный вагон. Попутчик сбросил тоскливое выражение лица и резко приободрился, вновь начал вещать, на этот раз более радостно:

— Витезслав Галек[5] был, одно время мне нравился: такой лёгкий и оптимистичный был поэт! Настоящий философ, хоть и недоучка. Бросил учёбу, несмотря на то что я его сердечно умолял, а он ни в какую. С ним тоже пришлось расстаться. Спустя долгое время я познакомился с Фланнери О'Коннор[6]. Прелестная женщина. Эдакая южная готика. Могла говорить о вере в Бога сколь угодно. Мне были интересны её догадки, впрочем, не такие уж далёкие от истины, потому-то диалоги у нас случались долгие. Мне и русские были по душе, например Аркадий Хайт[7]. Люблю его сатиру. Я в принципе люблю сатиру, а кто её не любит, тот просто не распробовал!

Марица Лазаревна была приятно удивлена, что её хоть и немного дикий, но обаятельный попутчик был так хорошо знаком с миром литературы. Только не совсем были понятны его «уговаривал» и «диалоги случались долгие». Может, это он в каком-то ином смысле?

— И кто же вам привил такую любовь к мировому слову?

Мужчина пожал могучими плечами.

— Сам себе привил, наверное. Это моё хобби. Кажется, это модное слово нынче принято употреблять по отношению к любимым занятиям, доставляющим удовольствие?

Он снова уставился в окно. Теперь Марицу саму раздирало любопытство. Каков попутчик, а?

Она была не замужем. Неброская внешность типичной еврейской девушки, плавно переходящей в возраст женщины, манера наряжаться в тёмные одежды, увлечения стихами — всё это не слишком подходило современному

[3] Имеется в виду чувашский поэт Константин Васильевич Иванов (1890 — 1915)

[4] Отрывок из поэмы «Нарспи» К.В.Иванова

[5] Чешский поэт

[6] Писательница Юга США

[7] Советский и российский писатель-сатирик и сценарист

агрессивному миру, который желал видеть больше решительности и упорства. Разговоры с мужчинами всё не клеились, а тут такой экземпляр!

— Кем вы работаете, если не секрет?

Манеры требовали вначале узнать имя временного соседа, но об этом Марица подумала поздно. Ну ничего, спросит потом.

Мужчина захрипел серьёзным и почти что грозным голосом, будто эта тема ему опостылела хуже горькой редьки:

— Я работаю с людьми.

Но, увидев испуганный вид девушки, новый знакомый чуть смягчил тон и продолжил уже без железа в словах, но твёрдо:

— Так сказать, меняю их жизни.

Затуманенная фраза заставила напрячь мозги. Святой отец? Врач? Продюсер? Психолог?

— Не сказать, что прям психолог. Но люди часто говорят со мной о сокровенном.

Марица непроизвольно выпучила без того выпученные глаза. Неужели вслух сказала? Или это мысли так громко шуршали в её голове, что их было слышно стороннему наблюдателю? А может, он из разведки какой-нибудь и владеет всяческими секретными приёмами чтения мыслей по выражению лица? Или «говорят о сокровенном» означает вовсе не процесс излияния души, а пытку, под которой раскалываются даже самые стойкие, и это такая скрытая угроза?

Молодая учительница не стала ничего говорить. Она не без тени страха, но придирчиво осмотрела попутчика, стараясь найти в нём то, что заставляет людей выкладывать всё начисто. Начала она с макушки. Жёсткие тёмные волосы отказывались лежать смирно. Широкий лоб с глубокой морщиной прямо посредине — человек серьёзный. Марица сразу же представила его, склоняющегося над кипами бумаг и расстрельных списков. Но тут же вспомнила его глуповато-дружественные замашки и передумала насчёт списков.

Густые брови. Глаза странные. То ли свет преломлялся, то ли действительно так, но они были разного цвета. Не диаметрально различные, как, например, синий и зелёный, а едва уловимо: правый был серым с коричневой радужкой, а левый — коричневый с серой радужкой. Взгляд острый, как железная лопата, которая беспощадно вонзается своим краем в землю, — такой можно и убить, а можно сделать что-то полезное. Марица Лазаревна нервно покусывала нижнюю губу. Чувствовалось небольшое сумасшествие или, напротив, высокий профессионализм.

Нос чуть кривоват, будто сломан был, и не раз. Мало ли бывает у мужчин, потасовки юношеские. Или пьяный дебош. Но Марица посчитала, что на пьяницу её попутчик, пожалуй, не похож. Хотя много ли пьяниц она знала? Разве что насмотрелась в общежитии в годы студенчества на любивших портвейн молодцов, но как их различишь, когда они трезвые и так задумчиво глядят в окно?

Рот большой, губы от уха до уха. Кожа на лице пористая и толстая, как корка у мандарина. Подбородок квадратный, раздвоенный. Нехорошая пометка, но весьма привлекательная. Марица невольно вообразила, как по утрам колется щетина на его щеках, которые сейчас были так гладко выбриты. Молодая одинокая учительница даже слегка покраснела, что совершенно явно проглядывалось из-за её природной бледности.

Из-под рукавов вязаного свитера выглядывали крупные жилистые руки. Общее впечатление: мужчина, с первого взгляда совсем не примечательный — таких по миру много ходит, за исключением... впрочем, излишняя притягательность объясняется совершенным отсутствием в личной жизни молодой учительницы прочих экземпляров.

— О чём же они с вами говорят? — голос у Марицы Лазаревны стал немного сиплым и хрустким, отчего она успела подумать, что подхватила ларингит.

— О разном. В основном спрашивают, что будет дальше.

Марице пришло на ум, что он, наверное, экстрасенс или выдаёт себя за такового. А может, и того хуже: дурачит её, как школьницу, чтобы произвести впечатление. Вполне возможно: подсел, начал говорить слова с двойным дном, чтобы заинтриговать, а сам наверняка дома перед зеркалом репетировал. Марица даже как-то разозлилась от такой жестокой шутки, которую сама только что придумала.

Нет, подсказывало ей глубокое животное чутьё, этот не врёт. Он, может, и псих, но в свои слова, похоже, свято верит.

— А вы знаете, что будет дальше? — вопрос прозвучал наивно, но без намёка на наигранность.

Попутчик хмыкнул, потерев переносицу, будто только что снял очки, хотя очков не было.

— Позвольте, Марица Лазаревна, кому это дано знать, кроме Бога? Он никому не говорит, — здесь он сделал голос тише, — и мне тоже.

Поезд остановился. Люди в вагоне, сгибаясь под ношей и немного матерясь, вываливались наружу, где их встречали другие люди. На станции никто не зашёл. Стало ещё тише.

— Некоторые вспоминают свои увлечения.

Улыбка на лице мужчины игриво заиграла. Попутчик достал маленькую металлическую пилочку и стал подпиливать ногти. И тут Марица заметила: зубы. Они все сплошь в тёмном коричневом налёте. Скалясь, попутчик пилил свои ногти до самого мяса, так, что пальцы начали кровоточить.

— Никто не думает об охоте с гончими или о победе в игре в покер. В основном, на ум приходит дамочка, сидящая в партере, с тоскливым взглядом. Дамочка, к которой он так и не подошёл, хоть она и пришла одна, — попутчик мечтательно закатил глаза. Черты его лица расползлись, создав подобие доброй ностальгии.

— Кто, простите, не подошёл? — аккуратно вставила Марица, стараясь не потревожить нависшее облако.

— Гражданин Васильков. Он буквально вчера провёл со мной весь вечер. Очень уж скромный, о чём бесконечно сожалел.

— А сейчас что же, не сожалеет?

Попутчик нарочито тяжело вздохнул:

— А сейчас не сожалеет. Теперь ему всё равно.

Мужчина вновь надолго замолчал. Пейзажи за окном всё менялись, люди всё выходили, тишина становилась гуще.

— Курица или яйцо?

Марица растерялась, уже который раз.

— Простите?

Попутчик выпучил глаза, с удивлением взирая на свою собеседницу, словно на полную идиотку.

— Я спрашиваю, курица или яйцо?

— Вы имеете в виду тот самый спор, кто появился раньше? — осторожничала Марица Лазаревна.

Мужчина взорвался диким хохотом, как делают это в плохих театрах. Что-то в нём изменилось, в этом человеке. Язвы усыпали кожу на лице болтливого соседа.

— Нет же, милая моя, я имею в виду, что вы изволите кушать?

На этих словах, словно из ниоткуда, сосед стал доставать яства. Стол постепенно заполнялся различными продуктами: печеньями, колбасой, рыбными консервами, персиками в банке, шоколадными конфетами, сушёными бананами, котлетами, яйцами, ржаным хлебом, апельсиновым соком. Было что-то ещё, но Марица не успела разглядеть, она отвернулась к окну, так как на неё тошнота накатила.

Мужчина развернул из пищевой фольги зажаренную курицу и принялся есть её. При этом его манеры обедать были далеко не так милы, как умение заводить престранные разговоры. Он ел жадно, впиваясь пальцами в белое мясо и разрывая его на части, как лесное животное. Неимоверно чавкая, он испачкал пол-лица, отчего рот его, и щёки, и борода сделались масляными. «Хотя... бороды вроде бы не было. Но как же не было, когда есть!» — подумала про себя женщина. Похрюкивая и слегка постанывая от удовольствия, попутчик не забывал улыбаться, демонстрируя меж зубами волокна мяса. Когда он принялся хрустеть костями, которые тоже жевал, как и мясо, Марица почувствовала новую волну тошноты и выбежала в туалет.

Она хотела умыться холодной водой, но в кране было только урчание. Её вырвало. А затем ещё раз. Утираясь перед зеркалом клочком туалетной бумаги, она вдруг заметила, что под глазами её теперь кожа совсем почернела, а губы стали бледными. Меж тем красные пятна пошли по лицу, а закостенелые пальцы не хотели шевелиться. Безумные мерзкие звуки разжёвывания и

проглатывания, лязганья зубов стояли в её ушах. И всё вокруг пахло отходами человеческой жизнедеятельности.

Вернувшись на место, Марица обнаружила странного соседа, ловко сметающего мусор в пакет. Вскрытые банки и шелестящие фантики, картонные коробочки. Всё это было уже пустым.

Закончив, мужчина встрепенулся, будто что-то ударило его по темечку, и вновь начал говорить:

— Царю Соломону было подарено кольцо. Сказано было, что когда ему станет очень трудно, грустно или страшно, то пусть вспомнит о кольце и подержит его в руках.

Однажды в царстве Соломона случился неурожай. Все вокруг умирали, даже воины. Соломон был растерян, и вдруг он вспомнил о подарке. На кольце была надпись. Древние знаки, витиеватые буквы. Прочёл Соломон: «Всё пройдёт».

Прошло много лет. Царь Соломон стал мудрым правителем. Он женился на славной женщине и жил с ней счастливо. Когда его верная супруга покинула мир смертных, горе и тоска охватили царя. Не веселили его танцовщицы и певуньи, не радовали бои. Печаль и одиночество захлестнули Соломона. Он взял кольцо, и горела на нём надпись: «Пройдёт и это».

Миновало немало лет. Соломон стал древним стариком. Дни его сочтены. Вот и всё прошло. Царь подставил ребро кольца лучам восходящей луны — блеснули синим светом буквы на грани: «Ничто не проходит».

Марица внимательно слушала, но всё равно потеряла нить рассуждений. Голова не хотела думать, а в горле пересохло. Собеседник пододвинул девушке бутылочку холодной воды, а сам достал из сумки баночку кофе и затем отлучился, сказав, что пойдёт за кипятком.

Пальцы Марицы дрожали. Кофта насквозь пропиталась потом. Жар свалил её сознание в какую-то бездну. «Без антибиотиков не обойтись теперь», — подумала она. Вода приятно растекалась по горлу, но потушить разгоревшееся пламя в животе она не сумела.

Попутчик вернулся на место и тут же принялся дребезжать ложкой о чашечку. Голова Марицы разрывалась пополам. Сквозь неимоверное грохотание она различала кое-какие слова:

— Милая, вы всё пропустили. В вашей жизни не было яркого света, лишь слабый луч. Но я вас не виню: вы хватались за этот луч как могли, изо всех сил. Никто не имеет права осудить вас. Вы глубоко несчастное дитя. Я полюбил ваше существо искренне, насколько это возможно. Вынужден сообщить, что это дурной знак.

Отпив немного кофе, он продолжил:

— Я нравлюсь вам? Скажите, долго ли я заставил себя ждать?

Марица уже не сомневалась, что бред накрыл её с головы до ног. Должно быть, грипп. Она, верно, в полусне видит эти странные образы, которые шепчут ей не менее чудные слова.

— Люди ходят по кругу. Я иду вслед за ними. Воистину, ничто не проходит.

Марица почувствовала, как её лба коснулись сухие губы. А потом её закрытых глаз и щёк. Ей казалось, что попутчик гладит её своими большими ладонями по волосам и ласково смотрит на её податливость. Слышны были только слова.

— Я не могу ответить человеку, когда он спрашивает меня, что будет дальше. Этот вопрос по сути бессмысленный.

Новый знакомый заговорщически зашептал:

— Но всё-таки я могу кое-что ему поведать.

От тёплого дыхания повеяло плодородной землёй, орошённой дождём. Лицо попутчика пылало, отчего щёки Марицы сами собой налились пунцовой краской, а голова пошла кругом. Дышать становилось всё тяжелее — грудь что-то сдавило, а изнутри разрывало лёгкие. Собеседник затянул лениво:

— В позвоночнике всё есть. Слышен каждый винтик. Щёлк-щёлк.

От этого глаза Марицы распахнулись. Видения пропали. Никто больше не осыпал её ласками. Она смирно сидела напротив попутчика.

Тот пододвинул ей вторую чашку кофе (откуда — снова непонятно!), советуя глотнуть.

— Вам нехорошо, но это пройдёт. Пейте, пейте, милочка, он восхитителен.

Кофе и впрямь на вкус был лучшим из всех, что довелось пробовать Марице Лазаревне, хотя сказать прямо — в жизни своей она никогда даже не нюхала приличного кофе. Этот был насыщенным и отдавал всем и сразу. Вначале Марице показалось, что на языке её французские булочки. Затем — горький шоколад. После — крепкий армянский коньяк. Вкус малинового сиропа появился позже остальных. Волшебно.

Собеседник давно принял спокойную позу. Руки его вдруг затрепетали, ощупывая воздух. Мужчина продолжил:

— Если провести пальцем, осторожно, не торопясь, то можно всё понять.

Очнувшись, она прервала лёгкое забытье своим очередным вопросом. Учительница задала его громко и уверенно, потому что теперь-то она всё поняла. Она поняла, что происходит, и это придало ясности всей непонятной ситуации.

— Так вы вертебролог?[8] — Марица повеселела, но её попутчик совсем не обрадовался.

Он свёл брови и неожиданно резко перевалился через стол и схватил девушку за руку. Марица не могла не заметить, что ладонь его была огненной, будто по жилам текла не кровь, а крутой кипяток. В голове снова помутилось, но теперь ещё больше — до того, что в глазах расплывались линии, бывшие когда-то ровными.

— Я был в Греции во время Пелопонесской войны в четыреста тридцатом году до нашей эры. Жители Афин прятались за стенами своего города, чтобы

[8] Вертебролог — врач, выявляющий заболевания костей позвоночника

спастись от наступающей спартанской армии. Каждый третий не смог задержаться на этом свете, хоть до них и не добрались враги.

Пальцы впились в тонкую руку Марицы Лазаревны. В ушах звон колоколов становился немыслимой какофонией.

— Я жил в Индии, с 1817 года, а потом путешествовал по Европе и Америке, пока мне не наскучило. А в 1920-м я разгулялся по всей Европе. Мне было хорошо дышать, вольно. Макс Вебер[9] стал мне хорошим другом. Но всех хороших друзей я оставляю Богу. Такова моя суть.

Резко разжав свою горячую ладонь, мужчина присел. Он подал Марице чистый носовой платок — ко рту девушки подбиралась красная струйка крови.

— По позвоночнику можно услышать, как тикают часы. Тик-так. Тик-так, — скрюченные пальцы мужчины стучали по столу. Марица едва не вскрикнула от боли, которая пронзила её спину.

Она пригляделась. Перед ней сидел глубокий старик, с лицом, покрытым сеткой глубоких шрамов, с выцветшими глазами и изуродованными артритом руками. Его седые волосы торчали в разные стороны.

Очередная станция. Поезд с лёгким треском остановился. Старик взял трость и, вежливо откланявшись, стал уходить. В вагоне царило беззвучие. Люди застыли в нелепых позах: кто лежал вниз головой, припадая к полу, кто сидел, сложившись пополам, кто растянулся в проходе. И все мирно спали.

На Марицу напала слабость и желание закрыть глаза. Всего на пару минут. Ей просто хотелось спать.

[9] Немецкий социолог, философ, историк, политический экономист

Мария ПРОСВИРНИНА

«ЕСЛИ БЫ…»

Стихи для детей

КАК МЫ ДЕЛИЛИ МАМУ

Днём
Мы с сестрёнкой, как подружки,
Делим мягкие игрушки,
Делим кукол и посуду
И других игрушек груду.

Но не знаем, как нам быть, —
Как нам маму поделить?

Вечером
Мама пополам не делится,
Всю отдать я не могу —
Стану я её владелицей,
Для себя приберегу.

Посчитались, поругались,
Недовольными остались.

Хмурая сидит сестрёнка…
А потом мы с ней решили
Помириться. И тихонько
Маму папе подарили!

ДЕТСКИЙ САД

Дома каждый день подряд
Мы играем в детский сад.

Выступает на кровати
Наша дочка — воспитатель.

Папа с мамой — малыши,
В руки взяв карандаши,

Начинают рисовать
И чуть-чуть озоровать.

То поделки вырезают,
Пазлы дружно собирают…

Только маму почему-то,
Да и папу почему-то
Никогда не забирают.

СОЛДАТИКИ

Что за пёстрые цветочки
Оживились на пенёчке?!
Ой! Шевелятся! Смотри!
Вылезли из-под коры!

Спинки чёрно-красные
Солнышком обласканы.
Кто их так раскрашивал?!
И совсем не страшные!

Взял я в руки одного:
Он — усатый скороход.
Почему же этих «братиков»
Называют все «солдатиками»?!

Как мундиры у солдат,
Спинки яркие горят,
Только по-солдатски в ряд
Становиться не хотят!

Как мальчишки, в самоволку
Разбежались… Нету толку
Догонять их. Пусть бегут…
На пенёчке — тут как тут!

И честь они не отдадут,
И войны вовсе не ведут.
Но в форму строгую одеты —
Как стражи солнечного света!

ЗВЕРИНЫЕ ИГРУШКИ

У зверей свои игрушки:
Носик, хвостик, лапки, ушки,
Палка, шишка, паучок,
И кузнечик, и жучок;

Зайчик солнечный — весной,
Снег сверкающий — зимой,
Листик — осенью — шуршащий,
Фантик яркий, настоящий!..

Звери круглый год играют,
Никогда не унывают!

ЕСЛИ БЫ...

Если бы вещи —
Портфели и книжки —
Сами могли бы ходить,
То бы, конечно,
Дома вприпрыжку
Уроки могли бы учить.

Если бы ручки
Сами писали,
Сами могли бы решать,
То эти ручки
По вертикали
Кроссворды могли б разгадать.

Если б я спал,
От забот удручённый,
Ел, отдыхал и гулял,
То я не стал бы
Великим учёным,
Если бы даже мечтал...

Станислав ЗОТОВ

НА ОХРАНЕ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА

Рецензия на книгу Михаила Фёдорова

Уходит эпоха... Канул в небытие XX век и унёс вместе с собой великое время трудов и надежд, величайших свершений, исторических побед и, к несчастью, роковых неудач, что постигли нашу страну в последние два десятилетия прошлого века. Нашему народу не удалось сберечь великую общность народов Евразии, которая называлась СССР — Советский Союз. Общность эта, выкованная в пламени революции и Гражданской войны, строившаяся героическим трудом всех людей нашей страны России и многих сопредельных стран, республик СССР, которые пытаются стать теперь независимыми государствами, общность эта распалась, когда угас созидательный дух тех социальных идей, на которых она строилась. Тем более трудно пришлось тогда людям, которые до конца сохраняли верность своему Отечеству, своему народу. Одним из таких людей был — и во многом остаётся и сейчас — Александр Яковлевич Сухарев, вступивший на пост Генерального прокурора СССР тогда, когда Родина оказалась на пороге роковых событий.

Михаил Иванович Фёдоров, писатель из Воронежа, написал уже немало биографических книг. В поле его творческого зрения оказывались самые разные люди, но все они так или иначе были связаны с родной воронежской землёй. Не исключением здесь стала и книга бесед Михаила Фёдорова с Александром Яковлевичем Сухаревым, ведь известный прокурор сам выходец из воронежских краёв. Вот как он рассказывает о себе в беседе с Михаилом Фёдоровым.

«Я родился в Малой Трещевке. Это деревня под Воронежем в Землянском уезде, рядом с большим селом Чистая Поляна. В километре — Большая Трещевка, а там — у каждого сады...» Память сохранила многое. Но самое главное воспоминание из этой детской сельской жизни не случайно — школа: «У нас была учительница Оль-

га Николаевна. Дочь попа... Она была хорошей учительницей, её ценили. Когда она уезжала или болела, оставляла за себя меня. Я был учителем и воспитателем в третьем классе. Почему? Учился хорошо. И умел читать стихи. Оратор был. Селяне собираются... Меня поднимают на импровизированную сцену из каких-нибудь костылей, и я читаю стихи». Поразительные воспоминания! Вот, оказывается, откуда начинается путь к вершинам власти и юриспруденции, со стихов русских поэтов, с некрасовской боли за русский народ.

«Я уже знал «Мужичок с ноготок», — пишет Александр Яковлевич:

...Откуда дровишки?

— Из леса, вестимо...

Прямо прокурорский разговор... Да, не думал сельский парнишка Александр, что дослужится до больших чинов. Жизнь-то была бедная, трудная: «Дома-то одна комната, печка. Но места хватало. И учиться, и жить». Отец хотел сделать из сына Саши «хозяина», чтобы крестьянствовал, растил хлеб... А мать, Мария Михайловна, наоборот — хотела, чтоб сын учился, выбился в «люди». Она определила мальчика в среднюю школу в Землянске, и стал Саша жить самостоятельно, мать его проведывала. Опекала, не бросала парнишку, следила, чтоб ничего с ним не случилось. А случиться могло всякое, время то было тревожное, шёл 37-й год, и однажды Александра арестовало местное НКВД за то, что он якобы сказал на портрет Ворошилова, в то время наркома: «У него глаза бешеные»... И этого было достаточно, чтобы засадить парнишку в тюремный подвал. Но мать, как всегда, выручила, прилетела, добилась правды. Помогло и то, что два брата у неё отличились по революционной части, были партийцами. Отпустили Сашу из подвала и школу дали закончить.

В 38-м году поступил Александр Сухарев на авиационный завод в Воронеже и продолжал учиться в ШРМ (Школе рабочей молодёжи), где подивился, что рядом с ним за партами сидели не юноши и девушки, а взрослые дяди и тёти — власть заставляла учиться всех, получать среднее образование. Вот задумаемся, какое противоречивое отношение властей к людям: с одной стороны, прививают грамотность, чуть ли не из-под палки заставляют народ учиться, а с другой стороны — могут бросить в тюрьму, в лагеря, уничтожить человека, только за лишнее словцо, за «бешеные глаза»... «Умом Россию не понять», — точно сказал Тютчев.

Работая на авиационном заводе, Александр и сам захотел стать лётчиком, подал документы в лётное училище, даже год себе приписал, чтоб выглядеть старше, но его не взяли, опять выплыла эта история с «бешеными глазами» Ворошилова, и ему предложили вместо лётного поступить в училище войск связи. Выбора не было, началась уже Великая Отечественная война. Так Александр Сухарев стал военным человеком.

Чего не бывало на войне! И мёрзли, и мокли. И по суткам не спали, так что один раз лейтенант Сухарев заснул на ходу. Так и шёл в сонном состоянии,

пока не налетел на лошадь. Тогда очнулся и пошёл догонять свою часть, которая ушла уже в другом направлении. В другой раз очнулся, а вокруг немцы... А это были немцы из «котла» под Бобруйском, они шли сдаваться, но много ещё их оставалось в лесу. Лейтенант Сухарев раздал пленным авиационные трубы из запчастей для самолётов и заставил через них кричать тем, в лесу, чтоб выходили, сдавались. Сдались...

А.Я. Сухарев

А потом было тяжёлое ранение. Да такое, что хотели военные врачи отнять руку и ногу, но лейтенант Сухарев взял в руки гранату и грозил ею врачам, чтоб те не подходили к нему. А потом один молодой хирург на свой страх и риск провёл операцию в полевых условиях, без наркоза, что-то там подчистил, зашил, пересадил ткань с одной ноги на другую. Чтобы пациент не орал от адской боли, дал ему в зубы кусок одеяла... И ноги, и руки зажили, но война для Александра Сухарева закончилась. Вышел он из неё с орденами, об истории получения которых из скромности не рассказывает, с ранениями, хромым..

После войны началась для Александра Сухарева комсомольская и партийная карьера. Но это была не кабинетная работа, надо было восстанавливать страну после разрухи. Вот такие молодые ребята (сколько было Сухареву в 1945 году? 22 года!) и взвалили на себя ношу того тяжёлого времени. Они сразу как бы стали взрослыми. Из детей — сразу во взрослую суровую работу. Думается, что это-то поколение и держало страну, пока было возможно. Стало уходить это поколение людей, прожжённых огнём и сталью войны, — ушла и страна.

В 50-е годы работал Александр Сухарев на Западной Украине инструктором ЦК ВЛКСМ, так что он хорошо знает, что такое бандеровщина. Он видел эту власть «лесных братьев», когда приходилось ездить по глухим карпатским сёлам только с крепкой охраной из чекистов. Видел последствия бандеровского террора и очень хорошо знает, что вся эта бандеровщина — это последствие фашистской оккупации Украины, всё это взошло на гитлеровских дрожжах. Всё это было заложено тогда — весь этот страх и ужас, что внушали местному населению бандеровские палачи, — это были отработанные приёмы фашистской машины психологической и террористической войны. Об этом

М.И. Фёдоров

можно было бы написать, наверно, целую книгу, особенно нужную сейчас, когда эти дьявольские силы завладели Украиной, но скажем только, что лишь за первую половину пятидесятых годов на Западной Украине от рук бандеровцев погибло шестьдесят тысяч советских работников, учителей, военных, чекистов, партийных. Об этом кто-нибудь сейчас помнит? А надо бы вспоминать, ведь всё это зло пришло ныне в Донбасс, на восток Украины, к границам России, и борьба с этим злом будет долгой и трудной.

В хрущёвское время, которое всё продолжают по традиции именовать «оттепелью», чем только ни приходилось заниматься Александру Сухареву. Кукурузу за Полярным кругом сеял? Сеял. Ездил в Коми АССР с группой товарищей выполнять это важное хрущёвское задание. Но, правда, из этого ничего не вышло, так как в Инте(!), где они собирались сеять кукурузу, им популярно объяснили, что здесь полюс холода и кукуруза не растёт.

В 1959 году Александр Яковлевич стал инструктором ЦК КПСС в административном отделе. А это был фактически юридический отдел, он курировал всю советскую юрисдикцию — суды, прокуратуру. Так впервые в своей многообразной деятельности он вступил на юридическую стезю. Тогда он впервые познакомился с Романом Андреевичем Руденко, знаменитым нашим юристом, который выступал в качестве официального обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе над фашистскими преступниками и был на очень хорошем счету у Сталина. Что ни говори, Сталин умел подбирать людей. Сам Роман Андреевич проработал на посту Генерального прокурора с 1953 по 1981 год. А это, как вы понимаете, очень трудная и хлопотливая должность. Сам Александр Сухарев кумиром считает его, и когда Михаил Фёдоров спросил у своего собеседника, почему так, то Александр Яковлевич улыбнулся и ответил: «Он хит-рю-щи-й!» Руденко и продвинул Сухарева в правительство, где Александр Яковлевич стал заместителем министра юстиции СССР. Впоследствии он станет и министром юстиции РСФСР.

Александр Яковлевич Сухарев знает много о кулуарных отношениях в правительстве и высшем партийном руководстве СССР. Пересказывать его истории не имеет смысла. Надо прочитать книгу Михаила Фёдорова. Это книга замечательна не только по своей информативности, но и по своей эмоциональной составляющей. Одно дело — приглаженный и прилизанный текст, где всё

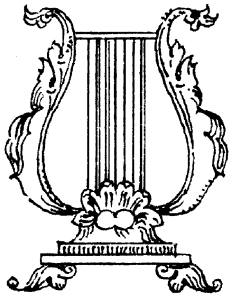
выверено и правда жизни снивелирована. Нет, книга Михаила Фёдорова — это живая ткань разговора двух интересных людей, без изъятий, без внутреннего цензора. Перед тобой предстаёт живой человек, который изъясняется не обтекаемыми фразами, а режет, что называется, правду-матку в лицо. И, самое главное, из разговора с собеседником постепенно вырисовывается портрет человека, проявляется его внутренняя сущность. А такой человек, как Александр Сухарев, — это живая наша история, и узнать эту историю нам надо поближе.

Александр Яковлевич Сухарев стал Генеральным прокурором СССР в мае 1988 года. Вот как он описывает это время: «Сумгаит бурлит. Там — резня. Армения бурлит: требуют Нагорный Карабах от Азербайджана. Потом тбилисские события. Ошская резня. Свалилось на меня. Вижу, надо модернизировать саму прокуратуру, укреплять её...» Но было, по большому счёту, уже поздно. Дезинтеграционные процессы, поднятые Горбачёвым (помните — «Процесс пошёл!»), о личности которого Александр Сухарев не может говорить без сарказма, набирали свою силу. Дело прокуратуры было — блюсти законность, что и пытался делать Сухарев в меру своих сил. Но это не понравилось высшим партийным разрушителям страны, которые взяли курс на уничтожение государства, и Александр Яковлевич не засиделся на посту Генерального. В октябре 1990 года его сменил Николай Семёнович Трубин, который и стал последним Генеральным прокурором СССР.

А что бы сделал Александр Яковлевич Сухарев, будь он в августе 1991 года, во время пресловутого ГКЧП, на посту Генерального прокурора? Смог ли бы он помешать развалу страны? В книге Фёдорова есть интересное место. Когда Трубин спросил его об этом, то Сухарев сказал ему: «Самое лучшее было бы для тебя... стоять на охране Конституции и нашего закона». Но про закон тогда забыли все...

Смутное время неслось над нашей страной. Какие только пигмеи и карлики не побывали при власти... Тем более нам интересно узнать всю подноготную тех времён из первых рук. Из уст человека, который всегда оставался честным и принципиальным на всех должностях, на которые выдвигала его жизнь и судьба. О его жизни и судьбе, о его времени поведала честная и беспристрастная книга Михаила Фёдорова.

ИТОГИ КОНКУРСА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ



24 декабря 2015 года жюри областного конкурса одного стихотворения, проводимого под эгидой Пензенского отделения СП России и литературных клубов «Берега» и «Я сень», работающих при журнале «Сура», в составе: Лидия Терёхина (Л.И. Дорошина), В.В. Филонов, Е.Г. Чебалина, М.В. Герасимова, С.В. Попеева — подвело итоги. Публикуем стихи победителей.

Анна Мартышина (1-е место, клуб молодых поэтов «Берега»).

Галина Мордовина (2-е место, литературный клуб «Я сень»).

Капитолина Мишкина (литературный клуб «Радуга», г. Заречный), Антон Шумилин (клуб молодых поэтов «Берега»), Анастасия Флягина (Центр детского творчества) поделили 3-е место.

В различных номинациях были отмечены стихи Александра Фролова, Татьяны Рузаевой, Елены Ноник, Сергея Захарова, Виталия Фатеева. Призом «Надежда конкурса» отмечена Юлия Черемшанова (литературный клуб «Ключи», р. п. Мокшан).

Анна МАРТЫШИНА

* * *

Это белое утро молчит, захлебнувшись ветром.
Паутинки прошили зелёную гладь земную.
Из костяшек ковыльных стай разговор раздую,
С голубеющих шрамов дорог сковырну цедру.

И польётся коралловой тиной словарный грохот
Куропаток пугать и лосей по лесам прятать,
Если долго внутри молчать, человек глохнет,
Пеленает ушную рябь холодок мятный.

А потом — что буранный всхлип, что сердечный лепет,
Одинаково отдаёт лебедой жжёной,
И глядит человек в окно. Человек терпит,
Как его Галатею ведут отдавать в жёны.

И сворачивается судьба золочёной бляшкой
На прохладной зелёной ленте её сапожек,
И сырой первоцвет разлетается от упряжки
Под истерику и раздрай голубых гармошек.

Побелевшая жизнь замолчит, захлебнувшись ветром,
К ночи брызнет роса, разъедая дорожные шрамы.
К человеку под утро приходит его мама
Укрывать оглохшую душу зелёным фетром.

Галина МОРДОВИНА

В ГОРОДЕ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Шёпот и небо низкое
В городе без названия.
Режет глаза мне близкое
Серых дождей признание.

От фонарей натруженных,
Жгущих свои желания,
Светом бредёт разбужена
Ночь — самозванка ранняя.

Бьёт кобылицей кованой
В сердце, как в дверь заветную.
Там, до краёв спрессована,
Прячется боль запретная.

Губы, вскипая красками,
Жаждут прохлады олова.
Корчится ночь гривастая,
Вздыбив бока лиловые.

В схватках измят предутренних,
Выполз из тьмы острожной
Тусклый рассвет. К заутрене
Колокол бьёт тревожно.

Вьюга глумится, красная,
Весело, зло, отчаянно,
А в небесах распластана
Муза моя печальная.

В синих глазах отдушина,
Сердце зайдётся бедное.
Ветер крадёт послушные
Листья с деревьев медные.

Шёпот глухими искрами
Тает, дождём израненный.
Небо повисло низкое,
Будто овчинка рваная.

Капитолина МИШКИНА

* * *

«С неустановленной судьбой» —
Пришло известие в конверте.
Ты — не погибший, не живой,
Ты — человек без даты смерти.
И боль войны, уже чужой,
Далёка внукам или близка…
Ты — не погибший, не живой,
«Пропавший без вести» — по спискам.
Фамилий скорбен длинный строй —
Судьбы жестокой той, военной.
Ты — не погибший, не живой.
Ты — горсть земли и часть Вселенной.
Всегда у Вечного огня
Лежат цветы, как чья-то память, —
Для неизвестного тебя
Нельзя в помин свечу поставить.

Ты, кровь проливший за страну,
Её победы не дождался.
Ты только встретил ту войну
И в сорок первом задержался.
Парад… Победа… Ордена
Достались не тебе — собратьям.
Тебя проклятая война
Навеки спрятала в объятьях.

Антон ШУМИЛИН

* * *

Если хочешь уснуть — не тяни, засыпай,
Головой упади на перину сугробов
И коричневый сумрак еловой коры
Наполняй незаметным волнением снов.
И прямые секутся, выводит кривая
За надбровные дуги Вселенной суровой,
Где в кедровые шишки свернулись миры
И трясёт новогодний озноб.

И во сне раздвигая руками метель,
Головой упади в складки внутренней тени.
Так находят ответ и уходят под лёд,
Проводив чудеса и собой закусив.
Упади и как мёртвый лежи в темноте,
Притворяясь обломком кембрийских растений,
Дожидаясь, когда семь печатей сорвёт
Подноготным сгущением сил.

Если хочешь проснуться — мети, засыпай
Полувымерший город слоями сугробов,
Выплюнь снег и чужой бутерброд тишины,
Упади головой в недостроенный дом.
И потом поутру, узнавая себя,
Как дурак прокричи, надевая обувь:
«Кто-нибудь да узнает, что будет После,
И никто не узнает, что было До!»

Анастасия ФЛЯГИНА

МЕТЕЛЬ И САКСОФОНИСТ

В эту ночь и без стражников-фонарей дворы были полны светом и мерцанием новогодних огней. Хлопья снега, с любопытством подлетавшие к окнам, искрились в ночи, заменяя звёзды. Из квартир вырывались радостный смех, песни и крики «Дед Мороз!», словно хлопушки оглушая улицы.

Метель обняла Его своими трепещущими руками, словно сына; заиграла на арфе замёрзших ветвей и запела. Саксофонист, улыбнувшись глазами, взял первый жгучий аккорд. И сквозь заснеженный город полилась мелодия волшебства и предновогоднего чуда.

Роман ДАВЫДОВ

ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ ДРОБОТОВА

Старейшему пензенскому композитору Юрию Дроботову в конце минувшего года исполнилось 90 лет! Несмотря на столь почтенный возраст, он бодр, оптимистичен и полон новых творческих замыслов.

Рос Юрий в приемной семье в одном из сел Воронежской области. В 1942 году был призван в ряды Красной армии. Под Сталинградом был тяжело ранен. После длительного лечения и дальнейшей демобилизации местом жизнедеятельности выбрал Ленинград. Он принимал участие в восстановлении зданий великого города, строительстве первой очереди метрополитена и атомохода «Ленин». Чувствуя неодолимую тягу к музыке, Дроботов поступил в училище при Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Окончив его, продолжил учебу... в технологическом институте: город нуждался в грамотных инженерах. В течение многих и многих лет Юрий Александрович работал на ответственных постах в народном хозяйстве.

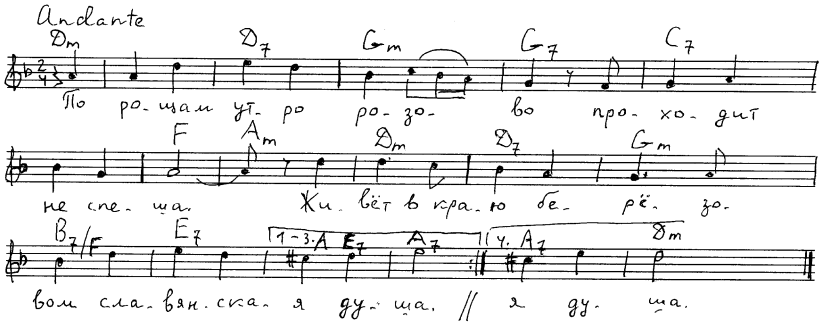
Более 20 лет назад Юрий Дроботов вместе с верной супругой Галиной Петровной перебираются к родственникам в Сурский край. Их относительно спокойная жизнь на заслуженном отдыхе прерывается в августе 2000 года. Катастрофа атомной подводной лодки «Курск» перевернула душу Юрия Александровича. В течение одной бессонной ночи сложились слова и музыка «Реквиема». Его исполнила Губернаторская симфоническая капелла. Записанное на диски произведение Юрия Дроботова было разослано Пензенским морским собранием во все флоты. «Реквиему» с благодарностью внимали семьи погибших моряков.

Трагедия «Курска» с необычайной силой подстегнула Юрия Александровича. Ни минуты без творчества он уже не может. Множество сольных песен и хоров сочинил он в эти пятнадцать лет на

Творческий вечер Ю.А. Дроботова
в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 2015 г.
Фотография с сайта Министерства культуры РФ (http://mkrf.ru)

собственные слова, а также на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, Владимира Застрожного, Геннадия Горланова, Владислава Самсонова, Владимира Лазарева и других пензенских поэтов. А увлечение поэзией Александра Блока выразилось в создании целого цикла романсов на его строки. И появились пьесы для различных музыкальных инструментов: домры, скрипки, флейты, гобоя, кларнета, фагота.

В Пензе вышли из печати пять авторских сборников Юрия Александровича Дроботова. Они весьма востребованы. Как говорится, так держать! И, конечно, здоровья талантливому автору!



ПО РОЩАМ УТРО РОЗОВО

Стихи Владимира Застрожного
Музыка Юрия Дроботова

1. По рощам утро розово
Проходит не спеша.
Живёт в краю берёзовом
Славянская душа.

2. Степь русская, широкая,
Раздольные луга.
Бежит река глубокая
В тенистых берегах.

3. Равнинная, холмистая,
В расчерченных полях,
Моя до боли близкая
Славянская земля.

4. И песнь полей рассветную,
И шорох камыша,
Как самое заветное,
Хранит моя душа.

ПЕСНИ ЕЛЕНЫ ЧЕБАЛИНОЙ

ПРОЩАЛЬНАЯ

Am Dm E Am
Посмотри мне в глаза, в них рождаются звёзды и время.
Dm F E A
Уходи. Мне не страшно. Я просто училась летать.
Dm E E7 Am
Я училась нырять в облака, наблюдая за теми,
Dm F E E7
Кто уходит в неон белой пылью. Рождаясь опять

Dm E E7 Am
В черноте бытия. В умирании есть неизбежность.
Dm E E7 Am
В этом мире, где сотни таких же, как ты или я,
Dm E E7 Am
Укрывают любовь и холодная, тонкая нежность
Dm F E E7
Желтоглазой Вселенной рассыпанных звёздных плеяд.

Безмятежная высь поощряет покой мироздания,
И в молчании нашем сокрыта древнейшая боль.
Ухвати этот миг, ускользая в его очертания.
Ты такой же, как все, — ты играешь случайную роль.

Я, конечно, смешна, я пытаюсь в твоём отражении
Уловить горький взгляд, обнажающий порванный мир.
Мне не страшно теперь созерцать неземные движения
Обнажённой души, уходящей в холодный эфир.

УТРО

Am Dm
Ни жизни, ни веры, ни взгляда
E Am
Не отдал. Побудь же рядом.
Dm
Оставь лишь рассвет дымный,
G C
Опутанный паутиной

Dm Dm7
Холодных стальных красок,
G C
Да утро в седой рясе,
Dm Dm7
Глазеющее мне в душу.
F E
Я буду неметь и слушать

Часов полусонный шёпот,
И скрип половиц, и топот
Отчаянных детских ножек.
Когда-то с тобою тоже

Мы прятались в зазеркалье.
А нынче переиграли
В колючую осторожность.
И память горит под кожей.

Пр.:
Dm
А утро
Dm7 Am
Прозрачным взмахнёт покрывалом,
E
И город проснётся усталым
E7 Am
И станет гасить фонари.
A7
Смотри,
Dm
Мы снова

Dm7 Am
Рождаемся в зыбком рассвете,
E
Как добрые, мудрые дети
E7 Am
Растаявшей в небе зари.

Ты мной не живёшь, не дышишь.
А я в темноте по крышам
Ловила в карманы звёзды,
К которым меня унёс ты.

В такое хмельное утро
Я стану простой и мудрой, —
В твой мир прорасту небрежный
Молчанием и надеждой.
Пр.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

G D
В новогоднюю ночь
Em C
Миллионы дорог замыкаются там,
G D
Где никто не сумеет помочь
Em C
Заглушить одиночество. Мир пополам.

G D
В Новый год
Em C
Разбросаю по ветру мечты. Лёгкой поступью
G D
Ночь пройдёт,
Em C
Оставляя лишь снег и колючую память.

Под крылом темноты
Ледяное сиротство любви обнажается вдруг.
И надежды просты
И нелепы, как миг, замыкающий круг

Зыбких дней,
Уносимых холодным дыханием времени.
Нет родней
Этой дерзкой зимы,
обделённой сомнениями.
Сыплет снег
На ладони, раскрытые к небу, и тает, —
В этом дне
Жизнь и смерть
распахнули древнейшие тайны.

Новогодняя ночь,
Уходя, обернётся
и взглядом обнимет рассвет.
Но нельзя превозмочь
Эту силу, что мир разделяет
на «да» и «нет».

Новый год
Веет мудростью и осязанием веры,
Что ночь пройдёт,
Оставляя любовь и открытые двери.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ

C E7 Am
Белоликая метель
F C
В моё врывается окно
E7 Am
Напоминанием потерь,
F C
Переосмысленных давно.

G Am
И с простотою естества
F C
Рисует тайны на стекле,
G Am
И в ночь прихода Рождества
F C
На миг становится теплей.

E7 F
Ты забери
G C
Меня туда, где время спит.
E7 F
И подари
G C
Воспоминания навзрыд.

E7 Am
И пусть я так слаба,
F G C
Что смыслы и слова
E7 Am
Опустошит молчанье
G C
Холодной темноты,
Dm Dm7
Я расскажу
E7 Am
О тайнах мирозданья,
E7 Am
Когда вернёшься ты.

Незавершённые стихи,
Как искры, рвутся в темноту, —
Во власти таинства стихий
Бесследно тают на лету.
И в ожидании чудес
Ладонь, прижатая к стеклу.
И звёзды падают с небес,
И ангел выпустил стрелу.

Ты приходи
В мой тихий мир за волшебством.
Здесь посреди
Ночь расцветает с Рождеством.

ПОКРЫВАЛО

Am F E
Я для тебя расстелю покрывало
Am F E
Из нитей ливня и бисера звёзд,

G C
Волной заката пронзительно-алой
Dm Dm7 E E7
Тебя укрою от ветра и гроз.

Я расскажу тебе добрые сказки
Об иллюзорных, волшебных мирах
И неземной, оглушительной лаской
Я проскользну в твоих снах.

F E
Я обниму твоё утро туманом,
C E
Наполню нежностью и тишиной,
G C
Обрывки снов разложу по карманам
Dm E E7
И стану тайной твоею ручной.

Am F E
Не отпускай меня. Близится вечер,
Am F E
Моих надежд разгадавший секрет.
G C
И, может быть, я опять не замечу,
Dm E
Как ты уходишь в рассвет…

Я для тебя расстелю покрывало
Из нитей ливня и бисера звёзд…

ЧАСЫ

Am Dm Dm7
Часы отмерят миг, часы отмерят век
E E7 Am
И жизнь без сожаления отмерят.
Dm Dm7 Am
Под тихий стук часов продрогший человек
E E7 F (Am) 2 раза
Неосторожно в ожиданья верит.

C G
Часы бегут туда, где снежные мосты
G7 C A7
Соединяют судьбы и надежды,
Dm Dm7 Am
Где человека ждут, где запахи остры
E E7 F (Am)
И чудеса случаются, как прежде.

И робко человек глядит по сторонам,
А время ожидает терпеливо.
Часы, замедлив бег, остановились там,
Где человек становится счастливым.

Повтор 1-го куплета

АГАПОВ Юрий Петрович. Родился в 1939 г. в селе Митрофановка Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Работал в лесном хозяйстве Пензенской области. Председатель Совета по делам ветеранов при губернаторе Пензенской области.

АНТИПОВ Сергей Васильевич. Родился в 1940 г. в с. Пестровка Шемышейского района Пензенской области. Окончил Саратовский технологический институт. Инженер. Большую часть жизни прожил в Средней Азии. Публиковался во многих коллективных изданиях. Автор четырех поэтических сборников. Был председателем Русского культурного центра г. Ташкента (1996 — 2003), возглавлял республиканское литературное объединение «Данко». Член Союза писателей России.

БОНЦЕВИЧ Лариса Вячеславовна. Родилась в 1958 г. в Мурманске. Окончила Пензенский политехнический институт. С 1975 года живет и работает в Пензе. Работала в Законодательном Собрании Пензенской области. Участница клуба прозаиков «РостОК» при журнале «Сура». Печаталась в журналах «Лампа и Дымоход» (Москва), «Сура» (Пенза), в литературном журнале «Точка зрения» (Казахстан). В настоящее время на пенсии.

БУДАРИН Сергей Сергеевич. Родился в 1990 году. Учится в Самарском техническом университете, поэт. Публиковался в следующих изданиях: «Наш Современник» (Москва), «Юность» (Москва), «Молодая Гвардия» (Москва), «Литературная Газета» (Москва), «День Литературы» (Москва), «Общеписательская литературная газета» (Москва), «Великороссъ» (Москва), «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Невский Альманах» (Санкт-Петербург), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Парадный подъезд» (Санкт-Петербург), «Подъём» (Воронеж), «Аргамак» (Татарстан), «Горцы» (Дагестан), «Новая Немига Литературная» (Белоруссия), «Простор» (Казахстан), «День и Ночь» (Красноярск), «Сура» (Пенза), «Гостиный двор» (Оренбург), «Волга» (Саратов), «Русское эхо» (Самара), «Северо-Муйские огни» (Бурятия). Лауреат Всероссийского фестиваля поэзии «Соколики русской земли» (Самара, 2011 г.), III Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Москва, 2012 г.), Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова (Пенза, 2013 г.), Всероссийской православной премии им. Александра Невского (Санкт-Петербург, 2014 г.). Стипендиат Министерства культуры РФ. Автор двух сборников стихотворений: «Свет-Синева» (Самара, «Русское Эхо», 2012 г.), «Сторона речного ветра» (Москва, «У Никитских ворот», 2013 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ДАВЫДОВ Роман (Ромэн) Тигранович. Родился в 1947 г. в Баку. Окончил музыкальное училище, Горьковскую консерваторию по классу композиции (профессор А.А. Нестеров). Работал концертмейстером Азербайджанского театра оперетты. С 1975 г. живет в Пензе. Автор органных и хоровых сочинений, романсов, детских фортепианных пьес. Председатель Пензенского отделения Союза композиторов России.

ЗОТОВ Станислав Сергеевич. Родился в 1961 году в г. Жуковском Московской области. В 2003 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького в Москве. Работал на предприятиях авиационной промышленности. Участвовал в работе многих московских литобъединений. Публиковал рассказы и повести в московских изданиях. В 1997 году был принят в Союз писателей России. В 1999 году стал лауреатом Международной литературной премии им. Андрея Платонова. С 2003 года работает редактором в журнале писателей России «Наш современник». Живет в Подмосковье в посёлке Белоозёрский. В «Суре» публикуется впервые.

КРАМЕР Александр. Родился в Харькове (Украина). Последние 17 лет живет на севере Германии, в Любеке. Окончил политехнический институт, работал инженером на заводе. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Публиковался в литературных изданиях разных стран, в том числе в российских журналах «Северная Аврора», «Сибирские огни», «Невский альманах», «Дарьял», «Аргамак», «Алтай», «Южная звезда» и др. В 2009 г. несколько рассказов вошли в московскую «Антологию российских писателей Европы», а в 2013 г. — в сборник прозы «Десять домиков». В «Суре» публикуется впервые.

КУЛЕНКО Николай Андреевич. Родился в 1936 г. на Днепропетровщине. Окончил ремесленное училище, Литературный институт им. А.М. Горького. Работал литейщиком на заводе. Автор публикаций в альманахах «Земля родная», «Поэзия», журналах «Волга», «Донбасс», «Молодая гвардия». Автор книг «Первосвет» и «Путевые костры». Лауреат литературной премии им. М.Ю. Лермонтова. Член Союза писателей России.

МУРАШОВ Дмитрий Юрьевич. Родился в 1971 г. в селе Беково Бековского района Пензенской области. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.

Чернышевского. Кандидат исторических наук. Ученый секретарь Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Автор книг: «Заречный: из глубины веков» (2005), «Первая Лермонтовская» (2012), «Забытое имя: Валериан Волжин» (2013), «Лермонтовка: советский формат» (2014), «Декабристы-пензяки» (2015), статей по историческому и литературному краеведению, истории России XIX — XX вв. Лауреат Всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова (2014).

ОБЛОМОВА Ольга. Родилась в 1971 году в Новосибирске, выросла в Подмосковье, живет в Одессе. Окончила Одесский национальный университет им. Мечникова. Работала на одесском телевидении в телекомпаниях РИАК-информ и REAL Estate TV. Вела авторские проекты «Своя территория» и «Ваш вопрос — наш ответ», посвященные различным актуальным проблемам жизни города и социума в целом. Всего за 10 лет вышло в эфир свыше 500 выпусков. В 2010 г. выиграла на конкурсной основе право пройти обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве по спецкурсу «Управление мультимедийными проектами», который успешно окончила. В 2015 году начала писать художественную прозу и публиковаться в литературно-художественных журналах. В «Суре» публикуется впервые.

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович. Родился в 1954 году в Донбассе. Окончил 4 курса Московского горного института и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор шестнадцати книг стихов, прозы и критики, а также множества публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Башкортостана, Казахстана, Болгарии, Германии, Китая, США, КНДР и других стран. Литературовед, критик, поэт, прозаик и переводчик стихов национальных поэтов. Секретарь правления Союза писателей России. Член Союза журналистов Москвы, Международной федерации журналистов и Международной ассоциации писателей и публицистов. Лауреат Большой литературной премии России (2007).

ПРОСВИРНИНА (МЕЛЕШКИНА) Мария Сергеевна. Родилась в 1985 г. в Заречном. Окончила факультет лингвистики Современной Гуманитарной Академии. В 2016 году оканчивает (заочно) Литературный институт имени А.М. Горького (семинар поэзии Ростовцевой И.И.). Печаталась в газетах, журналах «Сура», «МЫ», «Студенческий меридиан», в коллективных поэтических сборниках «Рассвет над соснами» (2005), «Стихи поэтов закрытых городов. Антология» (2005),

«Гори, не гасни, Радуга!», «Современники», «Мы с тобою очень дружим» и др. Член литературного объединения «Радуга» (г. Заречный). Неоднократный победитель Пензенского областного конкурса одного стихотворения, дипломант Всероссийского поэтического конкурса в 2005 и 2006 годах и VII Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком наравне», Гран-при областного конкурса им. А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (2009).

РАЗОРЁНОВА Маргарита Григорьевна. Родилась в 1939 году в Пензе. Окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. Автор сборников стихотворений: «Горсть любви», «Сады майские», «Свет берёз», «Под сводом небесным» и других. Ветеран ОАО «Биосинтез». Член Союза писателей России. Живёт в Пензе.

САМАРИН Федор Юрьевич. Родился в 1957 г. в Казани. Прозаик, переводчик. Окончил историко-филологический факультет ПГПИ им. В.Г. Белинского. Работал в газетах «Молодой ленинец», «Наша Пенза», «Комсомольская правда», в областном краеведческом музее, на областном телевидении, в телерадиокомпании «Наш дом». Был главным редактором журнала «Мир» (ОАЭ), заведующим отделом в журнале «Северные просторы» (г. Москва), корреспондентом издательского дома «Коммерсантъ». Автор публикаций в российских и зарубежных СМИ. Член Союза журналистов РФ. Лауреат премии литературного журнала «Сура».

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич. Родился в 1952 г. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Поэт, секретарь СПР. Живет в Новокуйбышевске Самарской области. Автор поэтических книг «Заповедный кордон», «Свете Отчий», «От земли до неба», «Российский развилок», «Воители фортуны и судьбы», «Небесная крепь», «Аргуван», «Соколики русской земли». Автор многих публикаций в изданиях России и зарубежья. Дважды лауреат премии журнала «Наш современник» за цикл стихотворений 1999 года и по жанру поэзии за 2002 год. Лауреат Всероссийской премии «Новая русская книга» в номинации «Поэзия». Член Союза писателей России.

СКОРЛЯКОВ Сергей Витальевич. Родился в 1982 году в г. Пензе. Представитель пензенского андеграунда. Музыкант, поэт, писатель. Бессменный солист рок-группы «Демониада» (с 2000 г.). Создатель и вокалист пензенского дарквейв-коллектива

«Мастер и Маргарита» (2011 г.). Автор более 100 альбомов и около 1500 композиций, трех рок-опер и философско-религиозной повести «Крайность». В «Суре» публикуется впервые.

ЧЕБАЛИНА (ЛЫЧАГИНА) Елена Геннадьевна. Родилась в 1984 г. в Баку. Окончила факультет вычислительной техники ПГУ и магистратуру по направлению «Экономика» Всемирного технологического института (ВТУ). Автор книг «Шахматы» (2004) и «Веретено» (2015). Автор публикаций в книгах «Молодая пензенская поэзия» (2007), «Дом на четыре окна» (2008), в коллективных сборниках «Я стихи выпускаю в небо», «Реванш», альманахах «Берега», «Четверги». Лауреат премии губернатора Пензенской области (2012), Всероссийского открытого поэтического фестиваля «Мцыри» (2007), областного конкурса им. А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (2005), дипломант Всероссийского поэтического конкурса в рамках Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком наравне» (2004 г., 2005 г.), по итогам которого стихи были опубликованы в журнале «Современники». Участник поэтических клубов «Берега» и «Поющие поэты» при журнале «Сура». Лауреат литературной премии журнала «Сура» «Под Лермонтовской звездой».

ЧЁРНАЯ Аля. Родилась в 1995 г. в рабочем поселке Исса Пензенской области. Живет в Пензе. Студентка 4-го курса ПГУ. Нигде ранее не публиковалась. В «Суре» публикуется впервые.

ШИГИН Владимир Виленович. Родился в 1958 г. в Севастополе. Окончил военно-морское училище и политическую академию. Служил на кораблях Балтийского флота. Капитан I ранга. Заслуженный работник культуры РФ. В настоящее время редактор отдела истории и литературы журнала «Морской сборник» (Москва). Награжден орденом Почета, медалями «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть». Лауреат международных литературных премий В. Пикуля и А. Грибоедова. Автор более 30 книг по истории российского флота. Член Союза писателей России. В 2014 г. избран секретарем Союза писателей РФ.

Учредитель и издатель:
ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»

Общественный совет журнала: Г.Е. ГОРЛАНОВ, Н.М. ИНЮШКИН, С.В. КАЗАКОВ, А.И. ЛОМОВЦЕВ, М.Н. ОСИПОВА, Ю.М. ПОЛЯКОВ, Е.А. СТОЛЯРОВА, А.Б. ТУГАРОВ, А.В. ТЮСТИН, Е.Г. ЧЕБАЛИНА, О.В. ЧУБАРЬ, И.С. ШИШКИН
Редакционная коллегия: С.С. ВАХШТАЙН, Л.И. ДОРОШИНА, В.В. КЕЛЬХ, Ю.В. КУЗНЕЦОВ, Ф.Ю. САМАРИН, О.В. СИРОТИН, В.А. СУХОВ, В.В. ТЕРЕНТЬЕВ, В.А. ЮРАКОВ, Л.И. ЯШИНА

Главный редактор
Борис Владиленович ШИГИН

Р е д а к ц и я:
Лидия ДОРОШИНА — редактор отдела поэзии
Олег СИРОТИН — редактор отдела истории и краеведения
Сергей А. ПОНОМАРЕВ — художественный редактор
Ольга МАКАРОВА — технический редактор
Елена КОМЗАЛОВА — редактор-организатор

Компьютерная верстка — **Олег СИРОТИН**
Корректор — **Светлана АНДРЕЕВА**

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ТУ 58-0009, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Пензенской области.

16+

Адрес редакции: г. Пенза, ул. Белинского, 10, тел. 63-44-20
Адрес учредителя и издателя: г. Пенза, пр. Строителей, 168-а
Интернет-версию журнала можно прочесть на сайте областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (**http://liblermont.ru**)
Адреса электронной почты редакции: borisshigin@yandex.ru (главный редактор), lidiy2305@mail.ru (редактор отдела поэзии), ngml@sura.ru (редактор отдела истории и краеведения)
Тел. гл. редактора — 8 937 402 22 73

Приобрести журнал «Сура» можно в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция убедительно просит авторов присылать свои произведения в соответствующие отделы редакции. Проза принимается с распечаткой текста. Иллюстрационный материал соответствует качеству предоставленных оригиналов.

Подписной индекс «Суры» 53242

Сдано в набор 21.02.2016 года. Подписано в печать 21.03.2016 года. Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16. Отпечатано методом офсетной печати. Усл. печ. л. 14. Уч.-изд. л. 14. Заказ № 274. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в АО «Областной издательский центр».
Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2. Тел. 52-06-64, e-mail: Oblizdat@yandex.ru